



Из рассказов Алексея Кузьмича Горюхова о послевоенных встречах и о боевой традиции

ТОТ, КТО У ЩОРСА ВОЕВАЛ...

Рассказал мне эту партизанскую байку бывший начальник базара небольшого городка, носившего имя польских королей и населенного потомками Дмитрия Гуни, Северина Наливайко и Николая Щорса, — сам товарищ Кучерявский.

Дело было в сорок втором году, гниловатой зимой, в украинском Полесье. Где-то между Сарнами и Овручем. Партизаны деда Коваля и комиссара Руденко ждали самолет из Москвы. Сплошные леса и торфяники на лугах и полянах мешали нам найти площадку, пригодную для посадки. Мощные транспортные машины, способные покрыть тысячекilометровое расстояние, требовали твердого грунта. А только они могли долететь в эти края из Москвы или из-под Воронежа. Фронт был далеко, наш тыл глубокий, а зима безморозная. Единственным выходом могла быть посадка самолета на лед. Вот мы и сидели вокруг озер. И ждали погоды.

Наконец-то ударили морозы. Но мелкоовато озеро Прибыловское, что южнее Глушковичей. Замерзает оно туго,

Лед тонкий. А рисковать не хотелось. Четвертый батальон Кучерявского ежедневно делал пробы толщины льда. Для того чтобы помочь морозу, мы возили на лед крепления — доски, бревна. Делали из них что-то вроде арматуры.

— Конструкция — дерево-лед, крепостью не хуже железобетона, — шутил старый сапер Яковенко. Человек он был флегматичный, медлительный и отпускающий шутки редко, с мрачноватым юмором полесского хохла, но работяга высокого класса.

— Партизанская инициатива работает на всю железку, — похвалялся комбат Кучерявский.

— Железку или деревяшку? — умерял его пыл комиссар Руденко. — Будет толк, товарищ Яковенко?

— А хоба ж я знаю? Черти его батька разберут в этом толке и в такой арматуре... Но думаю, что должно быть ладно. Прилетит самолет — тогда и поглядим...

— Одна надежда — на морозы.

— У нас в отряде и то Дед Мороз есть, — шутили партизаны из первого батальона, сопровождающие комиссара, — он артиллерией командует. А в природе среди зимы в этом Полесье настоящего мороза и не дождемся.

Надо было ждать, и мы ждали.

Самое было время для партизанских баек. В один из этих дней я заночевал у Кучерявского. Вот тут-то, долгим зимним вечером, и рассказал он мне историю первых шагов партизанского отряда из Крулевщизны.

«Начали мы по своему масштабу. С маленького. Какие мы вояки были? Но ведь и самый маленький и незаметный гражданин может советскую свою родину не меньше других любить. Знающие руководители кто в армию ушел, а кто для других дел был призван. Разбрелась наша Крулевщизна. Пришлось нас оставить во главе партизанского отряда. Я в военкомате в комсоставе числился, на территориальных сборах и в учениях даже участвовал. А комиссаром стал товарищ Шуганюк. Хорошо доклады он делал, газеты внимательно читал, вообще считался у нас в районе политически подкованным. И по международным тонкостям был в курсе дела. Последнее время работал в райпотребкооперации... Назначен был туда перед самой войной и тоже вроде как бы за комиссара,

Была райкомом поставлена задача — жулье из потребкооперации выкурить. Оно тогда только стало расплываться. В общем командир и комиссар есть. За войском дело не стало. Добровольцев было хоть отбавляй. В особенности дедуганов. Пожилых товарищей патриотов в отряде было больше, может быть, еще и потому, что молодежь в армию ушла. А которые постарше, тех в войска еще не брали. В общем было нам из чего выбирать-просеивать. Этим делом перед уходом в армию первый секретарь занимался. Он сам лично отряд комплектовал. Делалось это для того, чтобы отсеянные и непринятые не знали, кто будет командиром, комиссаром. Все-таки дело это конспиративное, тайное, и от того, как сумеем мы поначалу все хитро обмозговать, многое в нашей будущей жизни зависеть могло. Словом, на том этапе была у нас в ходу поговорка, пущенная уж не помню кем:

— Держи крепко винтовку руками, а еще крепче — язык за зубами.

Ну, а как мы ее в руках будем держать, винтовочку партизанскую, это только будущее могло показать; в партизанской жизни винтовка не для ружейных приемов существует, а для меткой стрельбы. А вот насчет того, чтобы держать язык за зубами, это мы крепко усвоили. И дали перевыполнение плана процентов на двести. Потом не раз каялись. Много верных людей из-за этого оставили в стороне от общей борьбы. На произвол, так сказать, стихии. Потом поправили это дело партийные организации партизанских отрядов. Но сперва не обходилось без промашек. Дело ведь новое, непривычное. Но скажу я вам откровенно, военная тайна — дело такое, что тут пересол на сто процентов все же лучше, чем недосол на один процент. Потому как от одного этого процента можно все дело загубить. Особенно поначалу. Пока дело в силу не вошло, корень не пустило.

К моменту оккупации нашего района вышли мы в полном порядке в Марчихинскую пуцу. Заблаговременно вырытые землянки нас приняли на свое, так сказать, попечение.

Было под нашей командой двадцать семь человек бойцов, да я, да комиссар — итого двадцать девять орлов. Из них добрая половина — не воевавшие, хотя и честные коммунисты. Были и беспартийные. А остальные — еще царской солдатской выучки. Но в самом конце выяснилось —

партизанского дела никто из будущих партизан не нюхал, больше по кинокартинам да по песням хорошим ориентировались. Объяснили нам так: первая ваша обязанность замаскироваться — фронт пропустить. Так? Поначалу сидеть тихо, не рыпаться. А ежели немец дальше на восток пройдет и будет наш район уже не фронтовая зона, а глубокий вражеский тыл, тогда начинать свое партизанское дело. Так? А там дело — оно само покажет. Вот как!

Директива эта была правильная. Так оно и получилось. Только мы в лес вошли, замаскировались — фашиста-гад на восток пропер: не успели оглянуться, как очутились на оккупированной врагом территории. И вот мы уже в глубоком вражеском тылу. Надо дело начинать. А как? С чего его начинать? Никто толком и не знает.

Как я теперь понимаю, после года боевой жизни, сложность нашего положения произошла не только от нехватки боевого опыта, но еще больше оттого, что очень уж мы хорошие базы заложили. Да оно и понятно: командир и комиссар ведь имели прямое отношение к хозяйственному делу. По этой части мы уж постарались: и сахар, и консервы, и махорка, и варенье, и галеты, и бочками концентраты — тут тебе и сушеный лук, и картошка в виде вермишели, и фрукта всякая. В общем, если без нахлебников жить, так нашему отряду на год жратвы и курева во как хватило бы. А как я понял из всей нашей жизни, да вроде и Суворов — слышал я — такое говорил или, может, Наполеон там какой, что храбрость солдата в его желудке. А здоровье — в теплых портянках. Это уже потом Дед Мороз нас научил: держи пузо в голоде, голову в холоде, а ноги в тепле — и будешь самый бравый вояка на земле. Мы, кооператоры, народ ведь смекалистый. Но смекалка наша, вышло на поверку, была в одну сторону. И не военного, а хозрасчетного, так сказать, прицела. И чуть-чуть эта наша смекалка нас не погубила.

В общем, вареньем хлопцы обжираются, курева хватает, винтовки смазанные, а войны — никакой. Все разведку ведем, да больше, так сказать, агентурную, а не боевую. А время идет. Герман в селах виселицы поставил, коммунистов, комсомольцев стал на шворочку вздергивать. Уже кое-где и до беспартийных активистов стал добираться. А нам оттого, что мы издали все это наблюдаем, все страшнее и страшнее становится. Войско наше стало в землянках задумчивым, хмурым, нервным. На

нас с комиссаром стали искоса поглядывать. А потом старый солдат Микитенко Иван так прямо и говорит:

— Давайте, командиры, подумаем, как дальше быть...

— Да чего тут думать! — загудел народ. — Пусть дают команду, и в бой пойдём!

Мы с комиссаром переглядываемся. Черт его знает, какую такую команду давать. Все насчет конспирации и прочего такого мы изучили и продумали. А вот насчет команды и боевой разработки у нас слабина была полная. Но об этом молчим пока. А на душе такое — ну хоть бери и слагай с себя полномочия. Потому как опять от Наполеона еще вроде пошло, что офицеры без полномочий ничего не стоят. Но у нас дело это, можно сказать, было совсем наоборот: и полномочий хватало, и войско есть накормленное и сытое, а вот толку-то как раз и нет.

Тут нас опять старый солдат Микитенко вроде выручать стал. Как только народ сильно загалдел, глядя на наше позорное молчание, он и шумнул на всю партизанскую братию:

— Вы, товарищи, скопом не галдите. От митинговщины пользы на войне никогда не было. При настоящей дисциплине жалобы и претензии, если имеет солдат к командованию, то должен он в строю выкладывать. Шаг вперед выступи, чтобы командиру видно было, есть ли ты бравый, дисциплинированный, но чем-то обиженный, скажем, солдат или просто бюзотер и барахольщик. И тогда громко и смело выкладывай.

— Так что же ты предлагаешь? Что же нам, по команде «смирно» выстроиться и ждать? Когда ни командир, ни комиссар ничего не пытаются. И не приказывают! — задиристо сказал Годзенко, парень лихой, но на язык несдержанный.

— Не мычат и не телятся! — брякнул Сенька Шур, на нарах лежа.

— Надо было нам, братцы, в комиссары бабу, что ли, взять. Может, тогда и отелилась бы, — громко и злобно поддержал его Лизогуб, мордатый хлопак, самый прожорливый.

Загоготала с горя братва. А мы с комиссаром молчим. Чего тут скажешь? Ну, хоть бери и в отставку подавай...

Тут снова Микитенко стал говорить:

— Тихо, вы! Это какие могут быть смешки? А ты, Шур, брось всякую похабель нести. Я к чему веду? Я к тому

веду, что для правильного приказа, от которого никто бы зря не погиб, надо командиру все обдумать, взвесить. И над картой посидеть. И приказ написать. По этим нашим небольшим масштабам все равно требуется денька два-три, а может, и недельку сроку. Пусть думают командиры, а мы свое солдатское дело должны честно сполнять.

— Правильно, — загудели партизаны и стали расходиться по караулам и по своим землянкам.

А мы с комиссаром остались. Глядим друг на друга.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спрашивает меня Шуганюк, комиссар. — Способен ты дальше командовать?

Пожал я плечами.

— Как будто не видишь? А ты как?

— Да что я? Я... Мое дело — тебя поддержать. Авторитет твой командирский сохранять и насчет морально-политической устойчивости народа работать. А ты давай решай. Ты командир.

Думали мы, думали и придумали: а не сложить ли нам добровольно полномочия? И пусть командует кто-нибудь другой, кто в этом деле понимает больше нашего. Выпал жребий, и сошлись мы на единодушном мнении, что командовать отрядом должен этот самый солдат Микитенко.

Вызываем его в штаб. Явился, каблуком об каблук щелкнул. Доложил по-солдатски — четко, ясно, громко. Любо-дорого посмотреть.

Тут и выложили мы ему все наши предложения.

Долго смотрел на меня товарищ Микитенко. Затем говорит:

— Спасибо за честь и уважение. Только не подходит эта ваша настроенка. Для дела не подходит...

— Почему? — спрашиваем мы оба.

— А потому, что это будет развал всему отряду. Вы что, думаете, я не вижу, как у вас дело не клеится? Вижу. А почему? А потому, что хватки солдатской у вас нет.

— Конечно, нет. Откуда же она у нас найдется, если мы никогда не воевали? — сказал, ничуть не обижаясь, наш комиссар Шуганюк.

— Хватка — дело наживное! — весело отвечает Микитенко.

— Вот и решили мы, что у тебя эта хватка как раз имеется, — сказал я. — Принимай командование.

— Не согласен! — твердо рубанул солдат.

— Почему же? Это же дело по доброй воле. И мы сами тебя будем рекомендовать. По партийной линии обсудим.

А он такое загнул в ответ:

— Хватка-то у меня солдатская, это верно. Но только тут одной солдатской хваткой не потянешь. Тут еще и партизанскую мысль иметь надо. А я только строевой регулярной армии бывший солдат.

— А все же лучше, чем мы, кооператоры, — вырвалось у меня.

— Не согласен, товарищ командир. И вот почему. Не обижайтесь только. По личным вашим заслугам боевого авторитета у вас маловато. Даже просто скажем — его и совсем нет. Потому народ и бузит. Вам бы это в корне прекратить надо. Но есть за вами авторитет, который ни вы, ни я ронять никак не должны. И менять права не имеем. Это — авторитет партии, которая вас назначила.

Как сказал он это, так нам еще хуже стало. Ведь прав человек, прямо как по глазам полоснул.

— Так ты тоже ведь коммунист, товарищ Микитенко, — настаивает комиссар.

— Правильно. Но рядовой солдат. И вступал в партию я в колхозе. Так считал — для мирной жизни. Для строительства и посева. А солдатское мое житье как-то там, в беспартийном житье, осталось. Вроде уже отжатое жнивье...

— Вроде два Микитенки есть, что ли? — спрашивает комиссар Шуганюк в шутку.

— А что вы думаете? Так-таки два, — серьезно отвечает Микитенко. — Одно дело — мир, другое — война.

— Но теперь же первейшее дело коммуниста — в бой идти, солдатом, партизаном быть...

— Да разве я не понимаю?.. Головой понимаю, сердцем тоже, а натура как-то не привыклась еще. Повремените трохи — пускай оботрется, обвыкнется. Хоть до первого боя повремените. А там дело само покажет.

— Но что же нам-то делать? — развел руками комиссар. — Ты в наше положение войди. Партийного опыта у нас больше, нежели у тебя. А солдатского ведь и совсем никакого.

— Это дело наживное. Опасность, пуля да снаряд — они скоро научат. Главное, чтобы первая пуля была счастливая. Вот проведем первый бой, а там у вас дело пой-

дет. Не оглянетесь, как командовать начнете,— подбадривает Микитенко.

— Но где же найти человека, опытного в партизанском деле?

Тут и сказал Микитенко:

— В соседнем селе Горячковке, знаю я, живет один дядько. Надо вам к нему съездить. Может быть, и вместеях со мной.

— А кто он такой? — спрашиваем.

— Человек один. Лично я его мало знаю. Так, видал иногда на базаре. Да на храмовой праздник он к нам в село приезжал.

— Что же он за стратег? Или, может, ворожей какой? — усмехнулся мой комиссар.

Глянул на него укоризненно Микитенко, головой покачал.

— Стратег не стратег, а он у Щорса воевал.

— Ну-у?! А кем же он у Щорса был?

— Не знаю, я, на каких таких командных или солдатских должностях он там был. Но все же у Щорса. Я в гражданскую войну в армии был. На Севере. Там такой партизанщины вблизи вроде не было. Да еще в тифу лежал два раза. Память тиф здорово отшибает. А домой когда вернулся в двадцать первом, тут все, и старики и неграмотные бабы, про Щорса полную тактику выкладывали. Так я понял, что был он великий стратег партизанской войны. Но тогда уже дело к миру пошло. Я по молодости лет больше о женитьбе думал. Потом хозяйство засосало, дети пошли. Так героев этого похода поодиночке кое-кого видал в районе. А потом и они куда-то сгнули. Я вот думаю, что сейчас в нашем положении должен быть в отряде хоть один человек с опытом партизанским. Не буду вам наперед совет давать, какой мы ему чин положим, — может, командир он будет, если уж вам действительно невмоготу, а может, военным советчиком возьмем. Ну, вроде начальника штаба. А и то наилучше всего — начальником штаба, если, конечно, человек он будет хоть немного побойчей насчет грамоты. Наперед загадывать не буду. Но без такого человека, который самолично опыт гражданской войны имеет, нам выйти в люди в этих местах будет трудновато.

Ох, и обрадовались мы этому совету! Тут и порешили снарядить экспедицию. Сегодня же ночью поедem в ту

самую Горячковку, где человек этот живет, который у самого Щорса воевал. Уж он-то нам расскажет, с чего начинать и как за дело браться. Решили ехать впятером — я, комиссар, двое разведчиков и Микитенко.

Но перед самым нашим отъездом случилась еще одна катавасия. Уже солнце к вечеру клонилось, как приходит в землянку Микитенко и говорит хмуро:

— Нельзя мне с вами ехать...

— Почему?

— Буза в отряде.

— Какая буза?

— Да вот тот самый Лизогуб, которому, вишь, бабу в комиссары захотелось. Собрал он молодых горе-воjak три человека, да двое стариков к ним пристало. И нажужжал им в уши: «Все равно ни черта у нас не получится. С таким командованием под пули попадем, а то и на виселицу. Да и какие сейчас могут быть партизаны? Силища-то у германа — видали? Во какая...» Ну, ребята сначала заколебались: «Патриотизм, говорят, все же дело нужное». Видит он, что с этого бока подойти нельзя, стал на другое подбивать: «Временно, говорит, разойдемся. Базы поделим — и по домам. На подпольную, значит, жизнь, — говорит. — А когда условия будут подходящие, тогда оружие откопаем и покажем полностью свой патриотизм».

— А ребята?

— А ребята хмурятся.

— Пойдут за ним?

— Может и уговорить, подлец. Особенно когда узнают, что командование из отряда отлучилось.

— Придется отменить поездку, — сказал комиссар.

— Ни в коем разе! Что вы! Тогда этому прохвосту полная поддержка будет. Вы езжайте, а я останусь. У меня рука не дрогнет, я его на месте уложу.

Стали мы совещаться. Видим, что и так и так плохо получается. Сами, без Микитенко, мы этого ветерана не найдем, а он и фамилию его забыл. Да если и найдем, то откуда он нам верить будет, коли мы оба не здешние? В райцентре мы все, правда, работали. Но он, может, про нас ничего и не слышал.

— Надо тебе ехать, товарищ Микитенко, — говорит комиссар. — Лучше я останусь.

Посмотрел на него Микитенко долгим таким взглядом, небритую щеку шершавую тер-тер, а потом говорит:

— А вы в своей жизни хоть одного человека убили?

— Н-нет... не приходилось.

— То-то же. Не выйдет у вас. А тут секунду одну пропустил — он первый может пулю в лоб всадить. Раз на такое дело пошел...

Как же быть? Долго думали мы, а потом я и говорю Микитенко:

— Что бы там ни было, а ты в нашей командирской рекогносцировке важнее, чем мы с комиссаром. Потому как она от тебя зависит, а не от нас. Да тобою и дело придумано. Так? Но и один из нас с бунтом может не справиться, если этот заводила ва-банк пойдет. Так вот мое предложение: едем — я, Микитенко, двое разведчиков. А его, этого Лизогуба, возьмем с собой — за ездового вроде. А комиссар останется в отряде. Для соблюдения порядка и поддержания дисциплины.

На том и порешили.

Чуть только стало смеркаться, выбрались мы из Марчихиной пуши. Подождали темноты, вошли тайком в крайнее от леса село к верному человеку, запрягли санки и махнули в Горячковку.

Ехали на санках километров семнадцать. Уже к полуночи легкая поземка стала подниматься, след заметать. Настроение веселое.

— Не заведи нас, как Иван Сусанин, — говорю Микитенко.

А он смеется:

— Не журитесь! Я тут молодым к своей бабе, когда девкой была, каждую ночь бегал. А что до Ивана Сусанина, так мне такое прозвище подходит. Кличка партизанская. Тоже ведь был партизанского склада старик.

И так пошло с того вечера — Иван Сусанин да Иван Сусанин.

Уже на самой окраине Горячковки оставили мы лошадей, пустили вперед нашего Ивана Сусанина. Разведчиком вроде. У него свояк в Горячковке оказался. Минут через двадцать он вернулся.

— Германов нет уже целую неделю. В селе только три штуки полицманов. Гуляют они с вечера у Малашки Толстыки. Добре выпили, теперь спят. Но все же осторожность поиметь следует. Коней оставим здесь, а сами двинемся пешком. И фамилию этого щорсовца я дознался. Кандыбой он прозывается.

На том и порешили. Оставили ездового. Впопыхах я как-то и не подумал об Лизогубе. Всю дорогу он ехал — не то чтобы дураком прикидывался, но деятельное участие в нашей поездке принимал, как всякий другой. Словом, к старому щорсовцу пошли мы вчетвером: Микитенко — за Ивана Сусанина, я и два разведчика. Селом прошли благополучно.

— Дойдем до хаты, хлопцев поставим на страже, — шепотом сказал Микитенко, — одного возле хаты, другого у ворот. А с вами вдвоем пойдем.

Тихо стали стучать. Долго не открывал нам тот щорсовец. Слышно было и шорох в сенях и как кто-то у стенки трется, к окну прижимается и выглядывает. Тогда стукнули мы в окошко еще раз, и Микитенко голос подал:

— Дядько Кандыба, открой!

— А кто будете?

— Свои.

— А с какого боку?

— А с того самого. — И, почти прижавшись губами к самому окну, шепнул Микитенко: — Из Щорсового боку..

Или почудилось мне, или в лесу я уже привык в темноте видеть, только будто вздрогнул он. Зашуршал полубубком, притопнул об пол, обувая валенки, и через минуту тихо приоткрыл дверь. Ввел нас в горницу. Микитенко заметил, как тревожно смотрит он на оконницу.

— Завесь окно, прежде чем вздуть свет.

— Добре, добре...

И к окну бросился. Глянул и сразу отпрянул.

— Ты, дед Кандыба, не тревожься. То свои, разведчики. На страже стоят.

— Угу-у-у, — сказал Кандыба, плотно прикрыл дверь и зажег спичку, а от нее уже — восковую свечу. Поднимая ее над головой, он быстро оглядел нас обоих.

— Признал? — обняв винтовку, спросил Микитенко.

— Да вроде...

— А меня не узнаешь? — вышел я на свет.

Кандыба усмехнулся криво и не очень так уж дружелюбно.

— А как же! Не раз вам трешку плачивал, чтобы не привязывались к моей бабе на базаре. Она у меня нервная. И скуповата трошки. А я с базара завсегда привык под крепким магарычом ехать. Все же от начальника базара трешкой отделаться легче, чем от бабы отвязаться. Квитан-

цию за божницу — и порядок. А та целую неделю грызет.

— Чего ж не спрашиваешь, по какому делу приехали? — подмигнул Микитенко.

— А чего пытаться? Вы и сами скажете. Раз в такую ночь, да в такое время, да в этакий свет ко мне притащились.

— Тоже верно. Ну что ж, товарищ командир, не будем время терять. Начинай. Человек верный, можно не сумеваться.

Не помню, что и как, но начал я издалека разговор. Как бывало докладчики у нас в районе: надо про посевную, а он с гидры империализма заход делает. Но мой шеф Иван Сусанин-Микитенко не дал мне разгуляться:

— Да вы долго не размусоливайте, берите прямо быка за рога.

«Тоже верно,— подумал я.— Ночи нам не хватит, если к щорсовской стратегии так издалека подходить». И в лоб старику говорю:

— Так вот, товарищ Кандыба, имеются у нас сведения, что ты под командой самого Щорса воевал. Правда это?

— Было такое дело, — отвечает он и прямо в глаза смотрит.

— Так вот, есть у нас к тебе такая просьба. От всего нашего партизанского отряда. И от командования особо. Объясни ты нам тактику и стратегию товарища Николая Щорса. Так, Микитенко?

— Так, товарищ командир, — поддакнул Микитенко. — Объясни.

Смотрит на нас Кандыба во все глаза и молчит. Встал с лавки, потом опять сел.

— Так вы за тем и приехали? В такое время и в такой путь?

— За этим, только за этим. Выручай, браток, — угрюмо сказал Микитенко.

Нагнулся вперед Кандыба, рукой за живот схватился, вроде с него подштанники падают, и беззвучно засмеялся.

— Ты чего? — сердито спросил Микитенко.

— Звиняйте, товарищи дорогие, — отвечает он, сразу посерьезнев. — Понимаю ваше положение. Но ошибка у вас вышла. Какую стратегию и тактику могу я вам рассказать? Я ж в обозе у Щорса был... Поначалу одним

И хозяин это заметил.

— Вот еще чем могу помочь, — говорит. — Коли придется вам туго, будут вас по лесам гонять, может, схованка потайная, схорон какой вам потребуется? Уж лучше, чем я, лесные дебри и пуши никто по всей округе не знает. Дороги тоже и тропы...

— А пошел ты... со своей схованкой! — вырвалось у меня.

— Погоди, командир, — остановил меня у двери голос Микитенко. И такой это был голос, что по другому времени я бы его и не признал. — Давай думать, куда нам из этой хаты податься.

Подкосились у меня ноги... Так возле двери я и сел на лавку. «А ведь верно — куда?» Тут на хозяина нашего говорливость какая-то напала. Мы с Микитенко молчим. А он тараторит:

— Вы что думаете, народ не видит скрутное ваше положение? В соседних районах уже братки ваши, партизаны, за дело взялись. За Сеймом, за рекой, слышать, дед какой-то объявился. Орудует на полный ход. Танков набил видимо-невидимо...

— Какой дед? — встрепенулся Микитенко.

— Какой он из себя, не знаю. Да и по имени по-разному сказывают; одни говорят — Дед Мороз, другие — Дед Великан, а третьи и просто Дедом величают. А то еще слышать, что цыган. Ну, это, я думаю, брехня. Все-таки по их кочевой жизни вряд ли кто из них военную выучку мог превзойти.

— А за Десною как? — спросил Микитенко.

— За Десной тоже товаришочки шевелиться начали... Но про таких, как был наш товарищ Щорс, пока еще не слышать. Некоторые люди, я вам скажу, надежу на вас кладут. Так поговаривают: те сразу начали, а наши — с выдержкой. А другие...

И осекся.

— Что другие? Говори...

— А другие говорят — не будет из наших толку.

— Так и говорят?

— Ага. Говорят, слишком уж они в потайную игру ударились, от народа отгородились. Думают, в этом все дело, как получше голову запрятать, чтоб зад не видать было. А от народа все равно не спрячешься.

Скрипнуло что-то на улице.

— Погоди-ка, товарищ Кандыба, — перебил его Микитенко.

Он и замолк. Но тревожно глазом зыркает. Я дал ему знак, чтобы свечу прикрыл. Подошел к окну, глянул. На улице ночь темная, метельная, партизанская. Был бы живой Николай Щорс, или Черняк, или батька Боженко, или товарищ Пархоменко, они бы в эту ночь... Они бы не с бывшим обозником толковали, где, в какой схорон, на какой лесной пасеке голову запрятать. А мы?! Что же это были за люди? Повернулся к хозяину круто на каблуках и спрашиваю:

— А Щорса самого ты видел?

А он свет ладошкой прикрывает да бородой на окно показывает, чтобы лучше я его дерюжкой прикрыл. Выругался я тут крепким словом и громко говорю:

— Отвечай на вопросы! Что мне твой свет и твои окна! Мне все равно в эту вьюжную ночь надо идти!

Открыл он свечу, нагар еще раз снял и бойко так отвечает:

— Бачив... Один раз.

— Ну, какой он из себя? — встрепенулся Микитенко.

— Среднего росту. В плечах не дюже чтоб широк.

— А с лица? Глаз какой? Взгляд? Походка? Голос?

— Этого не разглядел, товарищи.

Плюнули мы тут оба сразу и на ноги поднялись. Видим, время зря тратим. А Кандыба виноватым голосом оправдывается:

— Так ведь что я? Я ж обозник, можно сказать, для подкрепления военного фундаменту. Молодой тогда был... Малограмотный. Если бы ж я знал тогда. А то ведь как было? Стояли мы, кажись, в Новозыбкове или, может, в Унече — забыл уж. Помню, как сейчас, колеса мазал... Подставил я плечи под полудрабки. А я здоровый был, мешки десятипудовые легко на себе таскал. И только это нагнулся я к колесу, тут по улице два конника. Намётом. Мой товарищ из Брянщины — Голосеев фамилия, погиб потом под Шепетовкой, — кричит: «Гляди, Кандыба, гляди! Вона Щорс!» А я пока поднялся, мазницу поставил, колесо наладил. «Где?» — «Вон-вон поскакал». — «Который?» — пытаю. «Эх ты, хохол, растяпа! Вон тот, который в - кожане», — смеется Голосеев. «Ты чего обзываешься, брянский волк-бродяга?» — огрызнулся я. Мы тогда насчет интернационала наслыша-

ны были, а насчет дружбы народов не так чтобы даже разбирались. Дразнились еще по-старому. А он смеется, заливаясь.

— Ну, а Щорс? — спрашивает Микитенко.

— А Щорс ускакал.

Сел я на лавку. «Все равно, — думаю, — некуда нам торопиться».

— Значит, видал Щорса? — спрашиваю.

— Бачив своими глазами. Вот как вас обоих. Только с заду.

Посмотрели мы с Микитенкой друг на друга и горько ухмыльнулись.

— Вот незадача, — сквозь смех говорит Микитенко. — Вы уже извиняйте, товарищ командир, я как лучше хотел.

— Понимаю. Ну, а скажи ты мне, товарищ Кандыба, нет ли поблизости щорсовских вояк? Настоящих командиров или хоть строевых бойцов? Которые бы Щорса своими глазами видели? Но не так как ты, а в бою... Понимаешь, в бою?

Задумался Кандыба. «Почекайте, подумаю...» — говорит.

«Так?» — глазами спрашиваю я Микитенко. А тот пожал плечами и говорит вроде как сам до себя: «В бою люди своих почти не замечают. Они больше противником интересуются... кого на мушку брать». — «Ну, а командиров?» — спрашиваю. «Командиров? Командиров видать перед боем хорошо, а во время боя только в самые скрутные моменты». И глаза от меня Микитенко отводит. Ухмылочку в усах прячет. Тут я понял его думку: «Таких командиров, как ты, не только в бою, но и перед боем никто не заметит».

— Ну, товарищ Кандыба, вспомнил? — бодро спрашиваю я. — Есть твои однополчане где-нибудь поблизости? Щорсовцы настоящие, боевые... Ветераны есть?

Тихо и виновато ответил Кандыба:

— Нет. Никого нет, товарищ командир. Может, и есть где, но я не упомяну. После гражданки разошлись все по домам. Связь потеряли. Ну, стали к мирному делу притуляться. Кто побойчей — в гору пошел, начальниками сделались. А мы, гречкосеи, до земли как дорвались и давай вкалывать. А там коллективизация пошла, колхозы. А потом, глядим, наш командир Щорс уже в кино

стал показываться. Точно такой, как был. Только в кино повиднее будет, чем в жизни. Но и не так страшно, как под настоящими пулями и снарядами.

«Вот невезение! — думаю я. — А может, он с нами дурака валяет? Придуривается... Нет, не похоже... А впрочем кто ж его знает. В такое время люди разную шкуру на себя напяливают: кто волком, кто медведем, кто лисой, а кто и глупой овцой прикинется».

Переглянулись мы с Микитенко и видим, что надо нам вострить лыжи домой. На прощание Микитенко и говорит:

— Не много ты нам рассказал, соратник товарища Щорса. Ну, а все ж таки, как она у Щорса, война, шла? С немцем как воевали? Понимаешь? Я на Украине тогда не был, больше знаю, как Юденича колошматили, да под Архангельском.

— Это я вам могу сказать, — отвечает Кандыба. — Полностью, как оно было. Потому как оно на наших глазах, у всего народа.

Поглядел на меня Микитенко: «Послушаем?» Отмигнул я ему: «Ну что ж, давай еще послушаем».

Кандыба встал, по хате прошелся, кожух в рукава надел. Застегнул на все крючки, расправил плечи, выше ростом даже стал, головой под сволок подпирает.

— Значит, война тогда шла так. Сначала германец наступал. Все войска в касках, у офицеров каски с востряком, погоны не блестят, как у наших... Артиллерия у них крепкая, чемоданами так и глушит. Пулеметов тоже полный достаток, только не на колесах у них пулемет, а на треноге. Как бы вам сказать, в землю вкопанный. Пули разрывные, «дум-дум» называются. Из карабинов тоже разрывными лупит. Ну и австрияк вместе с германом прет. Эти будут вояки пожиже. Но тоже с артиллерией. Кавалерия у них есть. Эта здорово по хуторам шастала. Очищала, значит, хутора, оружие забирала. Ну, вот, значит, герман наступает...

— А вы что? — спрашивает Микитенко.

— А мы? А мы тикаем. Куда ж против артиллерии...

— А потом?

— А потом подошли к самому Брянскому лесу. И тут фронт встал. Долго стоял фронт. Вроде перемирие у нас с ним вышло. Уже не фронт, а зона.

— Какая зона?

— Нейтральная. Де-мар-ка-ци-онная зона. Так называли наш край.

— А дальше что?

— А дальше товарищ Щорс в Москву ездил. Говорят, сам товарищ Ленин ему приказы спускал. А потом, видать, захотел оглядеть, кто же его, товарища Ленина, приказы выполняет. И вызвал его самолично, Щорса, значит, для знакомства. Вернулся наш товарищ Щорс от Ленина...

— И в наступление?

— Нет, не сразу. Стали мы тогда с партизанщины на дивизию переходить. Отряды кончились. Пошли батальоны, полки. А из них, значит, получилась первая советская дивизия. Повстанческая. Стали оружие приводить в порядок. Чистить, смазывать, обучаться. И до нашего обозного брата добрались. До этого, бывало, едешь, раз коняка везет. На телегу и не смотришь. Погоняй, пока колесо крутится. Скрипит не скрипит, едет не едет — погоняй! А тут выдали упряжь, за немазаную телегу стали строго спрашивать. Если телега без мазницы с дегтем, так это все равно что пулемет без патронной ленты. Строгий спрос пошел, куда там!

— Вот тогда ты и Щорса видел? — смеясь, спрашиваю я.

— Ага, — отвечает Кандыба серьезно.

— А дальше что? — допытывается Микитенко.

— А дальше мы стали наступать.

— Партизаны? — подкрутил ус мой Иван Сусанин.

— Нет, весь фронт. Вся Красная Армия в наступление пошла. И партизаны тоже. Их тогда повстанцами звали.

— А германец, австрияк что? — вырвалось у меня.

— А герман стал тикать.

— А Щорс что? — добиваемся мы оба у этого пчеловода.

— А Щорс стал ему с тыла заходить.

— Зачем?

— А чтоб не упускать. Отдай, гад, пушки, отдай пулеметы, отдай чемоданы — всю артиллерию отдай.

— И отдавал?

— От-дава-ал... По шляхам, по лесам бросал... До железных дорог босиком, в одних шелковых подштаниках добежал. Ну, тут уже повстанцы орудовали! Поезда

под откос пускали, подпольщики-железнодорожники, рабочий класс поднялся. Что было-о!.. Кутерьма пошла.

— А щорсовцы что?

— А мы на галопе да вперед, все его обходим. Он на Десну, а мы уже за Десною. Он в Нежине, а мы под Киевом. Он к Днепру, а мы за Днепром! Он к Житомиру, а мы Житомир обошли. Да его с тыла, да его с хланга — да по уху, да по загривку, да под микитки: отдай, гад, артиллерию, чемоданы отдай! Ну, тут и нам уже работы было! С ног сбились. Лошадей три пары я загнал. Снаряды подвозил. Немецкие чемоданы, как поросята, в телеге лежат, вот-вот взорвутся, а мы из-под Житомира их под Шепетовку доставляем. А Щорс, и батька Боженко, и Черняк уже за Шепетовкой орудуют, приказы в Житомир шлют: обозники, голубчики, туды вас растуды и обратно, давай снаряды, давай патроны... ни коней, ни себя не жалей. И что вы думаете? Ни капельки не жалели. А если и находился среди нас шкура какой-либо, лоботряс, так мы его сами в распыл пускали. Ни Щорс, ни батько Боженко про то и не знали. Ушел германец от нас общипанный, как чужой петух со двора. Еле живой, чуть теплый. И что вы думаете? Понравилось ему. Стал у себя революцию поднимать. А мы со Щорсом за пана Пилсудского взялись...

Поглядели мы с Микитенко друг на друга и опять засмеялись. «Вот тебе и вся стратегия и тактика... Не за ней ли ты в эту пургу да и метель ехал?» — думаю.

Отсмеялись мы и стали собираться: Прощаемся с хозяином. Он и говорит:

— А вы, хлопцы, погодите трошки, я тут с хозяйкой перекинусь словом.

— Мы на дворе подождем, — говорит Микитенко.

— Можно и так.

Вышли мы во двор. Разведчики наши промерзли уже.

— Ну, заходите, хлопцы, в хату, погрейтесь хоть пять минут.

Стоим с Микитенкою, молчим, а на душе веселее вроде.

Скоро вышли трое из хаты — наши разведчики и хозяин. В кожухе, подпоясан, в валенках и с мешком за плечами.

— Ты, Кандыба, куда собрался?

— Да к вам же, в отряд. Раз такие дела вы задумали, так чтобы я, старый щорсовец, на печке сидел? Не годится.

- Так у нас ведь и обоза еще нет, — говорю ему.
- Обоз — дело нужное, хотя и нужное, — отвечает.
- И оружия маловато, лишней винтовки нет.
- Достану, — говорит. — Да я и небезоружный к вам.

Полапайте.

Пощупал я его заплечный мешок «сидор», а там штук десять гранат. Как мороженые галушки лежат. Глянул на пояс, а там у него запалы натыканы, как у черкеса.

Ночи оставалось мало, торопились мы. Подошли к крайней хате, а саней наших и нет.

— Сбежал, сукин сын! — ахнул я.

— Хорошо, если в отряд сбежал, мы его догоним. А если побежал полицаев предупредить? — затревожился Микитенко.

Ну, тут я уже командовать стал. Оружие изготовили. Наш Кандыба запалы в гранаты ввинтил. Внимательно вокруг посмотрели: санный след в сторону Марчихиной пуши заворачивает. Перекинулся я парой слов со щорсовцем, и решили мы полицаев накрыть. Так и сделали. Подошли все впятером к хате самогонщицы Малашки Толстыки. Она под шумок у себя целую корчму открыла. Выгодно, видать, на проезжем шляху самогонкой подторговывать.

— Дрыхнут пьяные, — шепотом сказал Кандыба. — Будем брать живьем полицманов? Или, может, гранатами в окна?

— Гранаты побереги, — говорю. — Пригодятся. Пригодятся, когда немец-фашист будет тикать, а мы его будем не пускать.

— А может, и не так скоро это будет, товарищ командир? — остудил мой пыл Микитенко.

Но в общем решили мы их живыми взять.

Окружили хату. Крепко там спали. Долго пришлось стучать. Проснулась Толстыка. Кандыба голос подал — дверь открыла. Вошли мы в дом. Накрыли, как мокрым рядом, полицаев. Но все же один из них успел выхватить пистолет из-под подушки. Ушанку мою с головы так и снесло. Второпях я нахлобучил ее. А второй раз ему выстрелить не пришлось, Микитенко его прикладом прикончил. Остальные двое не рыпались. Уже только на морозе поняли, кто мы. Стали пощады просить. Война партизанская только-только начиналась, сердце наше еще не ожесточилось, мы их и пожалели. На свою голову. Отпустили

их на все четыре ветра, оружие только забрали. Я — пистолет, Кандыба — карабин. Да еще один трофей — французская трехпатронная берданка.

Там же, на морозе, почувствовал я, что волосы мои под шапкой все больше слипаются. Снял ушанку, а из нее так по щеке юшка и потекла. Вернулись в корчму, и Микитенко рушник вышитый вдоль располосовал.

— Черепушка осталась цела, ранение касательное, — говорит-приговаривает, а сам пальцами ощупывает мою голову, бинтуя ее.

Вышли мы снова на мороз. Полицаев заставили ихних же коней запрягать. Добрые были кони. А потом заперли тех двух обратно в корчме и подались в лес.

— Гони к себе на базу, — свистнул Микитенко.

Вовремя мы туда вернулись. Наш Лизогуб не таким уж губошлепом оказался. Вернувшись ночью, он своих, тех, которые колебнулись (пять человек их всего было), разбудил. Нашептал им, что нас забрала полиция. Комиссара моего они ночью накрыли и вроде как бы под арест заключили. Но тут уже коммунисты отряда все как один поднялись. Освободили комиссара, но мер никаких еще не успели принять. Ждали решения командования.

Уже брезжил рассвет, когда выстроил я перед землянками весь наш партизанский отряд. Вышли мы перед строем — я и комиссар, а позади нас Микитенко, два разведчика и Кандыба. И откуда у меня голос и твердость взялась! Я сказал:

— Товарищи партизаны! Что ж это случилось? Пока мы боевое задание выполняли — разоружили полицейский пост в Горячковке, а тут нашлись люди, которые затеяли измену?! Нож в спину? Кому? Всем нам! На комиссара руку подняли? А завтра ты в бой пойдешь, и ты, и ты, — так он и тебе в спину замахнется! Разве можно правильно и смело воевать, если у тебя тыла нет? Ведь это же вся война на том строится, что каждый из нас спереди в десять раз сильнее, чем с боков и позади. Спереди у тебя глаза есть и руки. И пуля от тебя вперед летит. А позади?..

— Вот потому он нам с тыла и намеревался ударить, — пробасил Микитенко, показывая на нахохлившегося Лизогуба.

— Какая будет ваша воля? Что с изменником делать? — громко спросил я у отряда.

— Расстрелять! — ответил отряд.

— Братцы. Я ведь домой хотел... Пощадите! — завопил Лизогуб, падая на колени.

Замерли все. Истошный голос взбаламутил еще не обывкшие до крови сердца. Только тут позади раздался негромкий голос Кандыбы:

— У нас таких не миловали. Огнем и каленым железом, поганой метлой выметали вон.

— У кого у нас? Откуда в отряде чужой? — раздалось из строя недовольные голоса тех, кого сагитировал Лизогуб.

— У товарища Щорса! — громко сказал Микитенко.

И строй замер, словно по команде «смирно».

Я шагнул к стоящему на коленях изменнику.

— Расстрел? — спросил я у отряда.

— Расстрел! — был дружный ответ.

И я выполнил их волю. Из того же пистолета, из которого стрелял в меня полицай. Затем, повернувшись, спросил:

— Есть какие-нибудь претензии или вопросы к командованию отряда?

— Жалоб и вопросов нет. Имеется просьба, — сказал балагур и весельчак Сенька Шур.

Весь строй повернул к нему головы.

— Говори, — сказал я. — Командование слушает.

— Просьба не до командования, а до того дядька, который у Щорса воевал. Пускай нам расскажет, как воевали, какой из себя был товарищ Щорс. Все, как есть, подробно пускай обскажет тот старший товарищ.

Что-то он еще говорил... Вижу я, губы у него шевелятся, а ничего не слышу, и сосны вокруг вроде в пляс пошли, в глазах у меня мутнеет. Стал я, видно, на бок оседать, но тут комиссар и Микитенко под локти подхватили. Дохнул я морозного воздуха два раза глубоко... Кто-то манерку мне к губам приложил из тех, что у полицаяев забрали. С перваком. Отошел я быстро. Руку поднял — галдеж вокруг прекратился. Люди замерли.

— Правильное предложение, — говорю, — и просьбу вашу командование удовлетворит полностью. Только не сейчас. Будет для этого время.

— На политчase товарищ щорсовец вам все расскажет. Во всех подробностях, — говорит людям комиссар Шуганюк.

— А сейчас прошу у вас возможности отдохнуть,— сказал я.

— Правильно! Правильно! — закричали из строя.— После боевой ночи, ранения... Погодим!

И такими глазами они все на меня смотрят... Никогда не видел я таких поглядов. Это раз в жизни только видеть можно. Но этого на всю жизнь хватает.

— Разойдись по землянкам и караулам! — скомандовал я.

Отвели и меня хлопцы. Лег я на нары у двери и, пока не впал в забытие, сказал Кандыбе:

— Нагнись ко мне, товарищ щорсовец! — И тихо ему: — О том, что обозником был, молчок. У Щорса воевал? Воевал. И баста.

— Не беспокойся, товарищ командир, не такой уж я обозник, каким прикинулся... Я вам и связь дам с подпольщиками горячковскими.

— Это вы уж с комиссаром орудуйте пока,— говорю ему.

— Понятно. Не сомневайтесь...

— А ты ж сомневался все-таки?— спрашиваю.

— Наше дело такое. На острие ножа ходим... У вас, думаю, обиды быть не может. Это ж не наше личное дело, а дело партийное.

— Да я и не обижаюсь. Спасибо, друг щорсовец, за науку.

Об чем он там рассказывал и на политчase и просто так — не знаю. Отлеживался я трое суток, пока царапину мою затягивать стало. Но в общем скажу твердо, что с этой самой ночи у нас дело пошло... Особенно когда Микитенко Иван партторгом стал. Очень они дружно с комиссаром Шуганюком сработались. Мировой партторг с этого Микитенки получился».

Так рассказывал мне «комбат четыре» товарищ Кучерявский о первых боевых днях своего отряда. Рассказывал тогда, когда в отряде было уже полтысячи человек, год и два месяца боевого опыта, десятки успешно проведенных боев, четыре-пять небольших рейдов по Левобережью и шестисоткилометровый путь великого рейда на правый берег Днепра. Этот рейд мы совершили вместе...

Но только тут, возле озера Прибыловского, понял я силу традиции, примера. Силу эстафеты поколений, силу истории. Не той книжной науки, которая служит верным прибежищем для оторванных от потока жизни людей, загораживающихся от нее свитками и фолиантами. Много лишней крови пришлось нам пролить, нам, сынам Щорса, внукам батеньки Боженко... Пролить также и потому, что не была сохранена и бережно донесена в эти лесные дебри священная, могучая сила традиции. И трудно от этого было нам вдвойне, в том числе и Кучерявскому. Он пролил кровь одним из первых в ту пурговую ночь, когда искал обозника Кандыбу, который у самого Щорса воевал.

Но ведь не даром же искал...

Еще там, на озере Прибыловском, решил я сразу же после войны — если только останусь жив! — посвятить себя этому делу. Истории!

Ей-богу, в ней есть что-то партизанское. Так же, как бывало ночью, в пургу или в осенний дождь продираешься сквозь лесные трупы, чтобы наиболее кратким путем достичь цели... Эх, да чего там! Разве ж не понятно? Так и тут — сквозь путаницу десятилетий, тьму веков и вереницу поколений бредешь на ощупь, спотыкаясь и пробираясь все вперед, в глубь отгремевшего, пережитого, выстраданного народом; роешься в летописях, свитках и фолиантах, чихаешь от архивной пыли — и вдруг блеснет на тебя светом разума, молнией мысли, обогреет тебя теплом народного опыта, и из далеких далей прошлого ты почувствуешь, как берут тебя под локти, шлют поклон, требуют дела и Щорс, и Денис Давыдов, и Семен Палый, и безымянные шиши Смутного времени, и Евпатий Коловрат... Блеснет светом разума и горячей любви к родине — и хочется идти вместе с ними по векам, плечом к плечу, обнявшись, не оглядываясь на разницу возраста, на различие стеганок, доломанов, епанчей, на различие убойной силы гранат, автоматов, шаблок, кремневых ружей и ятаганов. Недаром сказал поэт:

...Мы слышим в вечности друга друга
И различаем голоса.

Но стоит погромче крикнуть: «Эгей, братья, деды, прадеды!..» — так сразу вылезет, оживет Лизогуб, пристре-

ленный перед строем Кучерявским. Они ведь тоже живучи. Они тоже «патриоты». Они зовут «до дому», когда родину надо защищать в степях, лесах и горах; они загоняют нас в стойло степеней и программ, догм и зубренных истин. Им тоже нужна истина. Та, возле которой можно хорошо прокормиться. Им нужна истина спокойная, сытная, плацкартная, беспересадочная истина, застоявшаяся и жирная, как болота вокруг полесских озер.

А нам? А нам нужна история как живое дело народное. Не мундир ее, а самая ее суть. Не блестящие пуговицы науки, а мудрая ее плоть и кровь.

...И нам, живущим ныне людям,
Не оставаться без родни:
Все с нами те, кого мы любим...

Нам нужно это потому, что истина наша — любовь к людям, потому, что коммунистом может стать только тот, кто обогатит свою память всеми знаниями, которые выработало человечество. В том числе и знаниями о нашем — с Кучерявским вместе — общем деле.

О нем я и расскажу дальше.



ШВЕДСКОЕ ДЕЛО

1

Как-то после войны во время муторных литературных дел вспомнилась мне эта байка нашего «комбата четыре» Кучерявского про обозника Кандыбу... Того, который у Щорса воевал и в большие стратеги вышел. Традиция здорово помогла. И потянула эта байка за собою, как иголка нитку, все остальное.

«Что ж,— раздумывал я,— если обозник мог уму-разуму научить, то что же могла бы сделать наука?.. Если бы она была в полном ранжире. Как говорят, — на высоте... О прошлом нашей партизанской жизни все бы нам рассказала! А? Во всеоружии знаний мы бы и не такое сотворили».

Но поскольку не было такой науки, то решил я самостоятельно в этом деле разбираться; расковырять, как оно шло не только у товарища Щорса. Но и как Сергей Лазо воевал; затем до Котовского добрался; первые налеты Пархоменко изучил; разобрался, как в приуральских степях Чапай рейды совершал; разузнал о лихом партизанском налете на отряд штабс-капитана Гилорыбова, совершенный тогда еще уездным комиссаром Семеном Михайловичем Буденным.

«Эге, братки, — думаю... — Так тут же целая история с тактикой перехлестнулась. И самая ближайшая к нашему времени история».

А потом вошел во вкус да порешил заглянуть и поглубже. Заинтересовался: «А как же оно было в революции 1905 года?» Стал там искать. Искать... Не по кни-

гам, нет. Еще живы те люди, что эту революцию творили... Говорят мне старики, участники той революции:

— Были и мы партизанами... На Украине и Белоруссии повстанцами звали нас... А в Прибалтике — «лесными братьями». А в Молдове — гайдуками.

Вот тут разохотился я вглубь, в прошлое заглядывать. Стал, значит, во вкус истории входить: «А как же, — думаю, — в 1812 году? Ну, там известное дело, — Денис Васильевич Давыдов со товарищи, Василиса Старостиха, да Герасим Курин, да капитан Фигнер — вроде нашего Николая Кузнецова. Одни эти имена каждому русскому сердцу что-то говорят.

— А как же «было дело под Полтавой»?

Было, было дело... И не только под Полтавой, а и возле Стародуба, и в самом Веприке, и под Пропойском.

— А в смутные времена? Тут так же, как и во время войны с Наполеоном, и при битве под Полтавой, живых свидетелей нет. Тут надо по мемуарам и летописям шуровать. Говорят польские хронисты и наши грамотей, что в смутные те времена действовали против Жолкевского и графа Делагарди какие-то «шнши»...

«Какие-такие шнши?» Стал разбираться. А на поверку и вышло, что эти шнши, получается, самые что ни на есть заправские партизаны.

А запорожцы? А донские казаки? А в батыево нашествие? А?

И чем больше стал я в глубь веков забираться, записывать имена и ратные были, сопоставлять факты, тасовать их, как старая ворожея карты, то все больше и больше открывался перед глазами народ русский. Великий! Могучий! Как кряж! Наскакивают паны, шведы, французы, немцы. А он локтем поведет. «Не трожь!» — и осыпается нечисть, как гусеница с дерева. А сколько головушек забубенных полегло под той Полтавой?! А сколько муки да слез принял народ от Наполеона?! А шляхта что шворила с той ненькой Украинной?

И написал я об этом книгу. Толстую. Ученую-преученую. Скушную-прескушную. И назвал ее так: «Война без флангов». В трех томах. Вот ей-ей — в трех. Ну, раз книга учная, надо первым делом ее ученым людям и показывать. Академикам, профессорам, докторам. Долго листали первые две странички ученые мужи и говорят: «Не годится».

— Так вы же только заглавие изучали. А книгу и не полистали, — заикнулся было я. Куда там...

— Вот заглавие и не годится, — отвечают ученые. — Что это за заглавие такое? Что это вам — кинофильм? Или сценарий? Или беллетристика какая? Длинное заглавие, говорят, надо. Без длинного заглавия ученой книжки не бывает.

Долго пришлось думать, пока выдумал я длинное заглавие: «Очерки по истории военного творчества народных масс, партизанских войн и движений в России и в СССР»... — вот такое длинное заглавие придумал. Более чем из десятка слов. Уж пора и точку ставить, не опасаясь, что тебя неучем назовут, но как-то по инерции я добавил еще: «...за последние две с половиной тысячи лет»¹.

Но прежде чем кидать читателя, как в омут головой, в те исторические дали и с места в карьер начинать рассказывать о древних скифах да амазонках, о грозных и туманных делах и скушноватых книгах — все же скажу несколько слов о более близком. Но, конечно, соответственно с древностью связанном.

Дело все в том, что по древним делам без костыля и без проводников ходить никак нельзя. Костылем служит упорство, а проводниками — переводчики.

Вот об этих толмачах я и расскажу. Много с ними приходилось мне валандаться. Много веселых и скучных часов моей жизни ушло, пока докапывался до скрытой в манускриптах истины. Но запомнились мне два случая: один к седой старине относится, другой поближе к нам будет.

Начнем с того, который поближе.

¹ По окончании В.О.В. я начала заниматься теорией и историей партизанских действий в России. И как всегда во всяком новом деле есть свои доброжелатели, также есть и недоброжелатели. Так вот, в моем деле, деле новом, никем не исследованном и не систематизированном (а мне хотелось — я широко размахнулся — составить что-то вроде боевого устава, наставления для партизан будущего), в этом-то новом деле на моем пути недоброжелателей встретилось больше, гораздо больше, чем положено «по норме». Книга эта так и не увидела света. Рукопись ее в надежном месте, и я не решаюсь ее Вам послать. Это не по Вашей части. Вряд ли разберетесь в ней. (Примечание Горевского Ал. Куз.).

Как-то году в сорок седьмом приносит мне почта толстый, увесистый пакет. На конверте адрес, неточный, правда, вроде «на деревню дедушке». Но почта после войны у нас ладно стала работать. Словом, пакет меня нашел. Раопечатал я конверт, поглядел на заграничные марки. В конверте — книга на непонятном языке. И письмо. На том же самом языке. Стал я эту книгу вертеть, разглядывать, щупать... ничего понять не могу. Конечно, я, как и многие люди моего поколения, не великий знаток иностранных языков, но если бы писано было по-немецки, по-французски, по-английски — прочесть не прочел бы, но хотя бы понял по-какому написано. А то верчу в руках и даже не пойму, что за язык. Долго я листал страницы, пока вдруг не встретил одну свою старую знакомую. Мне еще в старой школе довелось грамоту проходить: ну, конечно, «ять» и «твердый знак» зубрили напропалую... Но была в старом русском правописании еще одна проклятая буква — «фита» называется. Она как буква «о» пишется, только с перекладиной. Из-за этой самой «фиты» не раз меня за уши драли. Ну, как ты усвоишь такую премудрость: Филипп пишется через обыкновенное «ф», а, скажем, Фома — через «фиту». Вот смотрю я на этот подарок. И вдруг как током ударило — через каждый десяток-другой слов — «фита».

Тут я сразу догадался.

— Эге, постой. Да не греческий ли это язык?

А как пришла эта догадка, за переводчиком дело не стало. Встретился с ним, показываю пакет:

— Это что будет?

— А это ваша книга «Война без флангов» на греческом языке, — отвечает переводчик¹.

— А это?

— А это — письмо... Адресованное лично вам,

— Перевести сможете?

— Попробуем...

¹ Все-таки, видимо, книга «Война без флангов» была напечатана. И не только в нашей стране. Внештатный редактор чувствует сейчас некоторое смущение за то, что он оказался не на высоте. Ну, что поделаешь. Уж очень много понаписали партизанской литературы. Или, возможно, она печаталась под другим, менее интригующим заглавием.

Вначале переводчик перевел обращение. Немного необычное, видимо, на их греческий манер. А дальше стал переводить текст письма:

«Мы посылаем на память вашу книгу, изданную в подпольной типографии Свободной Греции. Это была любимая книга нашего командира Янулиса... Он читал нам ее в блиндажах и окопах, у костров и на привалах, после боя с врагом. Он читал ее нашим партизанам, когда нам приходилось скрываться в горах, читал нам ее и в дождь, и в холод. С этой книгой он ходил дважды в рейд под Афины. Он всегда носил ее в своем солдатском...»

И тут переводчик запнулся. Лезет в словарь искать незнакомое слово. Затем снова заглянул в письмо и недоуменно развел руками:

— Нет такого слова в греческом языке,— виноватым голосом сказал он.

— Как нет такого слова? Люди же пишут..

— Не знаю...

Ну, как нам было выйти из создавшегося затруднения? И тут я, никогда не изучавший греческий язык, попробовал перевести недостающее слово. Потому, что кроме многих языков народов земного шара есть еще язык солдатский... Я попросил переводчика записать всю фразу с пропуском недостающего слова. Получилось так:

«... С этой книгой ходил он дважды в рейд под Афины. Он всегда носил ее в своем солдатском... (чём-то так смутившем переводчика), она лежала у него рядом с запасом гранат и патронов, вместе с индивидуальным пакетом и письмом...»

— Погодите,— остановил я переводчика,— запишем недостающее слово. Я догадался... Ну, конечно же! Неизвестный нам грек Янулис носил книгу в своем солдатском «с-и-идоре». Так называют солдаты свой заплечный мешок, где они носят и смену чистого белья, и запас патронов и гранат, и письмо от матери или любимой.

— Пиши: в «сидоре» носил Янулис книгу дважды в рейд под Афины. Пиши и переводи дальше,— сказал я.

— «...А затем,— продолжал медленно переводчик,— когда наш командир погиб..»

— Как погиб?!..

— ...Здесь так и написано по-гречески, это значит погиб...

Мы долго молчали, стоя над греческой книгой, как на карауле. Затем переводчик продолжал:

«...она заменила нам командира, стала руководителем, наставником и другом».

— И дальше — двенадцать подписей. Из которых пять женских, — тихо сказал переводчик.

Приходилось мне потом на страницах прогрессивной прессы встречать эти имена борцов за мир. Там были подписи Руды Кукулу, Авры Порцалиду, Руты Лазариду, Вайко Вурно и Доры Иоаннили...

Конечно, получив такую оценку своей работы, впору было мне и нос задрать... Человек ведь слаб. На похвалы, во всяком случае. Но стоило обдумать и это письмо, и судьбу неизвестного мне грека Янулиса, как все стало на свое место; в том числе и авторский нос пришел в нормальное положение. Дело в том, что не я один автор этой книги...

Нет, не поймите меня буквально. Я не прибегал к помощи литературных «негров». Да и вообще отказывался от всяческой, хотя бы только иносказательной, езды на рикшах, — я сам писал мою книгу — от первой строчки до последней точки. Но все же, размышляя над греческим письмом, ясно понял, что не художественные стороны книги, не красоты стиля и слога и не мой талант нужны были Янулису. Нет! Ему немедленно и позарез нужен был боевой опыт и смысл партизанской войны. Боевые дела и мотивы поступков моих боевых товарищей. Их поведение и внутренняя сила, закалка характеров в ходе самой борьбы. Вот, что нужно было командиру отряда греку Янулису. Значит, с его точки зрения, хотя, вероятно, он никогда и не уточнял и не осмысливал этого, не я один — автор этой, так ему полюбившейся книги. Мои боевые друзья — советские патриоты — вот кто творцы ее. А ее чисто литературная сторона, может быть, Янулиса и не интересовала вовсе. Эту, как сказали бы ученые, коммуникативную свою роль — доходчивость и простоту восприятия — она выполняла незаметно. Главное же для Янулиса был опыт советских патриотов — такой необходимый ему в тяжелые для его родины дни.

Вот так — от обозника Кандыбы, который у Щорса

воевал, и от грека Янулиса, который и у нас кое-чему научился, и пошел мой усиленный интерес к истории. Она — не свод «мудрых» формулировок, выдуманных старичками, не бесконечные споры о периодизации, а живое дело. Общение людей. Передача опыта от поколения к поколению, от народа к народу. Она — самая живая из всех живых наук. Хотя бы уже и потому, что никакие усилия чиновников напялить на нее мундир с блестящими пуговицами ни к чему не приводят. Она — в конечном счете исторический материализм, т. е. борьба народов за лучшую жизнь.

2

Так, от первого боевого опыта дружин да от грека Янулиса стал я забираться все дальше в глубь веков, пока не забрел в дебри Смутного времени. И натолкнулся на тех самых шишей! Вот тут опять получилась осечка. Кое-что о них написали люди науки. Но как-то холодно, без души... Шиши, мол, себе и шиши... А что они были за люди? За что боролись? О чем мечтали? Как они сами о себе думали? А если сами не сумели о себе написать, как те запорожцы, от которых, кроме прелых онуч да письма турецкому султану, ничего не осталось, то что о них думали их завистники, европейские недруги-грамотеи?!..

В таких поисках и набрел я в архиве, где древние акты хранятся, на одну папку пожелтевших и посеревших бумаг. Шведское дело, которое подсунули мне заботливые архивариусы, оказалось толстой подшивкой писем — так страниц на полтысячи. Написаны они разными людьми, но в одно и то же время. Из архивных аннотаций понял я, что это была переписка командующего шведским экспедиционным корпусом графа Делагарди со своими подчиненными. Сидели они на Псковщине и Новгородщине, под Ладогой и Тихвином, заблокированные со всех сторон этими самыми шишами.

Ох, и нелегко было оккупантам во все времена на русской земле...

Но как же мне прочитать эти полтысячи страниц? Опять понадобился мне переводчик. Как с письмом из Греции. Только тут дело оказалось посложнее.

— Переводчиков у вас нет?— стал я спрашивать у архивариусов.

— Да что вы? Это же на старошведском языке написано!

— Как, как?

— По-древнешведски... Ну, как бы у нас древнеславянский или древний церковный язык....

— Тоже мудреная штука,— смущенно промычал я.— Так как же все-таки быть?

— А это уже дело ваше. Наше дело—хранить в полном порядке номер фонда, номер дела, лист такой-то. И знать, примерно, общий смысл документов. Чтобы предложить исследователю и натолкнуть его на мысль.

— Да мысль-то на старошведском языке!— завопил я с досады.

— А уж это, конечно... Как писалось три с лишним столетия назад, так и есть— в полной сохранности. Только нумерация наша. И переплет, конечно.

Вот тут и попал я в тупик. Не такое это легкое дело— с древнешведского языка переводчика найти. Кинулся в университеты, по кафедрам всяким. Нет таких— и баста. Сам стал дело листать. На некоторых письмах рукой неизвестного писаря или делопроизводителя, может быть, времен самого Михаила Романова краткое изложение. Например:

«Письмо от прапорщика Йорга Фолькенберга к шведскому главнокомандующему Делагарди». Письмо длинное, на трех страницах, а царский штаб-толмач сконспектировал это письмо так: «Мой капитан Вилгелм, отправившийся по его, Делагарди, приказанию, взят шишами в плен. Дальше прапорщик Фолькенберг просит у Делагарди разрешения уехать в Новгород, но запрашивает для поездки целую роту для конвоя».

Ничего себе конвой!

Того же 13 ноября 1613 года «некая Елисавета Розенберг пишет в Новгород высшему начальству о взятии в плен того же капитана Вилгелма. Она умоляет мужа на обратном пути в Ладугу быть осторожнее, взять с собой достаточное количество охраны и ехать другим путем».

Добре оседлали, видать, шиши главный путь между Ладогой и Новгородом. Даже жены оккупантов почувствовали озноб.

Только одна категория спутниц войны не унывала. Товарищ злополучного капитана — Генрих Бернс, сутки поразмыслив, извещает подполковника Даниэля Стоборна о том же прискорбном факте:

«Капитан Вилгелм взят в плен, а люди его отчасти побиты, а отчасти тоже взяты в плен». Дальше Бернс спешит объявить подполковнику о многочисленных долгах капитана. Видимо, в письме он трактует печальный факт пленения с неожиданной стороны. «Он спешит представить список кредиторов и советует, чтобы долги были выплачены продажей недвижимого имущества и уборов капитана прежде, нежели его, капитанова, любовница оные не промотает».

Так кратко излагал события штаб-толмач.

Но сами-то письма были намного длиннее. Они несомненно хранили ценные подробности быта, психологии оккупантов. Все это исчезало в сжатом изложении толмача. И поэтому мне был нужен дословный перевод, а не эти... конспекты.

— Поймите же вы это!.. — стал я пошумливать на деятелей архива.

— Понимаем. Но переводчики — не наша компетенция, — вполне резонно сдержанным шепотом отвечает мне девушка — так, чтоб не обидеть, — средних лет в сатиновом халате.

А я, расстроенный и обескураженный, стою перед ней с опущенной головой.

Видимо, мое отчаяние вызвало сочувствие у архиварюса в юбке. Может быть, она не так уж была уверена, что переводить старые тексты — не входит в функции архива? Не знаю. Во всяком случае она отвернулась в сторону, туда, где у окна за огромным некрашенным столом сидел старичок. Сморщенный такой, в черной шапочке. Смотрю, она стоит уже почти спиной ко мне. А по лицу старичка вижу, что она шепчет ему или мигает. Старик развел руками в недоумении. Затем облокотился на край стола и, заткнув пальцами уши, углубился в свою книжицу. В бархатном переплете. С золотым обрезаем. С застежками, как амбарные петли.

Книга эта меня, прямо скажу, еще раньше заинтересовала. Да и стол тоже — чуть-чуть с наклоном как у чертежников. О старичке я как-то не подумал — да его из-за этого сооружения почти и не видно было,

Но, вспомнив о шведском деле, махнул я рукой и на старичка и на архивно-библиотечную девицу. Сел обратно на свое место. Листаю дальше, знакомлюсь с делами своих предков в изложении интервентов, да еще, к сожалению, в интерпретации этого лодыря, романовского лейб-толмача. Ведь лодырь был, проклятый дьяк!.. И формалист изрядный. Нет, чтобы перевести слово в слово, а то... одни отписки. Бюрократ патлатый! Вот опять — шведского текста страницы три с половиной, а у него шесть строчек!

«...некий Ганс Бойя 19 ноября 1613 года пишет ладожскому наместнику Кларсону, что получил он его, Кларсона, письмо. И он усмотрел в этом письме странные известия о неприятелях...»

Каких? Спрашивает Бойя. Ах, вот что. Читаю:

«...мимо Пскова проходило до десяти тысяч поляков...» — Само по себе странно. Но еще более странно, что — «...за ними гнались казаки и шиши...»

Кто же эти шиши? И сколько их, если от них бежало десять тысяч? Опять отписка проклятого толмача не дает ответа.

Я так задумался, шепотом ругая бюрократов всех времен и народов, что даже не услышал шаркающих шагов. Опомился лишь тогда, когда чьи-то холодные пальцы прикоснулись к моей руке:

— Понимаю ваши затруднения, коллега. Сотни раз сам стоял перед такими тупиками.

Я выжидающе молчал.

Старичок в черной шапочке с улыбкой смотрел на меня. Вернее всего, это была не улыбка, а откуда-то изнутри, обрамленное прозрачной кожей иссушенного подбородка и щек, просвечивалось настороженное внимание, взгляда. Все сидевшие в читальном зале бросили работу: лысеющий диссертант, очкастый доктор наук и архиварша повернули от своих столов головы к нам. Меня почему-то это задело.

«Эк, разбирает их всех. Не на улице ведь... И тут любопытство к чужой беде... Занимались бы каждый своим делом».

И по непонятной причине меня стало охватывать раздражение. Насколько это возможно, чтобы не показаться явным грубияном, я отвел взгляд от стоявшего рядом сухонького старичка, подчеркнуто задумавшись, повед

глазами по стенам зала. Огромные шкафы, полузакрытые стеллажи... В просветах между ними портреты неизвестных мне ученых в строгих, почерневших от времени дубовых рамах. А старичок в ермолке все стоит рядом и дышит мне в ухо коротеньким, обрывающимся в конце дыханием. Девушка в синем сатиновом халате пересекла на цыпочках зал и с почтением придвинула ему стул. Но он не сел. Только склонился к столу, облокотившись рядом со «шведским делом», раскрытым передо мной. Приложил свою сухую руку раковиной ко рту.

— Ведь вот как... Ах, ты бог мой... Думал помочь. Но никак не вспомню точно. Странно, странно. В глазах стоит, как живая: душа живая, образ цветущ, дух трепетен... Ведь вот, подите же... Жизнь ушедшая в памяти трепыхает мерцанием воспоминаний. А имя и дело мертво есть. А? Ага-ага. Пойдите-ка, пойдите-ка, — и он задрезжал тихим старческим смехом. — Вспоминаю, вспоминаю. Ну, конечно же. Звали ее Аделаида Оскаровна. Курсисточка такая была, была. Ну да... на женских курсах. Ведь вы знаете — в тогдашние вузы женщин не принимали. Мы все — молодая либеральная профессура были очень и очень за эмансипе. Да-с... Не вертопрахи и уж совсем, совсем не изверги-с. Но мы и их по полному университетскому курсу гоняли. Но как же все-таки ее фамилия? Эх, дай бог памяти. Ну да все равно... Ведь наверняка замуж вышла. Такой привлекательный, очаровательный бутон. Какая же тут может быть фамилия?

— Простите, не понимаю. При чем здесь ваши воспоминания об ...Оскаровне.

Он уставился на меня удивленным взглядом.

— Как? Разве не вы сейчас с разбегу наткнулись на столь досадное препятствие?! Я-то ведь знаю, что это значит в вашей зеленой научной деятельности.

— Да, но мне древний шведский язык нужен, а не воспоминания об очаровательных курсистках, — сказал я довольно невежливо.

— Вот именно-с, — торжественно ответил он. — Именно на курсах была одна курсистка. Такая толстая коса с маслянистым блеском. Коса-а... Боже мой. Потом она обрезала ее безжалостнейшим образом. Ко всеобщему сожалению всего профессорско-преподавательского состава, употребляя современную терминологию.

Он уже начал меня раздражать. Но в то же время возбуждал и любопытство. Не скрывая этого, я стал оглядывать его немного нагловатым взглядом, пропуская мимо ушей смысл его болтовни. Я подумал о том, что именно в такой болтовне иногда проявляются в этом возрасте остатки мужского самолюбия. Тем более, мне было ясно — он шептал мне о безусловно красивой девушке, и именно этот шепот, обычный в условиях научного зала, увел мою мысль в сторону. С языка уже готов был сорваться вопрос, которым я срежу болтливого старичка... Но по укоризненному взгляду лысеющего диссертанта и разведенным рукам доктора наук я вдруг понял, что мой надоедливый собеседник — лицо немаловажное и уважаемое в научных сферах.

Усилием воли я вернулся к началу нашего разговора.

— Она что? Изучала языки? — брякнул я.

— Ну, конечно же... Именно. Старошведский... Позволю себе уточнить: не древнешведский, как вы изволили только что выразиться, а старошведский... И вообще, скандинавские. То, что вам надо.

— Так чего же вы? — вырвался у меня эгоистичный упрек. — Где же... ее адрес... фамилия, — быстро зашептал я, вытаскивая записную книжку.

— Вот в том-то и дело... Альфабет вы пока спрячьте. Вот не могу никак вспомнить, — топнул он ногой в истоптанном штиблете. И вдруг, круто повернувшись, пошел от меня прочь. Миновав свое место у окна, он направился к небольшой двери, почти незаметной в просвете между стеллажами. Согнутая спина с морщинами на пиджаке, пропотевшими подмышками и, как мне показалось, нарочито шаркающая старческая походка. Дверь тихо открылась, обнаружив на тыльной стороне клеенчатый матрас, и скрыла его за собой.

«Словно в стену провалился... Научный Мефистофель какой...»

Доктор наук укоризненно посмотрел на меня и покачал головой. Диссертант пожал плечами. Архиварша сочла своей обязанностью подойти ко мне и наклонилась к столу в догадливом ожидании.

— Что за дедок? — спросил я.

— Как? Вы не знаете?

— Ишь, гриб какой. Вспоминал, вспоминал, да толь-

ко и вспомнил, что обрезанную косу. Да что отчество ее было — Оскаровна.

Архиварша бухнулась на стул, уставившись на меня удивленным взглядом. А затем, подвинувшись, навалилась на стол и зашептала горячо:

— Ведь это же академик Д... Ведь он...

Она, прикрыв рот платочком и прикусив его, смотрела на меня с ужасом. Затем перевела взгляд на доктора наук, хмуро и неодобрительно пожиравшего сквозь колеса очков лежащую перед ним летопись. Свиток летописи был похож на ковровую дорожку.

—...Профессора и ученые иногда месяцами ждут его консультаций... А вы... Он сам к вам подошел.

Действительно, я уже много слышал об академике Д. Попадались в библиографических списках десятки его заметок. Всегда коротенькие, сжатые, исчерпывающие. На полутора-двух страничках текста он решал проблемы.

— Да откуда же я знал?— вырвалось у меня.

— Когда не знают, тогда не лезут... в науку!— буркнул из-за своего свитка очкастый доктор наук.

Это было настолько справедливо, что я решил молчать. Только наклонился к архиварше, чтобы расспросить ее, когда и где можно видеть академика, чтобы загладить бестактность и напрямик извиниться, как дверь с клеенчатым тюфяком раскрылась. Академик Д., пересекая зал, направился ко мне. И удивительное дело, походкой совсем не шаркающей, а быстрой, энергичной, молодой.

Обаяние фамилии академика произвело на меня такое впечатление, что я как-то сразу перестал замечать все странности в поведении этого уважаемого в науке человека. Даже наоборот,— весь его облик вдруг как-то сразу засветился внутренним светом... Светом авторитета, что ли? Я же говорил: слаб человек. Думалось мне раньше, никогда не склонюсь ни перед каким фетишем... А вот на тебе...

Я поднялся, как за школьной партой.

— Фамилию Аделаиды Оскаровны установить не удалось,— сухо сказал он.— Да и, как отмечено выше, в этом нет нужды. Проживает она, вероятно, под другой фамилией, если вышла замуж, что — бесспорно, и если дожила до нашего времени, что — вероятно. Сидите, пожалуйста,— резко прикрикнул он на меня.— Но мне напомнили одну забытую деталь: у нее была двоюродная

сестра — Маргарита Леопольдовна. Такая же красавица по внешности, хотя и глупа до невероятия. Ее руки бесплодно добивался студент медицины Николай Гаврилович В. Долго и безуспешно. Насколько я помню. Но медики — народ напористый, и глупым красавицам перед ними не устоять. Студент медицины в прошлом — Николай Гаврилович В., ныне мой коллега по Академии наук. Знаменитость в биологической науке. На научных задворках считается рангом повыше нас, гуманитариев. Отличился в связи с войнами — вся грудь в крестах и медалях. С самой Лепешинской цапается, и даже грозитя подбить клинья под Лысенко и иже с ним. Ходит в мундире, панталоны с лампасами носит и все такое. Домами не имею чести быть знаком, но уверен, что при благополучном течении жизненных рек и ручьев — и если судьба к вам благосклонна, — именно здесь вы можете найти ту нить, которая приведет вас к единственному, мне думается, человеку, способному заглянуть в эти скрижали.

Во время произнесения этой тирады лица троих свидетелей все более вытягивались: от удивления — диссертанта; восторженного изумления — архиварши; и черной зависти — доктора наук. Да и неудивительно: известный академик Д., при упоминании фамилии которого у кандидатов и докторов открывается благоговейно рот, болтает с каким-то забулдыгой о своих коллегах... и позволяет ему проникнуть на научные задворки.

Вообще... с точки зрения научного тона, может быть, не очень серьезно выглядело все это. Но слушатели благоговели! А к концу уже откровенно завидовали мне.

Но академик совсем не замечал присутствующих. Рука его легла на шведское дело и застыла на шершавой грязно-сиреневой бумаге.

— Благодарю вас, — сказал я, снова вставая. — И, затем, извините меня, пожалуйста.

Я на лету поймал его руку, которую он снял с архивного дела. И тут же непроизвольно чуть не отдернул свою. Рука его была сухая и горячая. А так как я ожидал встретить холодное рукопожатие ученой лягушки, то даже вздрогнул от неожиданности.

Он твердо пожал мне руку горячей ладонью, сказав чинно: «Не стоит благодарности, будьте здоровы...», и удалился.

В тот же день через Академию наук я достал адрес бывшего студента медицины, академика Николая Гавриловича В. Позвонил ему и был принят им и его женой Маргаритой Леопольдовной. Оба с улыбкой выслушали мою просьбу.

— Да, да, Адочка наша жива,— быстро заговорила Маргарита Леопольдовна.— Правда, не виделись мы с ней сто лет. Не знаю, Коленька, как это так получается?! Могла бы, кажется, и навестить. Или хотя бы позвонить по праздникам.

— Трижды в год мы получаем ее телеграммы, Марго: в октябре и мае — общие; 8 марта — в твой адрес.

— Я имела в виду наши праздники, Николай,— сказала жена академика.

Он буркнул в сторону:

— Мир эгоистичен. Наши праздники никого не интересуют. Кроме нас.

— Да, но... друзья молодости, порывов, мечтаний. Кстати, как поживает Иван Петрович? Все такой же чудак, влюбленный в летописи? — спросила Маргарита Леопольдовна светским холодным тоном.

Еле догадавшись, что вопрос касается академика Д., я что-то пробормотал и замолчал.

Знаменитый биолог в генеральском мундире подошел к конторке. На стене висели бронзовые лапы львов, сжимающие пучки бумаг, записные книжки. Он взял из одной из них длинный алфавит. На бланке из блокнота, заменяющем в наше время визитные карточки, записал адрес. Сухо, подымаясь из-за стола, он подал листок мне.

— Кстати, Ада из-за своих лингвистических увлечений так и не вышла замуж,— прошебетала дряблелица Марго.— Ивану Петровичу не стоило вас беспокоить. Он мог бы назвать ее фамилию и выяснить адрес через адресный стол.

— Мне показалось, Маргарита Леопольдовна, что он не помнит фамилии той курсистки, которая изучала древнешведский язык и специализировалась по Скандинавии.

Супруги переглянулись.

— Ну, и хитрец же ваш Иван Петрович,— прикрывая кружевным платочком непритворный зевок, вздохнула жена академика. — Ну и бог с ним.

Еще раз извинившись и поблагодарив, я ушел.

Через несколько часов я уже был в Марьиной роще и разыскивал там бывшую курсистку. Жила она в покосившемся деревянном флигеле двухэтажного дома, выходившего фасадом в туничок. Утоптаный двор, горбатая земля, трава по углам; крест-накрест веревки со стиранным бельем и орда горластых ребятишек.

— Ада Оскарьевна? Учительша? Туда-туда... — хором закричали они в ответ на мой вопрос. — Сенька! Проводи... Покажи. А вы — военный? Вы не ее племянник? Нет? А вы...

Десятки любопытных глаз смотрели на меня с замурзанных мордашек. Я поспешил за Сенькой.

— Вот они будут... — показал мне парнишка на окно. — Тетя Ада, к вам.

Отодвинув белую занавеску, согнувшись к низенькому окну, на меня глянула довольно крупная седая женщина

— Вы позволите к вам, Аделаида Оскаровна? — начал я.

— Да, да, заходите. Сенёк, покажи двери.

И вот я уже в низенькой хибарке: коридор, дощатый пол со щелями, две полутемные комнатухи, старинная мебель, ковры, диван с провалившимся сиденьем, портреты в потемневших рамах, бумажные цветы, бонбоньерки, статуэтки...

— Вы от Кости? Знали его? — раздался за моей спиной дрожащий голос. Я повернулся. Хозяйка квартиры стояла, прислонившись к косяку двери, и смотрела на меня выжидающе. Большие-большие серые глаза. Умные, страдающие. Ожидание и мольбу прочел я в них.

— Простите, не понял вас...

Она как-то сразу осела. Глаза потухли, руки опустились и, показывая на диван, она села на стул у квадратного стола посреди комнаты. Над столом висела старинная лампа с бисерными висюльками. Я медленно, издалека начал рассказывать ей, как я нашел ее адрес. Передал привет от знаменитого биолога Николая Гавриловича В. и его супруги, Маргариты Леопольдовны. Она слушала безразлично, с механической вежливостью благодаря за приветы. Надо было приступить к цели моего прихода. И после коротенькой паузы я начал:

— Иван Петрович Д. сообщил мне...

Она порывисто встала и снова прислонилась к косяку

двери. Замерла там, глядя на меня враждебно-выжидающе, словно приготовилась к прыжку.

— Что угодно от меня Ивану Петровичу?

— Ничего. Он просто помог мне в затруднительном положении. Он забыл вашу фамилию и не знал адреса...

Тонкая усмешка, как тень летнего облака, пробежала по ее морщинистому, но все еще красивому лицу.

— Дело в том, что я... что мне очень нужно прочитать одно важное архивное дело. Перевести с древнешведского языка старинные документы, хранящиеся...

Она с недоверием взглянула на меня.

— Вам нужен переводчик?

— Да, да... Вот. С древнешведского... Простите — старошведского языка. Переписка генерала Делагарди со своими подчиненными, блокированными в Ладогe, Новгороде и Пскове в 1613-14 годах. Переписка захвачена русскими партизанами того времени... Их звали шишами.

— Шишами? Ах, да, шиши-и... Помню, помню. Но зачем же вам эта вся история? Странно...

— Вот именно история. Вы знаете, мне очень необходимо. Если бы вы знали, сколько лишней крови потеряли мы, партизаны, в эту войну. Только из-за отсутствия опыта, традиции. Нам до зарезу не хватало теории и истории нашего дела... Как нигде и никогда, именно в этой, как будто бы грубой и примитивной деятельности, я и мои товарищи без нее были, как без рук. Мы не понимали до конца, но ощущали правильность положения о единстве теории и практики. И вот... не знаю почему, по какой причине... Но нас совершенно не вооружили... Многим, конечно... Но это совсем другая статья... Но, кроме того, ученые не вооружили нас ни теорией, ни пониманием исторических корней, ни знанием вековых традиций и способов борьбы.

— Тех самых, которыми действовали эти ваши... шиши, — улыбнулась она. Впервые за всю беседу ее лицо повеселело. Это была улыбка педагога, учителя, слушающего запинающегося, но думающего ученика.

— Да, если хотите... Во всяком случае, я дал себе клятву на войне. Если только останусь жив, обязательно напишу книгу о традиции. О боевой эстафете поколений. О том, как опыт отцов, дедов и прадедов бывает нужен сыновьям в тяжелую минуту...

— И написали?— блеснула она глазами.

— Нет еще...

— Почему же? Как же вы смеете? Не только свою клятву нарушать, но и не выполнить долг перед теми... кто уже ничего не прочтет. Ваш долг перед памятью... моего Кости и всех ваших товарищей. Я вот их помню, всех до одного, костиных друзей. «Напарников» — он говорил всегда.

— Да, вот... Споткнулся на шведском деле. В фонде древних актов. В деле шестьсот с лишним листов. И все на том проклятом старошведском языке, будь он неладен совсем...

— И это вам так необходимо?

— Ну, конечно же.

Она оттолкнулась от косяка двери, быстро подошла ко мне и положила руку на плечо. Я встал. Седая женщина в глубоком волнении стояла в полутора шагах от меня. Взгляд ее серых прекрасных совсем молодых глаз гладил мои руки, плечи, лоб.

— И вам обязательно нужно знать, что писали об этих шишах ваши враги? Триста лет тому назад?— почти шепотом спросила она.

— Да, очень необходимо,— твердо сказал я.

Она остановила свой взор на моем лице. И вдруг глаза ее наполнились слезами. А я не мог понять этого. Не мог понять — то ли это слезы печали о неизвестном мне Косте, о безвозвратно прошедшей жизни, любви или слезы радости. О чем?.. Или безысходная тоска об утерянном... или то и другое, и третье.

Но это была минута, в которую ничего не спрашивают и ни о чем не говорят. А когда и эта минута прошла, как все проходит и исчезает на земле, она сказала с горьковатой и благодарной улыбкой:

— Так вот зачем я в молодые и глупые годы так упорно изучала древнешведский язык.

Быстрой, крылатой походкой она прошла по комнате, подошла к этажерке, протянула к ней руку и сняла несколько вылинявших, запыленных старинных тетрадей.

— И даже хранила конспекты,— засмеялась она тихим, счастливым смехом.— Послушайте... Милый вы мой человек-партизан. А ведь вы и не знаете, что вы первый, кому понадобились вот эти тетрадки и эти знания, которые

я из упрямства вколачивала в свою голову... сорок лет тому назад.

...— Голову девушки-курсистки с толстой длинной русской косой?— вырвалось у меня.

— Ах, он и это помнит?

И мне показалось, что я понял все в этой таинственной истории.

— Мне кажется, что он помнит все. И ничего не забыл.

— Ничего? Кроме того, что наш Костя погиб где-то под Брестом в партизанском отряде.

— Нет, нет... Насколько я могу разобраться в людях, он помнит и это. Иначе он бы никогда не направил меня к вам. Я нехотя обидел его. Но он видел, что для дела мне до зарезу нужен был человек, имеющий в руках ключи к тому, что когда-то сотворили безымянные шиши. Он долго колебался.

— Колебался?

— Ну, конечно же. Ведь, насколько я понял, вы оба гордые, упрямые люди.

— Да, да... Вы правы. Вероятно, именно наша гордость и упрямство разрушили все. Ну, спасибо вам.

— За что?

— Ну, хотя бы за то, что эти девичьи тетрадки и конспекты кому-то, наконец, понадобились. И уже совсем хорошо, что онигодились тем, кто помнит и знает это дело. То самое, которому отдал жизнь мой Константин.

— А оно бессмертно. Не мы, так другие... Но лучше, пусть мы. Вы поможете мне узнать о тех, кто задолго до нас сделал его бессмертным.

— Ну, конечно. Ведь вы же первый в моей жизни, кому понадобился старшведский язык.

4

На следующий день мы уже были в архиве древних актов. С удивительным упорством и желанием помочь мне села она за толстое дело. Через неделю стопка листов, исписанных пером «рондо» лежала на моем рабочем столе. Из переписки шведов все яснее проступала грозная картина прошлого. К сожалению, лишь очень скупыми намеками, общими очертаниями выхватывались из тьмы веков фигуры деятелей и героев восстания шишей. Среди них были сотники Болотниковской рати, чудом оставшиеся в жи-

вых после расправы царя Василия Шуйского. Эти имена вспыхивали во тьме и угасали, как в ночную грозу при блеске молнии то появляются, то исчезают очертания дороги и движущихся по ней колонн воинов. Но общая картина была ясна. Вывод напрашивался сам собою: на главной вражеской коммуникации действовал сильный, смелый и ловкий партизанский отряд. Начал он с того, что захватил штабного офицера. Перебив и пленив его охрану, отряд этот прочно оседлал все дороги. Вскоре ему в руки досталась даже почта с известием о его первом и втором нападении.

— Тот, кто сам был партизаном, легко поймет, что решиться на вторичное нападение, да на том же самом месте и на уже расшифрованный объект (курьер на главной дороге) мог только уверенный в своих силах отряд,— сказал я как-то Аделанде Оскаровне, раздумывая над страницами, исписанными пером «рондо».— Он, безусловно, имел блестящую разведку, безотказную систему оповещения, надежную связь — этот дерзкий партизан. Как вы думаете?

Она улыбнулась и пожала плечами.

— Вам виднее...

— Он искусно применял один из самых главных приемов партизанского дела — засады.

— Вот это даже и мне понятно.

Бывшая курсистка с толстой косою и прекрасными глазами раскрывала мне содержание писем, в которых, как в зеркале, видны были действия отряда. Они отражались в шведской переписке.

— Бесспорно, там были и свои «Зои Космодемьянские», и «Николай Кузнецовы», и «Кошевой...», — задумчиво сказал как-то я, сидя над одним письмом.

— И бессмертный Федька Карпенко...

— А, может быть, и ваш Костя?

Отряд этот добился успеха трижды в одном месте.

— Вы представляете себе, как это важно? Это же уникал. Это, пожалуй, единственный в истории пример трижды проведенной засады на той же дороге и последовательно день за днем. Детали его действий скрыты от нас веками. Но судить о них можно по результатам.

— Да, переполох во вражеском стане был вызван огромный. Это даже мне, невоенной, и то понятно.

— Но вот беда — нет имен героев.

— Имен этих героев-шишей мы, вероятно, не узнаем никогда.

Теперь перед нами стояла еще одна задача. Решить, был ли этот отряд единственным.

— Бесспорно, нет, — утверждал я. — Это была храбрейшая и наиболее сильная боевая ватага.

В других письмах, которые переводила одно за другим «тетя Ада», я нашел подтверждение и этой мысли. Так постепенно вставала картина оккупированных шведами городов, гарнизоны которых были отрезаны друг от друга. Солдаты голодали. Каждая попытка высунуть нос из города кончалась смертью или пленением.

На третью неделю работы моя переводчица так освоилась с языком и стилем писем, что сама свободно стала улавливать задачу, которую мы выполняли уже совместно.

— Смотрите, смотрите, — шепнула она мне как-то раз, подавая наспех исписанный лист бумаги. — Вот что пишет граф Делагарди в Порхов своему коменданту Герингу Грассу.

— В Порхов?

— Да-да... Читайте же!

Я быстро пробежал глазами уже ставший знакомым почерк. Да! Борьба шишей достигла своего апогея. Делагарди писал Герингу Грассу о том, чтобы он и не надеялся на получение из Новгорода продовольствия. Он, Делагарди, сидя в Новгороде, нуждается в нем еще больше.

Сличив даты писем с дипломатическими документами Столбовского мира, я установил, почему шведы стали так удивительно уступчивы. Потеряв более половины своих войск, они пошли на заключение Столбовского мира.

Шведское дело было переведено до конца. Мы с Аделаидой Оскаровной, закончив работу, прощались, как старые, закадычные друзья.

Сдавая пропуск по окончании работы, она крепко пожала мне руку и поцеловала в лоб.

— Прощайте. Спасибо за память о Косте.

И только когда ее высокая фигура скрылась в троллейбусе, я вспомнил: за три недели нашей общей работы академик не появлялся в архиве ни разу.

А еще позже, когда работа над «шведским делом» была закончена, академик Иван Петрович Д. обратил мое внимание на «расспросные речи» псковско-посадского человека Томилки Белухина, бежавшего из шведского плена.

Томилка говорил: «А в немецких-де полках солдаты все голодные... В загоне хлеба они добывают мало... А яровой хлеб-де на поле не пожат. А в дальних полях мужики, пожав хлеб, попрятали его в ямы... А сами разбежались по городам и лесам...»

— Как вам нравится этот Томилка Белухин? — хитро спросил меня Иван Петрович, когда я прочел текст «расспросных речей».

— Очень нравится, — ответил я.

— То-то же, — сказал он немного самодовольно и по своей привычке положил сухую ладошку мне на руку. Рука его была горячеей. «Как в тот раз», — подумал я.

— Зайдите... Ко мне, — кашлянув, сказал он. И, не дожидаясь согласия, пошел к двери, обитой клеенкой.

Небольшая комната с одним высоченным окном романского стиля чем-то напоминала алтарь церкви. Немного освоившись, я догадался почему: она была полукруглой, эта комнатуха — кабинет ученого. Простой стол, один стул, стеллажи, лесенка. И все. Ничего, кроме книг.

И тут я понял: страсть к науке... Вот что порождало эти короткие, в полстранички убористого шрифта статьи-отмычки, с кажущейся легкостью проникающие в лабиринты исторической науки.

И вдруг мой взор привлек один предмет, лежавший на этом простом столе.

Коса. Толстая девичья коса. Русая. Шелковистая. Блестящая. Какая же самосжигающая страсть в любви жила в этом сухоньком человеке!.. »

Академик заметил мой взгляд и, сняв косу со стола, спокойно повесил ее на крестовину одного из стеллажей. Здесь, видимо, было ее постоянное место.

Люди эти когда-то сожгли самих себя...

А, может быть, это все случилось в этом мире лишь для того, чтобы некий забулдыга — партизан середины двадцатого столетия — узнал о действиях безымянных шишей, так лихо шаливших на Псковско-Ладожской дороге...

ДЕД МОРОЗ

Дед Мороз, или Корниенко, — это комиссар батареи нашего отряда. Это не тот, что — помните? — полумертвый к нам на парашюте зимой спустился, после того как перешел линию фронта грозной осенью 1941 года, а обратно парашютистов привез, — это брат его, такой же смелый партизан. Пришел он к нам в лес... Да нет, вернее, мы к нему пришли. Вот история... Ох, и путаная же! Еще поныне здравствуют все участники ее, а никак не разберемся: то ли Дед Мороз к нашему деду Ковалю пришел, то ли наоборот. Будем считать для справедливости, что вместе собрались они, старые коммунисты, и пришли на Сейм и Клевень, в дремучий Спасский лес... Куда партия послала, туда и пришли...

Да... Но я ведь уже об этом рассказывал... И вроде неудобно опять говорить о том, что уже написал. Книжки ведь пишутся для того, чтобы люди их читали, а не для того, чтобы авторы по нескольку раз их перелицовывали. Ну, я понимаю еще, когда у тебя перекачивают другие или сам у кого потихоньку спишешь. Но самому у себя? Самоплагиатом заниматься? Это уже получается вроде того, как однажды наш дед Коваль рассказывал. Попал один цыган в корчму, а там вмиг все с глаз поприбрали. Сидел-сидел цыган — ну, нечего украсть да и баста! Так он свою шапку на буфетную стойку подбросил, а потом ее же и

украл. Отсюда и пошла у нас поговорка: «Не будь как тот цыган, что сам у себя шапку воровал».

Сначала хотелось рассказать о тех, кто уже сами о себе рассказать не могут. Ведь годы пройдут — и не вспомнит никто, как жили и во имя чего боролись наши люди. Да какие люди! Боролись за счастье будущее, жизни не жалели... Комиссар наш Степан Васильевич Руденко, Карпо — командир третьей роты, Михаил Федорович Зеленко — трижды орденосец, а когда пал он на поле боя, ему еще полных пятнадцати лет не было...

Ну, и о живых, конечно, надо сказать. Ведь обидно даже подумать, что вот расформировали нашу партизанскую братию, разошлись все боевые друзья кто куда... И скоро канут, как говорят, в Лету их славные дела...

И вот написал я книгу.

И совсем не думалось тогда об истории. Написал, как видел, как чувствовал, не скрывая ни имен, ни героических подвигов, ни проступков.

Читали-читали, хвалили-хвалили, а потом ругать стали. Потом премию дали. Большую... А премия — это издания и переиздания. А с ними вместе — деньги. И чем дальше, тем меньше заработанные. Ну, словом, впору и в рантье превратиться. А тут зависть, сплетни разные... И даже провокации... В общем, хлебнул этой литературной славы — во! По самое горло. А время идет. Живые герои вперед идут и дела творят. И стали они у меня вроде как бы в глазах двоиться: с одной стороны, все то, что с ними было, уже стало достоянием истории. Эти события, дела, факты военной жизни замерли все, как по команде «смирно». А люди? Те люди, что эти дела творили? Ну, те, которые пали смертью храбрых на поле брани, — с тех и спрос меньший: что было, то было... и все. А как с теми, которых пощадила костлявая? Они, конечно, тоже стали достоянием истории. И выкинуть их из нее не удастся... Почему? Да потому хотя бы, что история — это отнюдь не все то, что случилось на свете, а лишь то, что запечатлено словом, поэтическим или научным — все равно. Ничем был бы Одиссей без Гомера и князь Игорь без вешего Баяна; да и кто знает, много ли знали бы мы сейчас даже о Чапаеве, не скрестись его боевые пути-дороги с путем Дмитрия Андреевича Фурманова. Да, эта штука не только науке известна. Ее и народ не хуже нас с вами, ученых людей, ох,

как понимает: слово не воробей, выпустишь — не поймашь; что записано пером, того не вырубить топором, — говорит народная мудрость.

Только мертвые персонажи лежат и коррективов не вносят. Опровержений не пишут, жалоб не подают. А живые? Живые — живут, женятся, разводятся, детей рожают, байки рассказывают, славу делят, выговоры получают, к жизни с теплого бока пристраиваются — в общем помирать не хотят. Особенно трудно со славой. Вещь она невесомая не куль муки, но и не фунт изюму. Вроде воздуха или пыли, а не всякие плечи ее тяжесть выдерживают.

Да... Так вот, стало все это двоиться в глазах: с одной стороны, есть жизнь как бы замершая, застывшая в шеренгах строк и батальонах страниц... Вроде мертвая, и если оживет она, так оживет только в будущих поколениях. А с другой стороны, разбрелись по нашей необъятной стране, можно сказать, живые персонажи... А жизнь-то не стоит на месте. Люди растут. И хочется им, чтобы попали в историю не только их боевые дела, но и мирные. В общем хотят они перед историей показаться, так сказать, со всех сторон. Что ж... Может быть, они и правы.

Да... Так я про Деда Мороза хотел... А он хотя и самый дремучий партизан, комиссар-то наш батарейный, но и он до сих пор жив-здоров. А должен я вам сказать, что Дедом Морозом-то мы его прозвали потому, что еще в сорок первом году, когда встретились мы с ним в партизанском лесу, так он уже тогда весь белый был. Как снег. И голова и бородища белая-белая. Ну, ни одного ни рыжего, ни черного волоска у него не было... Это еще в сорок первом-то году...

Когда командир наш построил в августе весь отряд и перед строем прочитал: «Приказ номер 1... Объявляю список личного состава отряда...» Аж двадцать два человека было в том списке. Дед Мороз был двадцать третий... Да еще под елкой стоял... Глянули партизаны и сразу определили: «Дед Мороз да и только!»

Это поначалу очень у нас в ходу было — прозвища давать всем. Потребность была в партийных и партизанских кличках. Семьи оставались в селах, да и на подпольное положение партия в любой час послать могла любого. Корниенко и сам против такой клички партизан-

ской ничуть не возражал, охотно на нее стал отзываться. Так что по прошествии времени, когда уже больше тысячи народу у нас было, подходит как-то к нему молодой и очень бравого вида паренек; лихо под козырек берет, каблуками щелк, да так громко и четко рапортует:

— Товарищ комиссар Дед Мороз...

Так вот и Дед Мороз наш жив. И мало того, что жив, а после войны он мне не раз хвалился:

— Понимаешь, — говорит, — тезка (а его, значит, как и меня, Алексеем звать), женился я... Назло врагам...

Ну, я, конечно, не знаю, как назло врагам жениться можно. Да уж, видно, поговорка у него образовалась такая.

Да... Так и живет он себе поживает, в ус не дует. Про смерть и не думает...

Исполнилась его давняя мечта... А кто в войну не мечтал? Конечно, каждый мечтал врага скорее с нашей земли прогнать. Это ясно... Но у каждого была в душе и мирная мечта, насчет жизни после войны. Про эту мечту большей частью ребята наши, партизаны, помалкивали... Ну, может, и потому, что просто мечтали о мирной жизни, а не о чем-нибудь в ней определенном. А вот у Деда Мороза мечта была — ну прямо, как говорят, навязчивая идея. Надоел он мне в войну с ней — вроде больше и говорить не о чем.

Бывало, на отдыхе, во время затишья, о чем разговор ни пойдет: и про войну, и про мир, и про самое близкое для Деда Мороза — про артиллерию — или про самое дале-е-ко-ое... про второй фронт там... Или про нашу морскую пехоту. Или про авиацию. Ну, про что бы ни говорили, а он обязательно в конце к одному сведет — к пчелкам. И так это у него ловко получалось! Ведет-ведет разговор степенный, стариковский и обязательно любой, даже военный разговор на пчел выведет... И все меня к себе в гости приглашал:

— Приезжай, тезка, ко мне в Путивль. В гости приезжай. Медком угощу...

— Да ведь в Путивле еще враг-фашист хозяйничает. Куда же ты, Алексей Титыч, в гости зовешь? — смеюсь. — Там же еще тылы немецкого танкового корпуса стоят...

— Не вечно же он там будет. Вот выгоним фашиста, тогда и вали в гости. Приезжай на мед — и все.

И вышло все-таки, как говорил комиссар Дед Мороз, — приехал я к нему в гости. После войны, конечно. Живет Дед Мороз в древнем русском городе Путивле, в том самом Путивле, о котором еще в «Слове о полку Игореве» говорится:

...В Путивле плачет Ярославна
Зарей на городской стене...

Не раз бродили мы с Дедом Морозом по древним крепостным валам, что на высоком правом берегу Сейма-реки. Любовался я с этих древних высот далями, поймами-лугами, что раскинулись на левом, низком берегу, а они бегут, бегут туда, где Борзна, и Конотоп, и Киев — мать городов русских — на горизонте угадываются... Так вот, когда вышли мы на самую высокую точку, стали на крепостном валу, взял меня дед крепкой рукой, локоть мне сжал и тихо так говорит:

— О тут вона плакала...

Я посмотрел на него с изумлением... Плакала? И показалось мне, что вспомнил дед свою первую жену — партизанку из отряда Александра Пархоменко. «Неужели, — думаю, — плакала старая партизанка, провожая боевого старика в партизанский лес?» О том и спросил его. С подходом, конечно.

— Неужели, — говорю, — плакала жинка твоя?

— Да нет, — стукнул он сердито клюкой о землю. — Моя не плакала. Закаленная была. Хотя и беспартийная, но настоящая жена коммуниста, земля ей пухом... — и шапку с головы снял.

— А кто же, — спрашиваю, — плакал тут?

— Та Ярославна ж... О тут, на этом самом месте. Княжеская кровь, она на слезы хлипкая. Не то что наши бабы. Мужичькие. Наши не плачут. Ну, если уж очень невоготу, так голосят.

Не стал я ни спорить, ни допытываться. Раз старый человек говорит, значит, так оно и есть. А он отвернулся к Сейму, молчал долго и сказал дрогнувшим голосом:

— Моя не плакала. Твердая была старуха... Не думал я тогда... А Ярославна — оно и понятно. Нежная, тонкая шкура, княжеська натура.

Да, не плакала старая партизанка, провожая Деда Мороза осенью сорок первого в партизанский лес. Не плакал и Дед Мороз. Не вешуvalo ему сердце, что через месяц фашисты расстреляют его жену и троих детей. Как семью партизанскую...

Вот, братцы мои, почему женился после войны Дед Мороз... Сиротой остался. Один на всем свете. Теперь и до меня дошло: вот почему женился он не просто, как все, а назло врагам.

Живет он и по сей день в древнем городе Путивле. Пенсию получает. И по возрасту и по заслугам. Пасеку себе завел. За пчелками ухаживает и за молодой женой тоже... приглядывает...

Ну, а хлопцы помоложе — тем более живы-здоровы. И помирать не хотят.

И вот пришла мне в голову мысль — не на одного Деда Мороза поглядеть и медку его попробовать, а и у других своих боевых друзей, которые героями книжек стали и которыми молодежь интересуется, побывать, жизнь их поглядеть. Что делают? Как живут?

Мысль эта пришла мне в голову уже давно. Но не в военной, а, я бы даже сказал, в антивоенной обстановке.

Было это на Второй Всесоюзной конференции сторонников мира в Колонном зале Дома Союзов, в Москве. Там встретился я кое с кем — и с Дедом Морозом и еще с одним дорогим мне человеком.

Но об этом человеке и о нашей с ним встрече я расскажу вам в другой раз.

Скажу только, что Павликом его звать...

ПАВЛИК

Так вот, случилось это на конференции сторонников мира. В большущем старинном зале собралось много народу. Отовсюду были представители. Всякие люди. И рабочие, и ученые, и колхозники, и военные, и коммунисты, и беспартийные, и служители разных культов... И наш брат писатель... Да... Как говорится, без меня меня женили... Нежданно-негаданно писакою стал... Ну, ничего не поделаешь. Назвался груздем, полезай в кузов... Что ж, стараюсь... И Дед Мороз наш тоже ходил в делегатах. Так что, собрались для того, чтобы «поднять свой мощный голос — как писали тогда в газетах — против поджигателей новой войны».

Собрались, значит... и поднимаем голос. Зарегистрировали мандаты, в назначенное время открыли конференцию, избрали Президиум, выслушали доклад. Регламента точно не помню, но длинным нам доклад этот показался, может, потому, что докладчик читал его по бумажке. Ровным, монотонным голосом произносил длинные периоды, сочиненные для чтения, а не для речей видимых и слышимых. Докладчик убедительно доказывал, что война — это зло, а мир — это благо. Истины эти

ясные, и никто из двух с половиной тысяч людей, сидевших в зале, не сомневался в их правильности. Даже иностранные корреспонденты согласно головами кивали и одобрительно улыбались.

Правда, когда уже шел к концу второй час доклада, по залу разлилось тихое жужжание. Может быть, оно напоминало Деду Морозу милый его сердцу шум пчелиного улья, но стал он подремывать на мягком бархатном сиденье. Затем вдруг проснулся. Глянул на часы и стал беспокойно ерзать. Словно у себя на пасеке, приложил ухо к «дадану» и почувствовал вдруг холостую жизнь пчелиного коллектива.

Я спросил его взглядом: «Что такое, дед?» А он наклонился к моему уху, щекотнул мне шею белой, чисто отмытой бородой и шепнул:

— А чего вин так долго меня агитируе... Что война — зло! Разве ж я не знаю, она ж мне — во где сидит! — и он ребром ладони стукнул себя по розовому мягкому загривку.

Конец фразы, начатой шепотом, был произнесен довольно громко. На нас оглянулись. По этой причине я ничего Деду Морозу не ответил.

А тут вскоре и доклад кончился. После перерыва открылись прения.

Интересно было. Разные люди, разные голоса, одежда; говорили на разных языках. Все говорили об одном и том же, даже почти одними и теми же словами. И все читали свои речи. И какие-то гладкие, спокойные это были речи...

В те дни все человечество было растревожено войной в Корее. А разве наш народ мог забыть все, что он перенес?! Здесь должен был прозвучать и звучал гневный протест, тревога. Серебряные трубы мира должны были звенеть и играть зорю мирной жизни человечества, властно трогая очерстневшие за время войны сердца. Но трубы звучали все более и более приглушенно, словно под сурдинку, голоса ораторов, закрывавшихся листками бумаги, доходили до нас как бы издалека... А пчелиный шум все нарастал.

Дед ерзал все чаще и чаще, поглядывая на меня вопросительно, пока я ему не сказал:

— Сиди, Дед Мороз, сиди тихо — командировочные платят, ну, и сиди.

— Хиба что так, — ухмыльнулся он в бороду.

Но наступил момент, когда и я не выдержал. Это случилось, когда на трибуну вышел человек, известный многим гражданам нашей страны. Отец двух героев войны, павших смертью храбрых на поле брани. Когда же и он вытащил и положил на широкую трибуну листочки бумаги, а затем поднял их повыше к свету и стал медленно и монотонно читать о том, какие у него были дети, как они пошли защищать родину, какие чувства у него сейчас, — многим почему-то было стыдно. Оратор говорил чистую правду: мозг понимал — все так и было, все так и есть. Но сердцу было больно и стыдно. Положив голову на согнутые руки, сжав ими спинку переднего кресла, я слушал уже не оратора, а недовольное сопение Деда Мороза. И, стыдясь посмотреть ему в глаза, думал: «Неужели кто-нибудь на свете лучше и убедительнее, чем мать и отец, положившие на алтарь отечества самое дорогое, что у них есть на свете, — жизнь своих детей! — может своими словами, передающими страх и боль, мольбу и надежду, рассказать, что такое борьба против войны? Для миллионов отцов и матерей! Неужели тот писарь, который сочинял эту шпаргалку, лучше, чем матери и отцы, знает, что такое война?!»

И тут же, подчиняясь порыву и совсем не думая о последствиях, я написал в Президиум записку. Уже не помню слов и выражений. Ведь не помнишь же крика тревоги или возгласов, выражающих боль и упрек. Примерно писал я следующее: «Братцы! Да неужели нельзя против войны бороться поинтереснее? Или повеселее?» и что-то еще в этом роде. И, не перечитывая, бросил эту писульку в специальный ящичек.

Минут через двадцать вызывают меня в Президиум. И говорят:

— Товарищ Горевой, вы что-о? Против мира?!

— Нет, я — за ми-ир... — начиная заикаться от такого поворота дела, сказал я.

— А что же вы пишете? Вот тут!

— Пишу, что... с-ску-ш...

А тут смотрю: вокруг такие мальчики, в полувоенном, прохаживаются. На меня поглядывают. Упало у меня сердце. И пришлось бы мне — в лучшем случае, бить

себя в грудь и каяться. Но тут вдруг вспомнил я одну шутку... «Эх! — думаю — была, не была: выручит, не выручит, а попробовать надо».

А в боковом кармане лежала у меня записная книжка. А в ней был переписан один интересный документ. Старинный... И назывался он... Но тут придется отвлечься немного, иначе не будет понятно, как попал он ко мне в карман, этот документ. И какое отношение к этой истории вся эта, древняя-таки, петрушка имеет.

Дело в том, что жизнь моя сложилась как-то по-особенному: худо ли, хорошо ли — трудно сказать, но не так, как положено. Люди все вверх идут, а я как бы всегда на месте топтался. Только каждый раз у другого дела. С начала. Вроде всю жизнь начинающий. Двенадцати лет остался я без отца — без матери, начинающим жить человеком. Вначале был я начинающим... пастухом; затем — когда силенки в плечах прибавилось, стал начинающим батраком — у кулака на мельнице; семнадцати лет от роду, когда отступала из Румынии старая царская армия генерала Щербачева и вокруг шляха солдаты бросали в знак протеста против войны казенное имущество, — на наших полях целый полковой оркестр, можно сказать, разоружился, — подобрал я в кукурузе баритон и выучился играть — стал начинающим музыкантом: на свадьбах играл, на похоронах, крестинах, а потом и в революционные праздники... Так и в армию в музыкантский взвод попал. Учился у лучших мастеров музыке. Но ничему профессиональному, видать, они меня не научили. Ремесла не одолел. Да и война помешала... На войне стал я начинающим партизаном, а затем для самого себя неожиданно-негаданно — начинающим командиром партизанским. После войны — писателем стал. Тоже — начинающим... А в то время, о котором речь идет, был я начинающим... историком. Полюбилось это дело. Душою и сердцем я к нему пристал. Возвышает и обогащает история человека. Закаляет его гражданское мужество, делает более разумным, мудрым, что ли. А главное, приучает смотреть на жизнь не толь-

ко снизу или с боков, или сверху (смотря по характеру и положению человека, а со всех сторон. Спокойно смотреть на бурлящую вокруг тебя жизнь, понимать страсти, понимать и мордасти, если они по ошибке и тебя заденут: Потому что люди, хорошо знающие прошлое, уверенные в настоящем, спокойно глядят и в будущее. Эти люди — марксисты.

Так вот, был я, значит, начинающим историком. Как в тылу врага ночью, в пургу или дождь, продираешься пущей или мелкоколесьем, через камыши или кустарники, руки в кровь, а одежду в лохмотья на себе изодрав, — так и тут — лезешь наощупь сквозь тьму веков, сквозь фолианты и летописи; свитки и архивные дела; фонды и описи; вдыхаешь архивную пыль до боли в висках; слепнешь, разбирая строки, написанные гусиным пером; листаешь страницы, пересыпанные мелким песочком, расшифровывая почерка: путанные, старинные, неразборчивые, но дорогие почерка Дениса Давыдова, Багратиона, Ермолова, Суворова, Кутузова, Особенно, скажу я вам, труден был почерк фельдмаршала Михаила Илларионовича. Может быть, потому, что одноглазым был, но писал — из рук вон. Даже при жизни его, говорят, был только один писарь, который разумел фельдмаршалу писанину — он-то и переписывал все его черновики. Набело.

Документ, о котором идет речь, так тот еще более древний. Называется он — «Указ императора Петра I». Адресовал его царь всем своим сенаторам. Был он выписан мною в блокнот недели за две до того случая на конференции. Датирован этот указ 1698 годом. Значит, писался он тогда, когда царь Петр еще молодым был. И действительно: в каждом слове указа пышет буйная русская натура, брызжет молодым задором властное желание и потребность по-своему потряхнуть жизнью. Видать крепко не любил формализма и глупости из него вытекающей молодой царь Петруха. И писал он сей указ на тему, которая и меня с Дедом Морозом взволновала в тот день сильно.

Конечно, указы царя Петра для нас, советских людей, не закон. Но умные речи никогда не вредно послушать. Вот что писал Петр в 1698 году:

*«Указываю
всем господам сенаторам
речи в присутствии говорить не по-писаному,
а токмо
своими словами:
дабы
дурь каждого всем видна была».*

Во как! ¹

Взял я и прочитал эту штуку тем, кто меня по поводу записки вызвал. Посмотрели они на меня, потом на бумажку, потом друг на друга, затем опять на меня и говорят:

— Идите...

И я себе пошел. Напоследок набрался храбрости и через плечо кинул:

— Не мешало бы нам сейчас авторитетом советской власти старый царский указ подновить...

— Идите, идите...

Пошел я обратно в зал. Когда же садился возле Деда Мороза, почувствовал, как у меня под коленками что-то дрожит...

Но, в общем, — обошлось... Только слова на конференции этой мне не дали...²

Ну-с, так вот... Сел я на свое делегатское место, поджилки немного утихомирил. А тут и конференция ин-

¹В рукописи имеется приписка автора, адресованная внештатному редактору. «Уважаемый П. П.! Немного однобоко это получилось. Конечно, я понимаю, что в государственной или дипломатической деятельности часто не обойтись без речей выверенных и выписок. И не о таких случаях тут идет речь. Но в обычной общественной работе у нас явный перегиб, когда люди даже: «Разрешите комсомольское собрание считать открытым. Для ведения собрания требуется избрать президиум» и то не говорят, а читают, спотыкаясь. По бумажкам...

² Но я, конечно, на публикации этого факта не настаиваю. Это я записал для себя. Ежели, паче чаяния (сверх ожидания — по нашему), будете печатать, можете эту историю с историей выбросить к черту. Я ведь понимаю — кому-нибудь не понравится, вам, как редактору первому влетит. Хотя и внештатному...

тереснее пошла. Нашелся один, который без бумажки вышел. Может быть, и по ошибке... Стал про Корею говорить:

— Геенну огненную изливают на людей с небеси-и...

Ну, видел я всякие страхи на войне: и бомбежки, и пожары. А тут как его послушал, так, помню, я даже в кресло глубже присел и голову в плечи вобрал. Вроде мне самому, эту самую ге-е-енну за шиворот льют. Да не простую геенну, а о-о-огненную. Понимаете? Глянул на Деда Мороза, а он елозить перестал в кресле, впереди сидящего соседа за плечи схватил и шепотом матерно выражается.

Ну, а после выступал опять «пономарь». Профсоюзный. И опять по бумажке занудным голосом читал¹. Тут уже стало нам совестно за оратора. Начали мы с Дедом Морозом вокруг себя интересоваться. Разглядывать публику: делегатов, гостей, празднующихся корреспондентов. Вот тут и заметил я, что в другом конце зала сидит парнишка. Молодой. Геройская звездочка на груди. И лицо знакомое. На меня смотрит, улыбает-

Конечно, спрашивать надо. И спрашивать строго. Без скидок. Но одно не учитывается. Все сказанное, и тем более написанное, всегда зависит от двух голов: той, которая выдумала-написала, и от той, которая прочтала. А в наше время даже от трех — которая пропустила-напечатала.

Почему же тогда так строго спрашивают только с той, которая пропустила? То есть с редакторской? А остальные две — в стороне? Может быть, потому, что считается та, которая пишет, очень уж вумная... А та, что...

Ну, ладно... Делайте по вашему я подводить Вас не хочу. (*Примечание Ал. Куз. Горевского*).

¹ Далее идут рассуждения Горевского насчет того, что эти пономари, как он грубо выражается, не виноваты. Ораторское искусство потому и называется искусством, что им надо владеть, а овладеть можно только упражняясь и обучаясь. Горевой ссылается на Луначарского, Дзержинского и многих выдающихся ораторов-революционеров. Он обосновывает необходимость в партшколах, Академии общественных наук и в гуманитарных вузах ввести специальную дисциплину — курс риторики, или ораторского искусства. Еще что-то о Демосфене говорит. Эти его пространные рассуждения о том, что наши передовые люди часто работают на холостом ходу, я оформил в виде докладной записки и направил куда следует. Жду ответа... (*Примечание внештатного редактора*).

ся. «Где-то, — думаю, — видел я этого парня...» А вот откуда я его знаю, никак вспомнить не могу. И, главное, он, на меня глядя, тоже улыбается. «Узнает, что ли? Кто ж такой?» — думаю.

К счастью, «пономарь» свою речь закончил. Объявили перерыв. Публика валом повалила в фойе. Дед Мороз курить пошел. Снова я этого парня приметного, с Геройской звездочкой на груди, увидел. Прохаживаемся мы и равнение друг на друга держим. «Нет, точно, — знакомое лицо». Но вот никак не припомню, где я его встречал. «Что такое, в самом деле?! Кто ж такой?»

А потом думаю: «Да в чем дело?! Подойду, спрошу». И пошел я прямо на него. Как на таран. И он тоже ко мне навстречу шагнул. Сблизились мы... грудь к груди остановились. Герой этот прямо передо мной стоит, улыбается. Даже голову набок склонил. С прищуром на меня смотрит.

— Эге, постой... Слушай, сынок, — говорю я ему, — ты Павлик или ты не Павлик?

— Конечно, я Павлик...

— Ну, здо-ро-во!..

Обнялись, расцеловались...

Оказывается, это мой боевой друг. Летчик. Герой Советского Союза Павлик Григорьев. Теперь летчик Гражданского Воздушного флота. Вижу я, дорогой читатель, как ты уже плечами передернул, и критическая мысль у тебя в голове появилась: «Как же так? Лучший твой боевой друг, а ты его и не признал?!» Что верно, то верно, не признал. Но, доложу я вам, критически настроенный мой читатель, в жизни все бывает. Такое бывает на войне, что ни в какие фабулы и сюжеты не влезает. А уж критики и совсем не выдерживает. Не узнал я сразу Павлика потому, что видел его за всю свою жизнь только один раз. И то было это ночью, у партизанских костров, на полевом аэродроме, вернее сказать — на посадочной площадке, где-то возле Беловежской пуши. И продолжалась эта встреча от силы каких-нибудь тринадцать-пятнадцать минут. Придется мне об этой первой нашей встрече рассказать.

Случилась она, эта первая наша встреча, в то время, когда войска Первого и Второго Украинских фронтов южнее Киева окружили крупную группировку немецко-фашистских войск и устроили им в районе Корсунь-Шевченковского второй Сталинград... В это самое время наша Первая Украинская партизанская дивизия действовала в Польше. Завершали мы четвертый по счету крупный рейд. Уже не в Карпаты прошли, а в Билгорайские леса. Шарахнули оттуда под Замостье, а далее, пройдя между Холмом и Люблином, под Бялу Подляску, в район Седлеца — поближе к Варшаве. Заглядывали и на Вислу. Фашистскому губернатору польских земель гаулейтеру Франку не очень понравилась эта наша прогулка. Да оно и понятно: откуда она может ему нравиться? Железную дорогу Варшава — Люблин — Львов мы из строя вывели на двадцать девять суток. «Каким это образом вывели? — спросит меня въедливый читатель. — Да и возможно ли это?» Отвечаю: «Возможно». Одновременно, в один день, взорвали на ней одиннадцать мостов. Может быть, это даже слишком громко сказано — мостов. Правильнее будет сказать — мостиков, мосточков. Но зато одиннадцать штук. Подряд. Каждый восстановить — раз плюнуть... А все вместе? Вот тут и заковыка. Представьте себе — со стороны Львова и со стороны Люблина пустила служба пути два ремонтных поезда. Стали они ремонтировать одиннадцатый и первый мосты. Сутки ушло? Ушло. На другие сутки ремонтные поезда, через свои мостики прокатив, добрались до десятого и второго моста, еще через двое-трое суток — до девятого и третьего, затем — восьмого и четвертого... Ну, а как до центра дойдут, так первый и одиннадцатый можно и по второму заходу рвануть. Так что хотя мосточки и маленькие, а дорога все равно не работает.

Видимо, здорово на нас за это губернатор Франк разозлился; а может быть, и не только за это. Еще на берегу Сана завод артиллерийский стоял, «Сталева Воля» называется. Артиллерийские установки для фашистского фронта он выпускал. Из капитального ремонта.

Это для официальной маскировки. А на самом деле «фау» там делались, первые экземпляры. Не верите? Это у Черчилля в переписке со Сталиным описано. Мы-то

тогда и сами не знали, на какую любимую мозоль Гитлеру собираемся наступить партизанским каблуком. Заманчивая это была для нас шутка — артзавод из строя вывести. Это тебе не мосточек взорвать: целый завод в воздух не поднимешь. Но нащупали наши разведчики у этой самой «Стальной Воли» ахиллесову пяту. Завод стоит на западном, левом берегу реки, с электростанцией — у берега. Завод, конечно, охраняется; электростанция и того крепче — не подступишься. А вот правый, восточный берег реки Сан фашистские вояки не охраняли.

Целую ночь пролежали наши разведчики на этом берегу напротив завода. Наблюдали, слушали, как он за рекой пыхтит, лязгает.

— На фашистский фронт оружие куют, — шептал сквозь зубы Яшка Михайлик, артиллерист. — Погодите, я вам дам!

Засекли время смены караулов. На следующую ночь туда вышла вместе с разведчиками командирская рекогносцировка.

Река хоть и быстрая, но небольшая, меньше сотни метров. А сразу за рекой электростанция завода синими огнями мерцает. Как бенгальский огонь, горят окна. Тихо на реке.

— В такую ночь с конями бы в поле или к девушкам на вечерье, а мы носом мерзлую землю пашем, — говорит старшина батареи.

— Успеешь после войны... Тихо! — шепнул Яшка Михайлик.

Разработали артиллеристы все данные. И на третью ночь подкатили мы на восточный берег Сана всю нашу партизанскую артиллерию... в составе двух пушек. Тихо установили их на прямую наводку и после двенадцати ночи, как раз во время смены караула, ка-а-ак ша-рахнут по окнам электростанции. Больше полсотни штук бетонобойных снарядов и фугасных гранат. Ни один снаряд мимо не прошел, все в электростанцию вlepили.

И завод перестал работать.

Кроме этих дел, устроили мы еще губернатору Франку немало более мелких, как говорили хлопцы, ремонтных работ. И сразу стали нас из Польши выпроваж-

вать. И довольно невежливо. Из Варшавы, из Кракова потянулись эсэсовские полки; начались стычки, перестрелки, бои, окружения и налеты.

— Заварилась каша. На всю Восточную Польшу дым столбом, — говорили в городишках и вёсках (так поляки зовут свои деревушки) между Бугом и Вислой.

А раз бои, значит, и раненые; да при каждой засаде и стычке — расход боеприпасов. Стали мы у Родины помощи просить. Самолеты прислать, боеприпасами выручить, раненых вывезти. И вот, как сейчас помню, в ясный февральский солнечный день, часов в десять утра, прибегает в штаб радист. Подает командиру маленький, узенький листок бумажки — ну просто вроде небольшая писулька. Но в записке этой слов-то мало, а весу в них для нашей партизанской жизни много. «Молния. Сегодня ждите самолет. Срочно сообщите координаты. Выкладывайте костры». И подпись: «Хрущев». Мы ее не раз в расшифровках видели: первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины в те годы членом Военного совета Первого Украинского фронта был. Об этом все знают. Но была у него и третья нагрузка, о чем тогда помалкивали, — партизанами руководить.

Получили мы эту радиограмму. Здорово обрадовались. Быстро координаты сообщили, площадку для приема самолета оборудовали. И стали ждать. Вот только ждать пришлось не до ночи. Примерно в двенадцать часов дня, среди бела света, появились самолеты. Но не наши, а немецкие «Хенкели». Пошли они на бомбежку. А в час дня нагрянула на нашу оборону целая эсэсовская дивизия «Викинг». Да еще с танковым полком в придачу. Видимо, оборону нашу немцы хорошо засекли, потому — танки немецкие рванули на самый слабенький наш батальон. Был у нас такой недавно сформированный. Сами себя они в шутку звали: «Неподступная бронь, смерть фашистам, ежели удирать начнем». Но что перед танками сделаешь, даже если хлопцы в обороне и покрепче бы стояли... Одним словом, чесанул этот наш знаменитый батальон во все лопатки.

— И правильно сделал. Потому что Степка Ефремов, командир их, здорово очень выбрал оборону: позади нее лес и глубокий овраг с кустарником, — говорили потом в штабе при разборе этого дела.

— Это я специально выбирал позицию для драп-маневра, — объяснял он.

Но это после боя... Когда дело в прошлом, тогда все яснее становится. А тогда, в ходе боя, как взял ходу его батальон, так он и через лес и через кустарник без остановки проскочил. Уже к штабу добегают. Тут и нам пришлось вмешаться, порядок наводить: «Хлопцы, куда же вы?! Так долго бегать — и запалиться можно. Станьте, отдохните!» И автоматную очередь над головами — тр-р-р... для убеждения. Это комдив. А замполит Мыкола Солдатенко собрал человек пятнадцать коммунистов и комсомольцев — и вперед.

— Коммунисты, за мной...

Батальон следом за ними и — подправился.

— Вот теперь и воюйте. Щоб було мне все чин-чинарем. Смотрите мне...

Батальон этот по ту сторону оврага и залег. Немецкие танки тоже остановились. Конечно, не перед «неподступной бронью», а перед оврагом. В это время на других участках началось. Пришлось скакать туда. В общем и не заметили мы, как темнеть стало. Кажется, бой идет не больше часа. Глянул я на часы — эге-е-е, да мы уж больше четырех часов сражаемся! Так это уже смеркается. Вернулись обратно к тому оврагу — ребята бодрые, веселые. Увидели, что немецкие танки не прошли, так это они на свой счет приписали. Геройство у них появилось. Даже кто-то песню лихо затянул. А песня эта со смыслом, с загадом и для боевой обстановки самая что ни на есть подходящая... Поется она на известный мотив. Слова только немного перелицованы:

Ноч-ка-а темна-а,
А я не боюся-а...
Проводи меня, Маруся-а...
Запряжем пятьсот саней-э-й...

И дальше в том же духе. Про эту самую партизанскую Марусю. Одним словом, песня — не просто песня, а целая статья устава партизанской тактики... если бы такой где-нибудь на свете существовал.

Значит, песня эта, как говорят, со значением. И значила она вот что: как только стемнеет, построится колонна на пятьсот саней; выскочит наперед разведка, еще днем шупавшая бреши в расположении врага; ужом

выползет колонна и, проскочив незаметно в щель, отмахает за ночь километров шестьдесят...

Оторваться от противника! Вот в чем смысл этого маневра. И все партизаны его знают. Но не так это просто, как рассказывается. Начштаба так говорил по этому поводу:

— Для того чтобы проскочить, надо выскочить. А для того чтобы выскочить, надо оторваться. А для того чтобы оторваться, надо прикрыться.

Вот для этого и существовал еще один партизанский маневр, который так и назывался: «Ванька да Петька изображают из себя батальон»...

Что это значит? А вот что. Из того самого четвертого неприступного батальона, который днем от танков бегал, а вторую половину дня за оврагом лежал, выделяют несколько бравых хлопцев. Чаще всего добровольцев. Коммунисты и комсомольцы. Остаются они на месте обороны батальона — с гранатами, пулеметами, ракетницами. Костры раскладывают, заранее подготовленные. Но не зажигают их пока что... Ждут команды «отход». Тщательно маскируясь, отходит назад, к строящейся колонне, батальон. А минут через десять-двадцать Ванька да Петька и еще два Кольки в придачу быстро разжигают костры и сразу ползут в сторону; из укрытий швырнут ракету — и снова перебежка; затем несколько очередей из пулеметов и автоматов. Противник по кострам мины кладет, а ребята опять перебежку — и в гранаты. Одним словом, шум создают, впечатление, что партизан не только не меньше, а, пожалуй, и побольше стало, что они не только крепко в обороне сидят, а, чего доброго, и в наступление собираются... Вся цель этого «шухер-маневра» в том, чтобы время оттянуть, пока колонна главных сил наших построится. Не дать противнику в тот момент, когда оборона наша ослаблена, удар нанести. А затем, по общему сигналу «отходи с застав», в последний раз Ваньки и Петьки — «ура», гранаты, очереди из пулеметов — и бегом назад, где в укрытии, за скирдой или на опушке леса, или на развилке дорог у них кони оседланные. Галопом два-три километра проскакали, в хвост колонны пристроились и шагом едут, посмеиваются:

— Дело сделано, можно и закурить, братва. Тихонько, из рукава.

Так было и в эту памятную ночь. Как по расписанию. Но только не до конца... И батальоны наши с обороны отошли, и колонна построилась, и Ваньки и Петьки уже свой «шухер-маневр» на разных секторах обороны учинили, и в голове колонны шорох пошел, партизанские кони-трудяги по привычке зашевелились. Пора команду «марш, марш» подавать. Но в это время подбегает к штабным саням радист и подает вторую шифровку.

— Только что принял, товарищ комдив!

Развернул ее командир дивизии и за голову схватился. В бумажке той всего четыре слова: «Самолет вылетел, встречайте...» И подпись та же самая.

Замполит Солдатенко и начштаба Вася Валкович тоже подошли. Посмотрели. Ахают все трое.

— С этим проклятым «Викингом» мы про летуна и позабыли, — говорит Солдатенко. — А то бы можно оборону не снимать. Простоять до полуночи, принять летуна этого, а потом и по коням чин-чинарем...

— Не до него днем было, — оправдывается начштаба. — Кто же знал — доживем мы до этой самой ночи или не доживем.

— Но вот вышло, что дожили. А как же теперь с самолетом быть? — задумался командир.

— Отменить приказ на движение? — с готовностью спросил начштаба.

— Поздно. Оборона снята. На месте застав фашисты.

— Да и голова колонны уже двинулась.

Поглядели вперед — уже и центр колонны вперед пошел. Ритм марша охватил всю тысяченогую змею. Все устремились вперед. Радист тоже на санях выехал и, вроде виноватый, в хвосте колонны пристроился. Только трое — командир, замполит и начштаба — долго стояли и думали. Все искали выхода.

— Прилетит?

— А кто его знает... Ведь как бывает: вылететь-то вылетел, да не прилетел.

— На это не надейся. Это когда ждешь его, костры выкладываешь, тогда не дождешься. А сегодня — обязательно прилетит.

— Так что же делать все-таки?

— Пока что со всеми двигаться.

Вскочили они на коней. Галопом... Стали обочиной обгонять колонну. Задерживались возле командиров полков и батальонов. Говорили с ними о самолете. Искали выхода. Колонна уже выползла из вражеского тактического кольца. Через час вышли на оперативный простор. Кругом польские вёски спят, как зачарованные звездными далями Млечного Пути... На рысях пошли лошади по легкому морозцу... А мы мчимся и думаем, думаем... Уже километров пять проскакали. И вот тут, как часто бывает, когда целый боевой коллектив объединен одной мыслью, как взять возникший на пути барьер, вдруг блеснет просвет. Единая преграда рождает и единое правильное решение. Не помню, кому первому эта мысль пришла в голову. Но с двух слов все ее поняли:

— Принимать на ходу!

— А ведь верно... Конечно, на ходу!

Эх, принимали мы самолеты на льду Князь-озера, на лугах заливных у Припяти, на лесных полянах в Полесье, на клеверищах Брянщины и на полонинах Карпат... Но еще никогда не принимали на ходу.

Но на войне мало, чтобы возникла правильная идея. Ее надо еще организовать. Рассчитать. В точный план проинформировать. Но все же... была бы только правильная идея... А уж остальное мы умели. Привычка, тренировка, ремесло. Сразу же на широкие розвальни легли животами вниз командиры. Расстелили карту. Накрылись с головой плащ-палаткой. Зажгли фонарики, стали по карте шарить... Мы знали, что самолет из-под Киева летит.

— Значит, долетит он до района Вислы где-то около полуночи, — раздумывал вслух комдив партизанский. — За это время колонна, на северо-запад двигаясь, пройдет километров семнадцать-двадцать.

— Далековато, — размышляет, пощипывая ус, начштаба Вася Валкович.

— Ну, придержим шаг, сэкономим силы на вторую половину марша.

— Все равно не меньше пятнадцати километров отдаления от того места, к которому подходить он будет.

И сразу представился им уже летящий где-то самолет. Может быть, пересекает он сейчас линию фронта. Надо думать, рассчитывать.

— Так... К цели подходить будет он на большой высоте...

— Конечно... Если дать ему опознавательные сигналы светом? Посильнее... Увидит он нас?

— Точно. Чин-чинарем — увидит.

— Но как же ты сигналы дашь? Когда? Как же нам-то его услышать в те считанные секунды? Прогудит он южнее нас на пятнадцать-двадцать километров — и поминай, как звали.

— Да-а-а, тоже заковыка...

И вот для того чтобы не прозевать далекий гул самолета, по бокам колонны решили выслать слухачей. Самых молодых, с самым острым слухом ребят. Задача — не пропустить самолет, сразу же о нем дать знать колонне...

— А ежели немец будет летать? А я просигналю? Тогда и плетей дадите? — спросил опасно Васька, связной первого полка.

— То не твоя печаль. Ты гул самолета не пропусти, — успокоил его Валкович.

— Значит, на риск идем? — задумчиво сказал замполит Солдатенко.

— Конечно.

— Если твой герман будет лететь, вряд ли он обратит внимание... Мало ли какие пожары... Но риск все же есть... Надо предупредить Деянова...

Это у нас командир роты был, который всегда самолеты принимал.

— Теперь второе — сигнал.

— Что у нас сегодня?

— Конверт, — ответил начштаба, проверив для верности таблицу кодов.

Опознавательный сигнал в ту ночь был так называемый конверт: четыре костра по бокам, пятый — печать называется, самый большой — посредине.

— Конверт, — задумчиво сказал комдив. — И должен конверт сразу вспыхнуть. Как только слухачи о самолете весть подадут. Сразу же за моими санями пустить пятеро розвальней. Доверху набить сухим сеном, соломой. А поверх соломы чтоб сидело по паре здоровых хлопцев. И в руках чтоб они держали по две пол-литры... с бензином! Чтобы сразу сильную вспышку из пяти костров создать. Понятно? А ракетницу я сам возьму. Ракет побольше. Насыпай в кузов.

Вот как все рассчитали, обмозговали.

И вы знаете — получилось. Все вышло, как по распи-

санию. Вот оно что значит правильная идея и правильная организация.

Действительно, где-то около двенадцати ночи орет кто-то из слушателей, словно его режут:

— Слы-ышу-у гул самолета... Летит...

— А кто-о... летит? — кричит Деянов.

— Не знаю... Гудит — и все...

И сразу с командирских санок в ночное небо взвились ракеты. Тут же вспыхнуло пять костров движущихся. На ходу они образовали конверт.

Самолет изменил курс, повернул поближе, прошел сбоку нас на большой высоте.

— К Висле ушел, на запад. Наверно, герман, — рассуждает вслух Солдатенко.

Но самолет над Вислой сбавил высоту и стал разворачиваться. В это время командир шестой роты, товарищ Деянов Иван Ильич, от костров жалобным голосом кричит:

— Товарищ командир! Потерю имею.

— Какие могут быть потери? Врага вблизи нет, ни одного выстрела, кроме ракетниц.

— У лошадей хвосты сгорели...

— Руби построжки, бросай сани — пускай горят.

— Да уже отрубил. А хвосты сгорели... под самый корешок.

Но не было у нас времени эту проблему обсуждать.

— На всякий случай рота Деянова от костров подальше. Самолет уже зашел на второй круг.

Помигали ему зеленым и красным фонариком. Все, что надо. Он ракетой нам ответил.

— Значит, свой, — облегченно вздохнул замполит. — Заходит на третий круг.

По третьему разу, когда над кострами проходил, вдруг видим — прямо над кострами, подсветившими сразу жиденькие молочные облака, в небе вспыхнуло три светленьких пятнышка.

— Бросил, бросил! — закричали сотни голосов.

Колонна проходила в это время через небольшую польскую вёску. Вёска была маленькая, лесная, заброшенная совсем деревушка. Народ спал. Колонна проходила тихо. Приказ был — в хаты не заходить. Дисциплину марша хлопцы в таких условиях крепко соблюдали. Ни одна собака не брехала — не было собак в тех краях на сотни километров. Ни одной! Не знаю, чем не угодили бедные

собаки губернатору Франку?! Или, может, и самому Гитлеру? Но только был наложен на собак такой налог, что и пара лошадей стоила дешевле, чем одна собака.

Деянов, смеясь, говорил мне на марше после приема самолета, лежа в обнимку с грузовым парашютом:

— Был слух, что при сплошной коллективизации где-то на Дону один балабан старый с таким же проектом вылез. Чтобы всех собак перевешать. Но не вышел у него этот фокус. А вот Гитлер перекрыл самого деда Щукаря, изничтожил в Польше всех собак полностью. А вы говорите...

— Европа-а... — поддакнул старшина Бугаенко.

Так в этой вёске, пока шла колонна, все тихо было, народ спал. Может, и не заметил бы никто нашего марша. Но когда в самой деревушке стали мы самолет принимать — ракеты, костры, ржание лошадей, крики партизан — конечно же, народ взбулгачился. А кроме того, парашюты. Надо срочно подобрать. Пока они в воздухе, их видно. А упадет белый парашют на белый снег — его до утра не доищешься. Вот почему, пока еще парашюты не приземлились, Деянов к каждому двух-трех бойцов посылает: «Беги наперерез! Руками его хватай!» И бегут деяновские хлопцы напрямки, голову в небо задравши: забор — не забор, улица — не улица, хата — не хата, — под ноги совсем не смотрят, главное — свой прикрепленный парашют не упустить. Одним словом, гаму и треску порядочно. Народ проснулся в хатах. Стали в окна выглядывать. А кто полюбопытнее, и во дворы выполз. Из хаты, возле которой я стоял, вначале древняя старушка полезла. Со страху дрожит, мелко-мелко крестится, а вперед все-таки лезет. А затем, следом за ней, высокий такой старик в кожане, накинутом на плечи, показался.

— Не бойся, батя, — говорю, — мы недолго шуметь будем, скоро уйдем. Еще выпитесь до утра.

Старик помалкивает. А старуха крестится и деда своего что-то пытается. А он важно так перекрестился широким крестом (как-то задом-наперед они крестятся, всей ладонью). И старухе авторитетно так заявляет:

— Матка бозка ченстоховска.. Не иначе как большевики. Прямо с конями и санями с самолета прыгают.

Не стал я того старика разочаровывать. Мало ли что спросонья человеку показаться может... Пускай себе

думает, что вся эта орда ночью с самолета прыгнула. Завтра будет идти по нашему следу фашистская разведка, может быть, и на этого старика набредет. Расспрашивать будет. Вот он и доложит. Все-таки своими глазами человек видел. Пускай он и расскажет, что у нас даже кони и санки прыгают ночью прямо с самолета.

Но я бы не стал вам рассказывать всю эту историю, если бы тут не было... одной заковыки, что ли... Пять разворотов еще сделал самолет над нашим конвертом. Вспыхивали в небе светлые кружочки, разрастались в большие купола парашютов, приближаясь к земле. Четырнадцать мешков сбросил самолет. Быстро собрали деяновские орлы эти мешки, кинули их на санки, не распаковывая. Последний, шестой круг сделал самолет. Помахал нам крылышками, взял курс на восток и улетел.

Прошлись еще раз по снежному полю. Прочесали.

И сразу команда:

— По ко-о-ням... По ко-о-ням... рысью а-а-арш!

Рванули мы ходом, наверстывая упущенное время. До рассвета прошли на рысях километров сорок пять. И только когда среди болот и лесов Холмщины запутали основательно след, расположились на дневку. Здесь и стали распаковывать парашютные мешки. Содержимое обыкновенное: гранаты, патроны для бронебоек и автоматов, мины разных калибров и разного назначения, медикаменты, газеты, письма от родных — жен, матерей и детей... Но, кроме всего этого знакомого содержимого, была еще в каждый мешок вложена записка. Обыкновенный листок, вырванный из фронтового блокнота.

На нем торопливо, карандашом, иногда прорывая графитом бумагу, неизвестные нам товарищи писали на коленях или планшете слова фронтового привета:

«Боевой привет партизанам глубокого тыла! От партизан воздуха».

«Бейте гадов-фашистов метко и крепко! Патронов доставим! Взрывчатки тоже...»

«В бой, хлопцы-ковалевцы! До полной победы над врагом! Боевой летный привет и пожелание скорой победы!»

И так далее.

А так как мешков было четырнадцать, а фантазия у хлопчиков, видно, подгуляла, а может, и выдумывать было некогда, поэтому в последние два мешка были положены записки такого уж откровенного содержания, что их теперь и не процитируешь в полный голос. Должен признаться, именно ими и восхищалась в последующие дни вся наша партизанская дивизия.

И под каждой из четырнадцати записок была одна и та же подпись: «...экипаж летчика Павлика Григорьева». Так и подписался он: «Павлик».

Взяли это имя хлопцы себе, вроде как бы на вооружение.

— Вот так Павлик...

— Учудил... Орел!

— Знают, кого к партизанам посылать!

— Надо бы ему благодарность партизанскую. По радио...

Понимая значение боевой дружбы, командование дивизии сообщило на Большую землю эту благодарность от всех наших партизан:

«Мы благодарим Центральный Комитет Компартии Украины за своевременную помощь. Сообщаем, что экипаж Павлика Григорьева в сложных условиях выполнил боевое задание. Мы просим вас передать благодарность всех бойцов и командиров нашей дивизии Павлику и его экипажу...».

В ответ пришла новая шифровка:

«Сегодня к вам снова будет Павлик. Давайте координаты, выкладывайте костры...».

Подпись была та же самая. Секретарь ЦК, видно, под личный контроль взял руководство нашим рейдом. И это нас окрылило.

И Павлик снова прилетел.

Потом была и такая радиограмма:

«Три-четыре дня Павлик летать к вам не будет. Маневрируйте соответственно обстановке...»

А затем:

«Сегодня к вам снова будет Павлик. Меняйте костры. Встречайте после полуночи».

И пошло, и пошло...

Может быть, уже и не Павлик к нам прилетал, а какой-нибудь Гриша, или Родион, или Соломон. Но ра-

дисты все твердят: Павлик, Павлика, Павлику. Это имя стало уже не именем определенного человека, а фронтовым кодом, обозначением нашего дорогого друга — авиации. Сама собою и хитрость партизанская из этого вышла. Если бы даже и умудрилась вражеская служба подслушивания как-нибудь перехватить радиogramмы и расшифровать их, как удалось это немцам на Балканах, все равно ничего понять было бы нельзя: шляется по белому свету какой-то Павлик, словно к девкам на вечерки, — вот и все...

4

Долгих полтора месяца после этой ночи шли мы маршем по Польше. Меняли сани на телеги. Переходили вброд реки. Штурмовали железки. Пускали под откос поезда. Сошли бурными водами Буга и Вислы снега. Почернела земля, озеленились луга, подсохли поляны. А там и грунт затвердел, можно принимать грузовые машины на полевых аэродромах. И уже где-то в мае месяце под Беловежской пущей была получена радиogramма. Все от того же адресата:

«Сегодня к вам будет Павлик... Собственной персоной». И та же подпись.

Понимал значение острого, меткого слова, соленой шутки наш первый секретарь ЦК.

«Собственной персоной» — значило, что наконец услышало командование наши просьбы: прилетит Павлик к нам не просто с выброской, а с посадкой. Осмотрели последний раз днем мы лесную поляну, выбранную под аэродром. Подровняли, утрамбовали, очистили от неровностей, пеньков и оставили Деянова с его знаменитой ротой дежурить... А когда в полночь, сопровождаемые взводом конной разведки, подъехали командиры к нашему лесному аэродрому да глянули на девять костров среди серебряной прозелени майской листвы и травы-муравы, вытянутых в прямую линию вдоль поляны (десятый сбоку давал «ворота!»), у многих сердце похолодело сотни народу — все свободные от караулов и сторожевой службы партизаны, движимые каким-то непонятым любопытством, — приперлись на аэродром. И толкуются у костров! Слоняются на посадочной площадке, путаются под ногами.

А Павлик вот-вот прилететь должен. Ну, тут размышлять нечего.

— Всех с поляны долой! Галопом! Конной разведке— в плетки их! Врежь, хлопцы, и по совести и по закону,— командовал комдив.

Нет! Это не забава лихая запорожская, а необходимость. Проворонь мы еще минуток с двадцать — не обойтись бы без аварии. Или Павлик не сядет на такую площадку, или какой-нибудь ротозей свою непутевую башку под винты сунет. Но и конники хорошо потешили душу, в пять минут очистили площадку.

А Павлик уже тут как тут! Летит! Выскочил прямо из-за леса. Думали, он, как положено, на бреющем вдоль костров пройдет, прожекторами посадочное поле осветит, а там уже, за вторым заходом — на посадку. А он из-за леса выскочил и возле первого костра сразу и плюхнулся. Не успели мы оглянуться, а он уже возле последних костров выкруливает. В сторонке от костров остановился. Ну, тут уже и конники ничего поделывать не могли. Из леса толпа народа к машине бросилась. Окружили, и только люки открылись, из них летчики в комбинезонах вышли — такая там каша пошла... Вроде четыре водяных буруна. Это хлопцы летчиков стали качать. Кверху подбрасывают. «Ура» кричат.

— Я в этой круговерти сразу командира ихнего узнал, — смеется Солдатенко. — Он два-три раза только дал себя подбросить. А потом как в воздухе гаркнет: «Команда, сми-и-рно!» Качающие руки по швам взяли. Чуть не убится, чин-чинарем.

А в это время и Павлик из толпы выбирается.

— Командир дивизии здесь? — спрашивает.

— Здесь, здесь! — отвечают сотни голосов.

А потом снова его обступили все: «Ты — Павлик? Ты — Павлик?.. Кто — Павлик?.. Ох, и парень мировой! Я тебе подарок давно припас. Бери, бери, не стесняйся!» И так почти все. Галдеж, гомон, смех, восклицания.

— Какой подарок? Что еще этот голодранец партизан летчику подарить может? — спрашивает комдив замполита.

— Оказывается, может, — хитро так засмеялся Солдатенко. — Почти каждый на аэродром подарок принес. Какой? Ну, конечно же, трофейный пистолет.

Тонкие психологи были наши ребята. Очень хорошо они понимали, что как бы здорово ни воевал летчик, какие бы

подвиги ни совершал, все равно он лишен одной радости боевой жизни — он сам никогда своих трофеев собрать не может. Понятно же, самый лучший знак уважения и признательности летчику — трофейный пистолет.

— И все приперлись с подарками, — смеется Солдатенко. — К Павлику лезут. Он стал от них отбиваться. Тут уже мне пришлось подавать команду «смирно».

В это время и Павлик подходит к тому костру, около которого командиры стоят. Еще издали можно было определить настоящего, дисциплинированного офицера. Идет он быстрым, четким шагом.

— Парень, видать, гвоздь, — сказал Солдатенко. — Идет, как положено. Я так понимаю, хочет он подойти с рапортом... Давай принимай, чин-чинарем.

Это у замполита Солдатенко присказка такая была — чин-чинарем... Но чем ближе летчик входил в полосу света и чем ярче его фигура вырисовывалась, тем больше смех стал разбирать командиров. В летном комбинезоне у него штук восемь карманов — и на груди, и на коленях, и сзади. Из каждого кармана по паре рукояток от трофейных пистолетов выглядывают.

— Гляди, комдив. Гляди, карман слева. Там у него из-под «вальтера» еще и горлышко бутылки выглядывает. Со шнапсом... Як сорока из гнезда, чин-чинарем. Ну хйба ж можно при таком виде всерьез рапорт принимать?! — заливается смехом Солдатенко.

Комдив навстречу летчику пошел, быстро за руки схватил. Сам первый поздоровался. По плечу похлопал, потормошил... словом, сорвал ему рапорт.

После минутного замешательства стали они командира знаменитого корабля разглядывать.

— Интересно все-таки, что за орлы к нам летают, — говорит Солдатенко.

А когда он к костру повернулся, глянули они попристальнее ему в лицо — так и ахнули. Стоит перед ними в летном комбинезоне мальчишка лет девятнадцати, не больше. На верхней губе и намека на усы нет.

— Сколько же раз вы в тыл врага вылетали? — вырвался у комдива вопрос.

— Сегодня шестьдесят второй, — четко ответил юнец.

— Чего? — не разобрал Солдатенко.

— Шестьдесят второй вылет. В тыл врага, — отвечает Павлик.

— Ага-а-а, — с уважением протянул замполит. И с комдивом переглянулся. — Комсомолец? Чин-чинарем?

— Кандидат партии.

— Ого! Так ты, брат, старый воздушный волк, сто двадцать три раза перелетел линию фронта. Так?

— А сейчас поднимется и перелетит сто двадцать четвертый, — сказал задумчиво комдив.

И вот в это самое время подбегает к Павлику кто-то из его экипажа. Видимо, штурман. И возмущенно ему шепчет:

— Да что они, в самом деле? Товарищ командир корабля! За барахольщика меня принимают?! Не позволю!

Павлик тактично так повернулся и, поклонившись командирам, отошел с подчиненным шагов пять в сторону. А тот кипит, из карманов трофейные пистолеты таскает и швыряется ими.

— Я думал, они просто так, из уважения, по собственной инициативе... А тут получается — вроде взятка... Да еще и самогон.

— Какая взятка? Какой самогон? — строго спросил Павлик.

— Да раненых в машину перегрузили. Каждый своего дружка без очереди норовит пропихнуть. Грунт песчаный, взлет тяжелый. А они все пихают и пихают.

— Сколько раненых?

— Уже двадцать семь погрузили.

— Шестерых снять. Больше двадцати одного пассажира не поднимем, — отдал приказание командир корабля.

Штурман побежал к машине выполнять приказание. А через минуту главврач партизанский мелким бесом подсакивает. Командованию козыряет.

— Товарищ командир, меньше никак нельзя. У раненых гангрена началась. В ближайшие часы в госпитальных условиях им ампутацию сделать надо... Иначе — гибель.

Посмотрел я на Павлика. Он задумался. А затем комдива тихо спрашивает:

— Врач правду говорит? Или так, заливает?

— Правду.

— Хорошо. Возьму еще трех. Двадцать четыре пассажира! — громко крикнул он экипажу.

А возле машины спор, крики, мольбы, причитания. А у костра врач соловьем заливается:

— Вы подумайте, товарищ летчик, вашего прилета покалеченные люди как ждали! А какие люди? Орлы. Точно. Тела все истерзаны, нервы на пределе. И вот дождался... Уже в самолет попал. Полежал в нем несколько минут, а теперь обратно. Тут и у здорового человека нервы могут не выдержать...

Взглянул я на Павлика, а у него глаза ясные-ясные, как у девчины. Прямо на костер глядит, не моргая. Задумался он. Затем резко шагнул к комиссару.

— Доктор правду говорит?

— Слово коммуниста! — взмолился хирург.

— Он у нас не только хирург, но еще и комиссар полка, товарищ командир корабля, — сказал Павлику как можно деловитее замполит Солдатенко.

Опять задумался Павлик. Поляну оглядел, что-то в уме высчитал.

— Можете в мое распоряжение человек двести выделить? — спрашивает командование.

— Да бери хоть все полтысячи, — говорит комдив. — А зачем они тебе?

— Пойду коммунистов и комсомольцев организую, — сказал замполит. — Дело серьезное... И чтоб прекратили эти шуточки с трофеями. Чтобы все было чин-чинарем. А какая их задача будет, товарищ летун?

— Направляйте их в конец поляны. На старт. Пусть мне помогут машину с места сорвать, чтобы сразу разбег взяла. Понятно? Попробуем поднять всех ваших двадцать семь.

Объяснил замполит хлопцам задачу. Народ в конец поляны отбежал. На старте охочих толкать машину набралось много. Отбуксировал Павлик машину. Смотрим, грузно идет она по песчаному грунту.

— Тяжело. Перегруз, — говорит Мыкола Солдатенко.

А когда развернулась и по сигналу Павлика братва машину с боков и хвоста облепила — как комары! — взвыли моторы. Поднатужились хлопцы. Вперед! Вперед!! Ура-а!! Сорвали с места легко. Побежала машина по полю. Люди уже поотстали. Там даванули кого, кого-то затоптали... Смех, крики, ругань...

Машина по полю ползет, моторы ревут. Уже половина костров позади осталась, а разбега настоящего все нет. У костров, выстроившись в одну шеренгу, человек с полтысячи народу стоит. Приседают все, руками, словно

на коршуна, машут снизу вверх. Помогают: «Акиш-киш! Поднимись же! Ну, оторвись от земли!» Но самолет уже последний костер пробегает. А колеса от земли никак не оторвутся.

— Эх, каюсь, что Павлика уговаривал,— говорит хирургу комдив.— На перегрузе! Угробится машина. Только мяса больше будет.

Хирург и сам, бедолага, бледный стоит. Руки у него трясутся. За последним костром каких-нибудь метров триста — и лес дремучий. Стеной стоит. Прямо на лес машина по земле мчится. Колеса от песка все не оторвутся никак. Но уже разбег взяла крепкий. Если врежется с хода в столетние сосны — блин... Ревут моторы, как гитарные струны.

Перед самым лесом все же оторвал машину от земли Павлик. Взмыл вверх. Над самыми верхушками вековых сосен прошел. И сразу скрылась из глаз машина. Только кроны деревьев в том месте закачались. И гул сразу пропал.

Замерли все на аэродроме. Только дыхание людей слышно. Вот секунда, три... пять. Не раздастся ли треск ломаемых деревьев, вой моторов, врезавшихся в землю, грохот взрывающихся баков?.. Нет, не раздались. А еще несколько секунд — и в вышине уже, метров на триста левее, на развороте, весело загудели натянутой струной моторы павликова самолета.

— Развора-а-а-чивается! На юго-восток, до Киева! — крикнул Солдатенко Мыкола.— Чин-чинарем, братва-а...

И сразу в воздух полетели шапки. Какой-то очумелый из трофейного пистолета в воздух стал палить. От восторга. Кто-то из дружков его плеткой погладил. То же от радости.

А Павлик уже улетел. И больше я его и не видел до конца войны. И после победы как-то не приходилось нигде с ним встретиться. Он все летает, а я все езжу да по архивам штаны протираю...

И вот — встреча. Разве не с другом встреча?

Стоим мы с Павликом среди потока делегатов, в самой гуще движущейся толпы. Друг на друга смотрим. Улыбаемся. Я ему на радостях руку на плечо положил,

И он меня тоже обнял. Постояли мы, постояли, а потом пошли. В буфет зашли, потом вышли и опять по фойе прогуливаться стали.

И вот тут остановился Павлик Григорьев возле картины. Висело на стене большое панно — картина. Всем она вам, вероятно, хорошо известна. Помните, в начале прошлой пятилетки, уже выполненной нашим народом-тружеником, был по стране широко распространен такой плакат, в зеленых таких тонах весь: карта нашей родины, новостройки коммунизма, темно-зеленые клеточки лесных полос... Ну, наверное, помните?..

Не знаю, по какому, но определенно по какому-то сложному ходу ассоциаций именно здесь, возле картины стоя, и задал мне вдруг Павлик неожиданный вопрос:

— А скажите мне, товарищ Горевой, где сейчас хлопцы-ковалевцы, партизаны, герои твоей книги «Война без флангов»? Что они делают?

Вопрос был, прямо скажу, неожиданный.

Развел я в недоумении руками. И брякнул:

— Живут,— говорю.— Что ж им делать? Живут. Трудятся. Коммунизм строят.

— А вы с ними встречаетесь?— спрашивает Павлик.

— Конечно, встречаюсь... Как кто в командировку или проездом... или случится чего тяжелое... или радостное. Перемена какая... в жизни... Новоселье. Выговор или благодарность!

— И переписываетесь?

— А как же!.. И переписываюсь.

— И адресочки у вас есть?

— И адреса есть,— признался я.

— Очень прошу я,— говорит Павлик,— дайте-ка мне адреса этих самых живых героев. Я им обязательно письма напишу. Мне это крайне необходимо.

— А зачем?— заинтересовался я.

Павлик засмеялся.

— Тут и товарищи писатели тоже виноваты. Понимаете, книжку эту документальную я хорошо знаю. Потому как о нашей общей жизни и борьбе. Читал, можно сказать, не один раз. В особенности, где про взаимодействие с авиацией. И своим товарищам показывал, летчикам. «Вот, говорю, те самые хлопцы, к которым я через линию фронта десятки раз летал».

— Ну, а летчики? Как оценивают?

— А летчики? Не верят.

— Н-ну да-а...

— Не верят — и все. «Брось, говорят, Павлик, брось! Ты что, не знаешь? Разве в книжках правду пишут?! Это же все писатель выдумал... А ты, простачок, хва-лишься».

— Так и говорят?

— Ага. А вот если адреса дадите, я партизанам письма напишу. Может быть, кто-нибудь и ответит.

— Конечно, ответят,— успокоил я Павлика.— Не одному из них ты, может быть, жизнь спас, раненого из тыла врага вывез. Помнишь трофейные пистолеты?

— А как же! Меня потом за них таскали-таскали... «Где взял? Да почему? Да как?..»

— Ну вот, видишь... Приятные воспоминания! Ты только напиши — сразу ответят.

— Давайте адреса.— И вытаскивает Павлик из кармана блокнот и карандаш.

— Ну ладно,— соглашаюсь,— раз ты собираешься даже за честь нашей литературы постоять, так чего ж! Мне адресов не жалко. Только гляди, сначала обдумай, взвесь все «за» и «против». А то я тебе адресочков штук триста подвалю, так получится из тебя уже не летчик, а писарь. Только тем и будешь заниматься, что письма писать.

Засмеялся Павлик, замахал руками.

— Нет, триста — это много. Давайте хоть самых главных.

— Ну что ж. Гляди на карту. Записывай.



АРХИВАРИУС

Первым записал в свою записную книжечку летчик Павлик Григорьев адресок нашего деда Ковалея: живет, мол, так-то и так-то... Почту посылает фельдьегерем. Писать туда положено все только приятное. Веселое. Ободряй и не жалуйся. Ни-ни... Так положено для нервов, для долголетия жизни. Из уважения тоже.

К моему великому сожалению, не мог я дать адрес нашего любимого комиссара товарища Руденко. Он погиб в бою и похоронен в горах. Похоронен, как и судьба велит партизанскому комиссару, в братской могиле, где лежат семьдесят два наших партизана, павших смертью героев в Делятинском бою; семьдесят бойцов и командиров нашего отряда, семьдесят первый — Радик, семнадцатилетний комсомолец, сын комиссара, а семьдесят второй — Герой Советского Союза, наш незабываемый комиссар.

Не дал я Павлику адреса еще одного — Героя Советского Союза Семена Тарасенко. Но по другой причине: он был делегатом той же конференции. И обменялись они адресами без моей помощи. Если кто-нибудь недавно перелистывал «Войну без флангов», то он помнит, кто такой этот Сенька Тарасенко. Это тот самый, который во главе партизанской группы, на захваченных у врага автомашинах, из-под Карпат аж до самой Шепетовки махнул, сея панику и переполох в гарнизонах оккупантов... А может быть, у кого-нибудь из вас такая феноменальная память, как была у нашего политрука

разведки Ковальчука, которого мы звали «ходячая библиотека». За то дали ему такое ученое прозвище, что он все книги знал. Наизусть. В лесу литературы никакой не было, а читать хотелось: была все же потребность в культуре. А политрук Ковальчук у нас обладал феноменальной памятью. Соберутся, бывало, хлопцы у костра:

— Давай сюды библистеку.

Зовут Ковальчука.

— А что же вам рассказывать? — спрашивает он.

— Давай Чехова.

Он — Чехова. Наизусть! Надоест — на приключенческую ребят потянет.

— Валяй Шейнина! — скажут. — Или самого Шпанова. Давай, как он первым ударом с фашизмом расправился и на второй день войны революцию в Берлине поднял... Давай! Хоть и брешут, но зато складно.

— На то и писатели...

И он рассказывает Шпанова. Так и шпарит.

А один раз подхожу:

— Что такое?

— Чш-чш... — машут на меня руками. — Уже три часа подряд, как «Анну Каренину» рассказывает. Прямо наизусть. Так и дует.

Правда, никто из нас не мог проверить, насколько он правильно Толстого передавал. У меня и тогда было подозрение, что он здорово Льва Николаевича «редактирует».

Но после войны, уже в качестве, так сказать, литературного деятеля, я встречал редакторов и похлеще нашего политрука разведки Ковальчука: так отредактируют, что сам автор не узнает своего собственного писания. Поэтому-то я после «Войны без флангов» бросил это дело. Нервы мои не выдерживали. Никак. Это же как по живому режут. Это как для матери дитё. Может, и дитё-то дурное, а все жалко. А эти мои партизанские байки пусть уж без меня потрошат. Не буду хоть этого видеть, переживать.

Так вот, если у кого из вас такая феноменальная память, как у нашего политрука разведки Ковальчука, так тот, конечно, помнит, что Семен наш Тарасенко это и есть тот самый архивариус нашего штаба, с которым были всякие конфузы. Пока его из штаба не наладили.

«А что же это за должность такая — архивариус шта-

ба? — спросят люди, понимающие толк в штабном деле. — Ни в одном штатном расписании такой должности ведь нет». Скажут: «Выдумки». Скажут: «Загнул. Думает, если в партизанах, так все можно?!» Нет, уважаемые читатели, тут не в том дело. Вы должны понять и наше положение: ведь неудобно же нам было архитектора, человека с высшим образованием, и звать просто «старший писарь». А архивариус? Это же все-таки должность! На номенклатурную смахивает. И почет. И ни черта не поймешь. А нам что? Все равно зарплату не платить, хоть как хошь назови. И дача у всех одна и та же — под елкой или дубом. Лишь бы человеку не очень обидно было.

Вспомнил я об этом архивариусе во время активизации ревизионистов. Встречаешь, особенно среди современных молодых товарищей, сильно критически настроенных. Особенно во взглядах на литературу! Они жизнью недовольны, а на литературу кивают. В основном сводится это вот к чему:

— Мы признаем, конечно, ваши заслуги. А литература? Все вы хронику пишете... — так говорил мне один шустрый паренек с усиками.

— Шекспир тоже хроники писал, — говорю ему в ответ.

— Ну, это же несерьезно, — обижается он.

— А в чем дело? Что вас так волнует в нашей литературе?

— Но вы же умный человек, не можете вы не понимать, что потеряла наша литература те достижения, которые имела великая русская классическая литература. Нет же у вас таких переживаний глубоких. Психоанализа тоже нет. Я не говорю уже о раздвоении личности. Например, как у Достоевского.

Когда он это мне сказал, я даже обозлился: «Ну, постой, я тебе врежу сейчас...» И говорю:

— Как нет? Есть. Вот Сенька Тарасенко — чистейшей воды достоевщина. Но, конечно, на партизанский лад. — И говорю ему в его же тоне: — Вы же умный человек, должны сами понимать, что кое-какие поправки на эпоху должны быть. Это тоже был человек. С раздвоенной душой...

— Как так? Не может быть? — совсем опешил мой нигилист,

— А вот, — говорю, — и может. Жила в этом партизане страшная душевная раздвоенность.

— А откуда она могла взяться? — растерянно спрашивает нигилист.

— Вот сами посудите: по профессии, по образованию, по мечте, по призванию он — архитектор. Строитель. Созидатель... А на войне ему пришлось быть подрывником, разрушителем. Есть еще такое страшное слово — диверсант. Так вот, нашему архитектору и пришлось быть диверсантом! А? Как вы думаете? Это так просто? Сталкивались эти противоположные качества? В одной душе?!.. Должен был он и сам терзаться и других терзать этими своими терзаниями? И попадал он часто из-за этого в неловкие, иногда трагические, иногда трагикомические положения.

Задумался мой спорщик. Усики щиплет. Что-то хмыкает. А я его конкретным примером как оглушу:

— Вот, помню, шли мы по Западной Украине. Ночь была... Страшная гроза. Дело было в Тернопольской области. Идем по чернозему. На колесах и сапогах по пуду земли, а марш — пройти за ночь тридцать-сорок километров. Кроме того, шли по карте тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Карта старая, а земля новая. Народ-то кой-чего за полсотни лет на этой земле наворочал.

Промокли, не спали. Загорелась заря на востоке. И, как это бывает после грозы, небо ясное, воздух чистый, вымытый... Смотрим на запад. На карте указан лес, а перед нами город. Как в какой-то арабской сказке. И до города всего двести-триста метров. Что делать?

— Значит, надо брать с ходу... — крутит ус комиссар Руденко.

Ворвался наш эскадрон в город. Жандармы спали. Выскочили в одном белье. Словом, город Скалат мы заняли с налету...

Было много трофеев. А за городом по другую сторону — замок князей Радзивиллов. А в замке башня высокая. А на башне притаился их пулеметчик.

— Город наш, а по городу ходить нельзя. Все главные улицы простреливаются, — досадают хлопцы.

И центральную площадь под огнем держит. Хлопцы наши зарядились уже, нашли склад с вином.

Кричат все с досады:

— Давай пушку! Скорее...

Прикатили пушку. Хотя и партизанская, без панорамы и всех прицельных приспособлений. Но у нас был наводчик первого класса. Он так немного присядет, глянет через ствол, поколдует чего-то — и раз: бьет наверняка. Наводчик понюхал и говорит:

— Я его первым снарядом сбрую. Вместе с башней.

В это время скачет Семен.

— Что происходит? Куда целитесь?

Ему рассказывают — так и так. А он как закричит:

— Да что вы делаете? Вы что, не знаете, что строил эту башню знаменитый итальянский архитектор начала восемнадцатого столетия...

Хлопцы топчутся, затылки скребут.

— А откуда нам знать...

Семен наводчику:

— И ты не знаешь?

А тот образованность свою хотел показать:

— Слышал одним ухом что-то...

Тут Семен на него:

— И не дрогнула у тебя рука?

Тут ребята стали наводчика выручать:

— Нет. У него глаз меткий... И рука не дрогнула бы. Мы ему до конца боя никогда не даем ни капли.

Выругался тут Семен-архивариус...

— Да вы знаете, какое это достижение архитектуры?!

— А хоба шо достижения? — смущенно говорят ребята.

Короче говоря, не дал стрелять он по этой башне. Так и оставили город. С одним немцем на башне. Спасла его итальянская архитектура и семенова эрудиция. Погрузив трофеи, пришлось боковыми улицами обоз пускать. Это же ущерб и досада для нашего партизанского самолюбия...

Второй случай и того хуже. Сам командир наш терпел, терпел этого архивариуса, а однажды не вытерпел. В Карпатах было дело. Получаем приказ — перерубить железную дорогу. Шла эта магистраль из Венгрии через Румынию, через Бессарабию. На южный участок фронта. По радио приказ — перерубить. Как перерубить? А очень просто — взорвать мост. Самый простой способ. Нашли мост. Старинный. Каменный виадук его навис над глубокой пропастью. Да еще прямо на мост поезд, из туннеля выскакивает. Конечно, мост охранялся. Но разведчики наши с помощью пастухов-гу-

цулов нашли лазейку — никому не известные горные тропы. Ни на каких картах этих троп нет. Подход незаметный. Боевой группе пробраться можно — и прямо на голову часовому, который у входа в туннель ходит. А ведь это главное — без шума часового снять. Пошли расчеты: группа захвата, группа подрыва, заслоны, взаимодействие — все рассчитали.

Собрали последнее заседание штаба. Все гладко шло — хорошая подготовка дает хороший результат.

— Осталось только боевой приказ написать, — хвалится помначштаба Вася.

— И выполнить, — говорит повеселевший комиссар.

Вдруг в последнюю минуту встает этот самый архивариус. Обращается, как положено, по-военному:

— Товарищ командир, разрешите обратиться?

Дед говорит:

— А шо там такэ?

— Товарищ командир, этот мост рвать нельзя-а-а...

— А чего его нельзя рвать? — спрашивает несколько голосов сразу.

— Таких мостов только два на всю Европу: один — в Альпах, другой — в Карпатах. Архитектурный памятник, рвать его нельзя.

Командир за голову взялся, плюнул с досады.

— И откуда ты взялся на мою голову с твоей архитектурой?! Вот взорвали бы мост и не знали б даже, что это архитектура. А теперь сиди думай...

Командиры ругаются, затылки скребут. Цигарками все задымили. А он свое доказывает:

— Нас, — говорит, — варварами назовут, если этот мост взорвем. Этот мост записан в «Истории архитектуры» на итальянском языке (том такой-то, страница такая-то), записан и в «Истории архитектуры» на французском языке. На испанском языке...

Томами и страницами так и сыплет. Иди — проверь!

Комиссар говорит, призадумавшись после этих его цитат:

— Товарищ командир! Зачем нам еще с историей архитектуры связываться... Не один этот мост на свете. Давай взорвем другой.

И взорвали мост. Но не тот. А поменьше, похуже.

Фашисты его быстрее и восстановили. Дней через де-

сять железная дорога опять заработала. А еще через неделю по рации запрос:

«Ваш рапорт взрыве моста железной дороги принят сведению. Сообщите, откуда бессарабским дорогам идут эшелоны противника».

Вот заковыка!

Командир пришел как-то в штаб. Ходил, ходил. Сердитый... Подозвал начальника штаба.

— Слухай сюда, товарищ начштаба. А ну, заведи того архитектора и архивариуса с моих глаз долой! Чтоб я его в штабе и не бачив! Он мне на нервы действует. Понятно?!

И послали архитектора... в кавалерию.

— А как же памятник тот? Мост архитектурный? — спросил нигилист с усиками.

— Когда под ударами доблестных частей Советской Армии гитлеровские вояки драпали из Карпат, так они не посмотрели на то, что это архитектурный памятник, так его рванули, что вот уже шесть лет после войны прошло — был я в Карпатах, своими глазами только обломки этого памятника видел.

Архитектор же наш в кавалерии нашел сам себя. Свой военный талант нашел. Как штрафника его послали поначалу только командиром взвода конной разведки. Это почти что на смерть. Но он возьми и отличись. Да не раз, не два, а десятки отчаянных разведывательных рейдов, набегов, поисков провел. А у нас такое правило — раз отличился, надо повышать. Его и назначили командиром эскадрона. А потом назначили его как грамотного человека начальником штаба отдельного кавалерийского дивизиона. В составе трех эскадронов. Больше у нас их и не было. Вот и вышел из Сеньки-архивариуса начальник штаба всей кавалерии.

Правда, и в кавалерии у него были архитектурные «завихрения». Особенно когда приходилось вести конную разведку в сторону Киева. А он киевлянин родом.

...Разведка смотается в Киев. На окраину заскочит — и р-раз-з... приволокли «языка». Это известное дело — мешок на голову и на коня! Галопом.

Приводят конники «языка» к своему начальнику штаба. А тот не то чтобы его как следует допросить, грамотное донесение написать, он что вытворяет?! Потом уж

конные разведчики не раз рассказывали, в лицах разыгрывали. Как пьесу или водевиль какой.

— Сидит, значит, наш начштаба в хате. «Языка» посадит перед собой,— рассказывает Костя Дьяченко.

— Не-е, сначала он на стол поставит сулею-у, а потом поставит две рюмочки,— глотая слюнки, торопится рассказать Колесников, по прозвищу Кузьма Крючков.

— Ты не перебивай,— озлится Дьяченко.

А Кузьму Крючкова уже не остановишь. Он на своего конька попал:

— Посошек нальет. Выпьют. А потом сразу: «Рассказывай... туды-сюды, обратно... Как немцы?» «Язык» плетет чегой-то. «Ну, а как Киев?» — пытается «языка» наш начштаба. «Ничего-о-о...» — «А немцы как?» «Язык» начинает немцев ругать. Раз к партизанам попал, понимает, что к чему. Соображает. «А как Крещатик?» — «Крещатик немцы взорвали». — «Как взорвали?» — аж вскочит начштаба Сэмэн. Ведь это родной его город! «Какие дома?» — «Все подряд, — отвечает «язык», — от Бессарабки до Владимирской горки».

Кузьма Крючков передохнет после той тирады. А Костя Дьяченко сразу подхватывает:

— Только «язык» это ляпнув, а Сэмэн-начштаба за плетку да ка-ак врежет «языка» раз десять: «За Крещатик, за Киев, за столицу украиньску». Давай теперь ты, Кузьма Крючков, дальше рассказуй.

— Потом сердце отойдет у него, он и говорит: «Ладно, ты на меня не серчай». И нальет. «Выпей...» Рассказывай дальше!

— А у «языка» уже и язык отнялся, — вставит Дьяченко.

Кузьма Крючков продолжает:

— «Ну, хорошо,— говорит «языку» начштаба,— Крещатик взорвали. А как Прорезная улица?»

— Це на гору Крещатика которая, по линии пятого номера трамвая,— вставляет снова Дьяченко, тоже, по всему видать, киевлянин.

— Ну, насчет Прорезной «язык» теперь помалкивай-и-т... как воды в рот набрал. Но начштаба у нас человек настырный. Он своего добивается. Да-а. «А как, говорит, на Прорезной улице дом номер семь?» А этот дом строил какой-то-сь знаменитый итальянский архитектор... конца восемнадцатого века.

— Ага. Дом номер семь. А архитектора того Лампампони звать. Его вся наша кавалерия знает,

— Архитектора Лампампони?

— Не-е... Дом номер семь. Да це все равно. Архитекторы живут и после смерти. В своих постройках. Пока дома не повзрывают... Так начштаба нам рассказывав. И дом номер семь — это у него самый разлюбезный дом на свете!

— Тогда «языку» начштаба вопрос ставит ребром: «Отвечайте! Как этот дом номер седьмой? Взорван он или нет?»

— Вот теперь войдите в положение «языка». Что ему говорить? Не разберет он никак, что нужно — чтобы дом остался целый или был взорванный?

— Он еще раньше запутался, никак не поймет. За что у партизан, значит, водкой поят, а за что плеткой лупят. От у него и номера домов запутались,

— И молчит...

— А Сэмэн-начштаба сядет, зажмурится. Долго сидит так, затем отпустит несколько ласковых слов по адресу Адольфа Гитлера. И страшной партизанской клятвой клянется, что будь он проклят, только бы остаться живым, если не будет стоять после войны на Крещатике хоть один дом по проекту архитектора Гарасенко.

...А ребята все про начштаба говорят так:

— Хороший парень, но... архитектура!

— Ага. И пехота над нами смешки строит. Чуть малое упущение — сразу на смех поднимают: «Какая у кавалерии нашей может быть война?! У них начштаба проекты сочиняет. Воевать надо, а у них проекты-ы»....

... Это и рассказал я критикану с усиками. Про нашу партизанскую раздвоенность души.

— А вы говорите — Достоевский. Разве ж это не характер? И не раздвоенность? Бери готовенького — и в книжку. Самую психологическую. Если только не подведет талант... и редакция.

— А что же он сейчас? Жив ли? Что делает?

— Так я же к этому и весь разговор веду. Не только жив, но теперь вроде выветрились те противоречия. Как окончилась война, на первых порах разбрелись мы кто куда. Стали притуляться к мирной жизни. А кто по-настоящему воевал, тот знает, как стоящим воякам пристраиваться к мирной жизни. Один, скажем, приехал до-

мой, а дома-то и нет совсем; другой приходит — дом есть, а жена замуж вышла; третий приехал — и дом есть, и жена верная ждет не дождется, но работать надо, а он работать отвык, насчет трофеев больше пристрастился. . .

Короче говоря, растеряли многие боевые товарищи друг друга. В первоначальной мирной жизни. Так и мы с Тарасенкой. Только вот году в сорок девятом приезжаю я как-то в Киев, говорят мне, что Семен наш чуть ли не заместитель главного архитектора города Киева и по его проектам уже тогда штук двадцать домов было построено¹. В разных районах города. Из них два — на Крещатике, а два как раз там, где стоял дом номер семь на Прорезной.

А последний год наш архивариус, Герой Советского Союза Семен Тарасенко, работает главным архитектором города-героя. Да это вы знаете.

И что вы себе думаете? Он один у нас такой, кто творчески в мирной жизни орудует?

А вот посмотрим дальше.



¹ Причем, хотя и до известного постановления строил, но без колонн и архитектурных всяких излишеств. Красивые дома. В строгих линиях. Такой вышел ансамбль Партизанский. (Примечание внештатного редактора).

ВОЙСКО

Дал я еще один адресок Павлику Григорьеву. Но тут у нас такое получилось затруднение. Народу возле той картины уже собралась куча. Слушают. Я до этого гладко все рассказывал, а тут запнулся. Потому что речь должна пойти о женщине. А мне неизвестно, как будет женский род от слова «персонаж».

— А в самом деле, как же будет женский род от этого слова?— спросил у слушателей Павлик.

А один возьми и бухни:

— Будет персона.

Смехота! Ну какая же она персона, если она вот такого росточка? И весу всего сорок килограммов... Поэтому скажу так: дал я летчику адрес одной героини. Ошибки тут большой не будет. Она действительно геройская девушка. Речь идет о Кате-Маленькой, радистке нашего отряда.

Но и с этим адресом вышла одна морока. По той причине, что адресок этот ни я, ни Павлик не могли написать. Адресок этот можно только рисовать. Иероглифами. Да-а...

Но расскажу по порядку.

Военная служба свела нас обоих еще весной 1942 года. Я был тогда в таком чудном воинском звании — интендант третьего ранга. Это по-теперешнему вроде будет капитан интендантской службы. В общем капитан. А капитан — это же начальство. И довольно внушительное. А начальство ж — оно само воевать не может. Раз есть начальство, должно быть и войско. Так? Какое же начальство без войска? Так вот, какое я был начальство,

такое у меня было и войско. Войско мое было вот такого росточка, было моему войску всего семнадцать лет, и звали мое войско Катюша. Не та реактивная знаменитая «катыша», а просто Катя, Катенька, комсомолочка. Зеленая-презеленая.

Еще весной 1942 года получил я задание — прыгать на парашюте в Брянский лес. А происхождение этого приказа и первого и последнего моего прыжка следующее: уже зимою 1941/42 года на фронт все чаще сведения стали поступать о действиях партизан в Брянском лесу. Сколько их там и кто там особенно лихо орудует, было еще неизвестно. Связи не было. Здорово организовали в начале войны партизанское дело в этих районах. Вот только рацию оставить не догадались. Или позабыли. Советские люди, руководимые коммунистами, разворачивали там боевые дела. На полный ход. Но сведения были неточные. Какого немца ни поймают фронтовые разведчики — все, как один, говорят: «Брянский лес? У-у-у!.. Брянский лес нет хорошо! Брянский лес — партизанен пу-пу-пу...» Это значит — стреляет партизан из леса. А вот радиосвязи с теми, кто это «пу-пу-пу» делает, никакой нет. Нельзя ни приказа ему дать, ни самолет ему выслать. Вот вам и «пу-пу-пу»... А какая это война без связи?

И командование решает весной сорок второго забросить в Брянский лес несколько групп радистов. И я в числе прочих получаю такое же задание — выбраться в Брянском лесу. Дело ясное, и не стоило бы о нем особенно распространяться. Но сложность вся вышла по причине, так сказать, авиации.

Крупных самолетов было тогда не густо, и предназначались они для более важных дел, поэтому лететь мы должны были на «У-2». Машина эта, конечно, знаменитая — кукурузником ее звали, — но грузоподъемность у нее, всем известно, небольшая. А я дядя грузный. Летчик Кузнецов долго ходил вокруг меня. Оглядывал со всех сторон, взглядом шупал. А потом и говорит:

— Таких двух не повезу. Потолка не хватит...

— Вот те раз... Какой тебе еще потолок нужен?

— Фронт на большой высоте перелетать надо. Иначе собьют.

Короче говоря, выбирали мне войско по одному толь-

ко признаку: по весу. Выбрали радистку са-а-амую маленькую — вес сорок два килограмма и семьсот или семьдесят граммов. Граммы уже забыл, а вот что сорок два килограмма весило все мое войско, хорошо помню.

Дали нам тренировочный прыжок. Высшее образование мы в течение пяти суток прошли. И хорошо, что не больше, а то заучились бы совсем. Окончательно. В течение пяти суток толковали все об одном: бойтесь речек, бойтесь кустов, бойтесь домов — под кустом фашист, за трубой немец, в сарае фриц... А в ночь на 13 июня 1942 года с Елецкого аэродрома поднялся самолет «У-2», имея на своем борту и начальство и войско. Долго Кузнецов наш карабкался вверх, набирал высоту. Потом взял курс на запад. Через сорок минут стали перелетать мы линию фронта. Вам может показаться, что это героизм — линию фронта перелететь? Никакого героизма здесь нет — везут тебя, как кота в мешке: сиди и не мумыркай. А если собьют самолет — ничего не попишешь.

Вот провести самолет, фанерную эту хрупкую пташку, так, чтобы его и не заметили, — вот это мастерство. Только не наше, а летчика.

Перелетели мы линию фронта так, что ни я, ни Катя и не заметили. Летим дальше. Часа полтора уже над вражеской территорией. Потом земля почернела, самолет стал кружить. Определили по времени, что под ногами у нас Брянский лес. Тот самый Брянский лес, в котором быллинный Соловей-Разбойник когда-то свистал, ужас наводил, тот самый Брянский лес, вокруг которого Николай Щорс свои полки повстанческие собирал. Но, признаюсь вам по правде, нам тогда не до былин и не до романтики было. Сидим в самолете и ждем. Летчик дает команду: «Приготовились. Пошел!»

Не успели мы эту команду выполнить, как уже совершили ошибку. Прыгать должно было нас трое — я, Катюша и мешок с сухарями. В чем же была ошибка?

Недели две потом меня партизаны за нее шпыняли. А дед один так и ходил первые дни вокруг меня вьюном. Глиняная казацкая трубка у него в зубах. Чубук вишневый. Борода, как хвост бездомной собаки, хрипатый такой. Долго приглядывался, а потом:

— Слышь, товарищ начальничек, дай закурить.

— Да я некурящий, — говорю.

— М-м-угу-у? А в мешке чего? — недоверчиво спрашивает.

Въедливый такой, настырный.

— Сухари, — отвечаю, чтоб отвязаться.

— Сухари-и-и? — уставился он на меня.

Как на новые ворота глядит. А потом как затянется своей трубочкой, словно яичница на сале в ней жарится. Пощупал мешок, на меня презрительно поглядывает. А потом и сказанул:

— Ну кто тебя, умника, хоть ты и капитан, надоумил? К партизанам с сухарями прыгать! Это ж надо же... Видишь, чего курум? Дубовые листья с кизяком пополам. Эх, милоч, кабы ты махорки привез мешочек, я бы тебя года два бесплатно кормил бы. За одну затяжечку я б тебе во по какому куску сала отрезал бы. Или колбасы, или картохи-мячки... Чего хошь отдам за настоящую затяжку... Тьфу!.. А он с сухарями прыгает. Нет, не пойдет у нас дело с таким начальством.

Тут я и понял, в чем заключалась моя ошибка. Не сухари, а махорку надо было везти с собою в Брянский лес. И соль тоже.

Но была еще одна промашка. Более крупная.

Еще не успели мы приземлиться, как сделали вторую ошибку. Чуть не стоила она одному из нас жизни и не сорвала задание. Вот дает команду летчик: «Приготовились. Пошел!» Кто из нас должен прыгать первым? Мешок с сухарями? Ясно. Он же сам не прыгнет. А кто должен прыгать вторым? Тут обязательно возникают разногласия: кто говорит — начальство, а кто — Катя. Ну, когда женщины говорят — Катя, это я еще могу понять: женщины — это корпорация дружная. Да и действительно, в Великую Отечественную войну женщины показали себя. Как никогда. Среди них есть и Герои Советского Союза, и летчики, и артиллеристы, и танкисты. И партизанки, конечно. Но когда кто-то из мужчин басит: «Катюу-уша-а...» — это уже ни в какие ворота не лезет. Или, может, в нем заговорило чувство вежливости? Женщину привык пропускать вперед! Но это не на балу, не в клубе, не на гулянье. Это же тыл врага, а не мирная обстановка, друзья!

• Так кто же все-таки должен был прыгать вторым? После мешка с сухарями?.. Начальство? Вот я и прыг-

нул. Это и была вторая наша ошибка. А почему? Да потому... Но чтобы выяснить, почему это было неправильно, вы должны бы мне задать вопрос: а куда дул ветер? Пользуясь парашютом, первым долгом нужно знать, куда дует ветер. Конечно, в южной степи или на бескрайнем льду на Северном полюсе, там это неважно — прыгай как попало, все равно на землю или лед приземлишься. Но если прыгать на поляну да среди дремучего леса, где нужно более или менее точно сесть, там обязательно надо знать направление и силу ветра. А мы этого как раз и не учитывали. Да и не учили нас этому. А что получилось? Самолет летит на запад, и ветер дует туда же. Первым пошел мешок с сухарями, а вторым пошло начальство. Груз порядочный. Пошло прямо в центр поляны. А третьей по счету прыгнула Катя. Поляна была всего километра два с половиной. А радистка ведь легонькая. Поляна уже кончалась, когда ей черед пришел прыгать. А ветер-то дует. Ее на лес и понесло. Села наша Катюша далеко в лесу на огромную сосну. Да еще запуталась в стропах. Повисла вниз головой. Висела, висела — вынула финку и обрезала стропу, которая вокруг ноги ее обмоталась. Ее крунуло как следует, ударило об ствол или об сучок какой-то, потеряло мое войско сознание.

А я в то самое время, как приземлился, парашют свой быстро собрал. Моя забота была одна: Катю-то я найду, а мешок с сухарями? Я еще в воздухе засек азимут, и как только сел, по компасу сразу его искать кинулся. Спрятал это добро в кустах и стал прислушиваться: нет ли где врага? Великая ночная тишь стояла в лесу. В ушах только легкий писк после полета, словно комариный звон. А так — тишина. Где-нигде пискнет пташинка да зашущукается, с ветром обнявшись, самая высокая сосна. Стал я похрабрее поворачиваться. Как-никак, а приземлился хорошо. И часть моих обязанностей выполнена. Все идет по плану.

Теперь остается искать Катюшу. Эта процедура мне казалась делом самым легким. Мы договорились с ней заранее. Как искать будем друг друга в тылу врага? Немцы тут могут быть под каждым кустом. Не будешь же кричать: «Катю-у-ша, где ты?» Так? Еще перед вылетом, на Большой земле, мы условились не кричать, а крякать и квакать. Купил я в охотничьем магазине два

манка: себе взял крякву, а Кате — что-то вроде лягушки. Я, мол, буду крякать, а ты — квакать. Естественные в природе звуки издавать. Так мы друг друга и найдем. Не подавая человеческого голоса. Полевая конспирация, так сказать.

Когда спрятал я мешок с сухарями, вспомнил про эти манки. И уже спокойно вынимаю крякву. Крякнул раз, крякнул два — жду ответа. А мне никто в ответ не квакает. Оказывается, что в это время Катюша была без сознания. Крякал я, крякал — нет ответа. Что делать? Я — в лес.

А Катюша в это время и пришла в себя. Тоже слушала — нет ничего. Только вершины сосен шумят. Надо до земли добираться. Глянула вниз, и показалось ей в темноте, что до земли метра три-четыре. Сбросила она лямки и ухнула. А оказывается, до земли лететь пришлось еще метров тринадцать-пятнадцать. Ее спасло только то, что сосна была уж очень разлапистая. А потом это же дремучий Брянский лес, множество гнильи и хвои на земле. Ковер такой мягкий. Но все же сломала она себе правую руку, повредила позвоночник. Утром нашли ее партизаны. Лежала без сознания. Под той же сосной.

На следующий день потирает довольно руки комиссар отряда.

— Надо вам выходить на связь, — говорит командир. — Ох, и повезло нам с вашей рацией!

— Пока трудно сказать. Если рука у нее всерьез переломлена...

— А вы, товарищ капитан?

— Я на рации не работаю.

— Так какого же черта... таких присылают? — спрашивает комиссар.

«Вот так, встречали хорошо, кормили сытно, а теперь... Ну и ну... Куды дальше повернут?» — думаю. А сам помалкиваю.

Еще через день подходит комиссар и решительно так:

— Прибыли радисты — надо работать. Мираж какой-то. Рацию выбросили, а работать на ней некому.

Глянул я на часы. Через четверть часа сеанс. Не выйдем на связь, будут считать на Большой земле — мы погибли.

Растянул антенну. Помог Катюше наладить рацию.

Надел ей наушники. Она в лубках из коры липовой лежит. Тихо спрашивает:

— Который час?

— Без трех минут два.

— Включайте.

Она глаза закрыла. Слушает. Губы сжала, лицо побледнело.

— Есть позывные? Позывные фронта есть?— спрашиваю.

Она только ресницами хлопнула: «Есть!»

— Стучит...

Объясняю командирам, что вокруг собрались:

— Пять минут будет фронт нас вызывать. Следующие пять минут будут нас слушать. Наш ответ. Пять минут прошло, Катенька.

Она широко открыла глаза. Сесть попыталась. Я по ее глазам вижу: фронт перешел на прием.

— Поддержите меня. Спустите ноги. Дайте ключ. Положите на колено.

Держу я на ее колене ключ. А она протягивает раненую руку, пытается ключом позывные отстучать. Вдруг как крикнет от боли. И упала на руки партизан. Без сознания. Снял я наушники с ее головы. Послушал— стучает фронт. Посмотрел на радистку, а она вопросительно и с укором на меня как глянет. По сердцу прямо полоснуло.

— Не могу работать,— шепчет.

— Работай левой рукой.

— Почерк не тот... Не примут мою радиограмму.

Оказывается, у них и почерк свой есть!

Вот такая заковыка получается. Из-за того, что не узнали мы, куда ветер дует.

— А сколько же тебе времени надо? Чтобы почерк выработать?

Подумала Катя.

— Полтора месяца. Самое меньшее — месяц,— говорит.

Рассказал я о таком затруднении командиру и комиссару отряда. Нахмурились. Молчат. Вижу — возникает из-за этого срока у них недоверие к нам. Определенное. А особист из четвертого отдела там был, такой сурьезно-подозрительный товарищ, так тот шепчет командиру на ухо:

— Наверное, придется обезоружить и взять под охрану.

Шепчет, а мне-то слышно. Может быть, в шутку, а может, и всерьез. Стали в наших сухарях и питании для рации рыться. Саму же рацию прибрали. В общем попали мы с Катькой моей на подозрение.

«Как же их разубедить?» — думаю.

Но тут дело рассосалось само собой. Выручила газета «Правда» за 13-е число. Сунул я ее в карман перед полетом и забыл. Газета была совсем свежая. Когда же дело до обыска дошло, нашел ее тот сверхбдительный товарищ. Комиссару подает. А вот как схватил газету, так глазами в нее и впился. Как родного батьку увидел.

— Ну, брат, спасибо! А то мы уже совсем было решили, что вы шпики. Но раз газетка свежая... Теперь мы по этой газете политчас проведем. Во всех взводах и ротах.

Поднялся у нас с Катюшей дух. И моральная ответственность тоже выросла. Радистка моя десять суток подряд не спала. Только на два-три часа вздремывала, не больше. «Вырабатываю себе почерк. Лево́й рукой».

А на десятые сутки говорит командованию:

— Могу выйти на связь.

— Попробуем,— говорит сверхбдительный товарищ, но ехидно улыбается.

Радиограмму нашу приняли. Но все же в конце сеанса радист что-то заподозрил. Спрашивает:

— Что у вас случилось? Отвечайте немедленно.

Вот тут наша Катюша и сдрейфила. Глазенки открыла, глядит на всех нас не моргая... Чуть не плачет.

— Спрашивают, что случилось. Спрашивают. Что же мне делать? А?

— Что делать, чудачка?— отвечает комиссар.— Надо говорить правду.

Так и отстучала Катя наша: «Сломала себе правую руку, работаю левой». Там, видно, посоветались, а потом говорят: «Отвечайте на все, что спросим!!» И давай задавать всякие каверзные вопросы. Сначала мне: где я родился, в какой губернии по старому делению это село, и то, и другое, и пятое, и десятое... Полный экзамен. Видно, моя анкета у них перед глазами была,

не иначе. Значит, высокое командование вопросы задавало.

Потом стали Катюшу экзаменовать. Это, видно, уже радист старался.

— Ты кто? — спрашивает.

— Катя.

— Номер комсомольского билета помнишь?

— А как же? — ответила без заминки.

— А с кем работаешь? Меня узнаешь?

— Узнаю. С радистом Васей.

И задает он последний каверзный вопрос, причем вопрос глупый даже:

— А ну-ка, скажи: в последний раз перед вылетом сколько было окон в той комнате, где ты стояла рядом с радистом Васей? Отвечай, сколько окон?

Катюша улыбнулась. И стучит:

— Вот арап какой ты, Вася. Я не в комнате с тобой виделась, а на углу улицы. Я стояла на углу Пушкинской и Гоголя. Напротив райкома комсомола. Понятно?

— Молодец, Катя! — стучит. — Вопросов больше нет.

Удостоверились, значит, что это действительно радистка Катюша.

Воевала наша Катюша в Карпатах. Была ранена там. Четыре правительственные награды имеет. Из Карпат эвакуировали мы ее на Большую землю по ранению. Лечилась где-то недалеко от метро «Сокол», в партизанском госпитале. Обрато в наш отряд она не вернулась. В других отрядах воевала.

Когда мы с Павликом Григорьевым стояли возле карты нашей родины и я давал ему адреса, у меня адрес Катюши тоже был.

А вот сейчас Катерина наша Михайловна уже окончательно вернулась на родину. Живет в Москве. Кроме четырех правительственных наград, полученных в нашем отряде, у нее еще один боевой орден добавился.

Но, как говорится, ордена орденами, а девушкам и замуж выходить надо. А так как она дивчина геройская, то она и в этом отношении не зевала, мужа с собой из дальних краев привезла. Непонятно, как это бывает: сама вот такая маленькая, а мужа раздобыла — ну, коломенская верста! Я посмотрел, посмотрел на эту пару — диву дался.

— Катюша,— говорю,— где ж ты себе такого мужа раздобыла?

А она смеется:

— На Тихом океане...

— Ну, разве на Тихом... такие вырастают...

Подумал я и говорю, уже с подковыркой:

— Имею рационализаторское предложение к вашей семейной жизни.

Ну, тут ее женское любопытство и не выдержало.

— А какое? Какое?— заинтересовалась Катюша.

— Ты своего муженька, как складной ножик, вдвое складывай. Тогда вы как раз будете друг другу по росту.

Смеются они.

— Ну, а раз замужем, так уж и дети есть?

— Закон природы, куда денешься!— отвечает ее долговязый мужик. — Уже двое. Старшая девочка в школу ходит, в первый класс. И мальчонка тоже подрастает.

Тут и призадумался я. Вот оно как. Бежит время. Стоит передо мной женщина. Знакомое лицо. Но это уже не та Катюша — мое первое партизанское «войско», семнадцатилетняя комсомолка. Это уже солидная женщина, мать семейства. И по внешнему виду Катюша уже не та. Нет, не та, не та. В вышину она, конечно, не выросла, но вширь раздалась. Не могу я дать точных справок о ее настоящих весовых данных. Прежде был я ее начальство, и знать все, вплоть до веса ее, входило в мои служебные обязанности. А сейчас? Знаете, чужих жен взвешивать — это же дело скользкое и не совсем, можно сказать, безопасное. Поэтому я на глазок определяю... где-то под семьдесят пять килограммов подходит.

Мы с Катюшей по этому поводу не раз шутили. Она над моим «трудовым мозолем» тоже подтрунивает. А затем уже без шуток договорились, что утешением в нашем весовом состоянии является то, что живем мы в такое время, когда никуда нам прыгать не надо.

Ни мне, ни Катюше.

А потом подумали и решили, что если бы даже и пришлось прыгать, так теперь есть у нас такая авиация, для которой килограмм больше или килограмм меньше, как это было в 1942 году, уже никакого значения не имеет.

ЛЮБОВЬ ПАРТИЗАНСКАЯ

Писал я свою «Войну без флангов» по горячим следам войны. И как водится, книгу на всяких литературных вечерах и диспутах горячо обсуждали. Ну, и конечно мнения расходятся: одни говорят — хорошая, другие — плохая, одним интересно, другим не очень. На всех не угодишь. Но поскольку она просто книга и автор не определил ее жанровых признаков, то мнения еще больше разделились, одни говорят — роман, другие — повесть, а третьи просто руками разводят. И стал я постепенно замечать одну характерную особенность: мужчины больше называют книгу романом, а женщины, и особенно девушки, — повестью. Наконец, очень четко жанр определила одна бойкая девушка с Трехгорной мануфактуры. Выступала она после одного записного оратора и так смело говорила, словно челнок в машине, у нее язык привешен:

— Какой же это роман, как говорил предыдущий оратор! И никакой он не роман, так как ничего в нем нет о любви...

«А ведь, правда, нет», — подумал я. И призадумался, почему же ничего нет? Может, потому, что столько было боевых дел, о стольких людях — и погибших и живых — надо было написать, что как-то не вспоминалось об этом. А потом думалось и так: напишешь все, как было, а какой-нибудь придирчивый читатель из ниги-

листов скажет: «Вы только поглядите — они там не воевали, они любовь крутили...» Есть такие, что ко всему рады придраться.

А любовь у нас была. И влюблялись и женились. И свадьбы справляли. Ведь подумайте, три года в тылу врага; кто был молод — подрастал, юноши мужали, а кто старше — старился.

Но сначала расскажу вам о любви возвышенной, нежной и, можно сказать, даже музыкальной.

Был у нас такой разведчик Миша Ария. Настоящая фамилия его была Демин, но разведчики звали его Ария. Думаю, вы уже догадались, почему — потому что голос у него был замечательный. Здорово песни пел и арии из всяких опер или оперетт.

Парень был смелый, мужественный, из первоклассных разведчиков. Но был у него в связи, может быть, с его музыкальной, одухотворенной, так сказать, натурой, один недостаток. Очень уж влюбчив был Миша Демин. Но влюбленность его всегда приобретала особые формы. Храбрейший с врагом, перед партизанками он становился невероятнейшим трусом. Ну, до того несмел с девушками, что просто беда и даже позор. Если попадала в отряд новая дивчина, да еще не дай бог хорошенькая, ну, просто невесть что с парнем делалось. Ягненок, да и только. Но песни поет — заслушаешься. Только один был у него как у певца недостаток: никогда по заказу не пел. Бывало, просят хлопцы: Мишка Ария, спой. Ни за что. Тогда ребята наловчились. Когда им охота концерт послушать, подходят к нему, показывают на какую-нибудь из партизанок покрасивее и говорят:

— Мишка, а ты заметил, как она на тебя глазом стрельнула?

— А как? — спрашивает Ария.

— Ну как, за такой взгляд полжизни отдать можно!

И уже хлопцы знают наверняка: не пройдет и пяти минут, как будет Миша кругом по лесу или по кустикам ходить и арии распевать. И действительно, пел — так уж пел! Заслушаешься. Ну, просто чистый соловей, даже глаза закрывает, когда рулады выводит. Конечно, пока Миша арию поет с закрытыми глазами, хлопцы, кто пошустрей, дивчину уведут, а он, когда схватится, — прямо побледнеет от досады, а может, и ревности. Ходит, как в воду опущенный, хмурый, печальный, мне

даже на него жалко было глядеть. И я его так успокаивал:
— Мишка,— говорю,— Ария ты наш дорогой, не печалься, не горюй. Кончится война, ты только меня разыщи. Я уж как-нибудь тебя в консерваторию устрою. Станешь оперным певцом. С твоим талантом это я уж тебе наверняка обещаю. Будешь, как Козловский или Лемешев. Так девчата тогда табуном за тобой будут бегать!

— Ну да?— печально отозвался Мишка.

— Конечно же! Сам видел, как у Лемешева один раз калошу такая восторженная поклонница утащила.

Но плохим я оказался прорском. В одном из последних боев на Немане — да и боя там по существу никакого не было — стояли мы на берегу реки. Человек пять командиров, ординарцы, конные разведчики. Группа человек пятнадцать. И Мишка стоял немного в стороне. И откуда она прилетела, проклятая, шальная пуля? Даже и выстрела никто не услышал. Так просто стоял Мишка Ария и вдруг упал. Подбежали — готов. Прямо в голову, наповал. Вот вам и весь сказ про возвышенную и нежную партизанскую любовь.

Правда, больше была любовь не возвышенная, но нежная. Просто сходились и женились и детей рожали. Был даже такой случай, что одна наша партизанка умудрилась: над линией фронта на высоте 3700 метров партизаненка родила.

Об этом случае рассказала мне знаменитая летчица Валентина Дубовязова, командир авиационного полка, который в основном работал на партизан. Та самая Дубовязова, что знаменитые рекордные полеты совершала в предвоенные годы. Об этом все знают. А вот о том, что она в годы войны полком дальней авиации командовала, может, многим и неизвестно.

«Это было весной или летом 1943 года. Время самое активное. Каждую ночь весь полк в расходе, — рассказывала Дубовязова. — Отдельными самолетами или мелкими группами экипажи выполняют боевые задания: одни — в Прибалтике, другие — в Белоруссии, третьи — на Украине. По всему вражескому тылу действуют, с вечера разлетаются через фронт. В первую половину ночи веером расходятся. На карте у начштаба маршруты полка, как паутина, во все стороны — на северо-запад, на запад, на юго-запад нацелены. А после полуночи все паутинки об-

ратно стекаются. А летные ночи короткие. Работа была напряженная. Партизаны ждут нашей помощи. Целый месяц мы работали на пределе сил человеческих и технических ресурсов машин. Тут всякое бывало: и потери, и неувязки, и больше всего бессонных ночей.

Выдалась как-то одна ночка более спокойная. В первой половине все шло хорошо налаженным порядком. После двенадцати докладывает начштаба полка:

— Все самолеты фронта пересекли благополучно. Хорошо прошли к своим целям. Кто на аэродромах полевых у партизан, некоторые обратно возвращаются.

Во второй половине ночи докладывают по одному рапорту: один самолет перелетел линию фронта, другой, третий.

Все идет хорошо. Появилась надежда летную ночь пораньше и без всяких чепе закончить. И подумала я, грешным делом: «Немного раньше уеду домой, отдохну после напряженной работы». Ведь к утру снова на аэродром — надо готовить людей и машины на следующую ночь.

Последним должен был вылетать из тыла врага экипаж самый боевой. Летчика Таранца. Он погиб уже после войны. В 1949 году. На охоте.

Очень хороший экипаж. Самый безотказный. На самые трудные и рискованнейшие задания ходил.

Но был у этого экипажа один недостаток.

Посмотрела на меня товарищ Дубовязова как-то укоризненно-ласково — и говорит ни к селу, ни к городу:

— И что вы за люди — партизаны?! Обязательно подведете! Не могут они, чтобы летчику не подсунуть в машину с ранеными несколько бутылок. Со шнапсом. Или перваком. А у тех какой характер? Никак эти бутылки в целости довести не могут.

Я им говорила не раз, ругала:

— Раз уже у вас такой характер, вы сперва посадите самолет, поставьте на место, а дома пейте сколько угодно.

А потом их и по партийной линии протерли с песочком.

И вот в эту самую ночь, когда я передохнуть решила, жду последний рапорт. От экипажа Таранца. Они обязаны давать радиограммы: первую — когда поднялись с посадочной площадки партизан, вторую — когда перелетают линию фронта. Ну, и когда подходят к базе полка. Решила так: «Все же подожду. Перелетит Таранец линию фронта — и поеду, а рапорт начальник штаба примет».

И вдруг прибегает начальник штаба, встревоженный. Вижу по глазам — что-то случилось. Неужели Таранца подбили? В руках у него две шифровки.

— Товарищ командир полка! Непорядок. Две радиogramмы от Таранца. Смотрите.

Выхватила я у начштаба из рук шифровки. Читаю первую: «Поднялись с Ковалевского аэродрома. Экипаж весь полностью, на борту двадцать три пассажира».

— А теперь прочтите следующую, — шепчет начштаба полка.

Читаю: «Перелетел линию фронта. Экипаж полностью. На борту двадцать четыре человека». Подпись «Таранец».

Задумалась я: что такое?..

— Может быть, посадку делали? На промежуточной площадке... Может быть, у белорусов садились? Как Радугин тогда с товарищем Демьяном... Помните? Запросите,

— Запросил уже, — отвечает начштаба.

— Ответили?

— Да. Не садились.

Вот задача. Смотрю на начштаба, а у него даже лицо какое-то виноватое.

— А может быть, радисты напутали? — ищу какой-то разгадки. — Может быть, ошибка? Опечатка, так сказать...

— Нет, товарищ командир полка. Сегодня ошибки быть не может. Сегодня у нас дежурит Наташа Золотые Ушки.

Была у нас радисточка одна. Снайпер. В самых трудных условиях отлично работала. Ни грозовые разряды, ни расстояние ей не помеха. Чуть слышно, а она глазки крепко зажмурит и комариный писк морзянки разберет — обязательно связь даст. И всегда безошибочно. Сейчас консерваторию оканчивает. Если для музыкантов абсолютный слух — дар природы неоценимый, то для радистов тем более. Тут часто жизнь экипажа, машины, пассажиров от уха радиста зависит. Вот и прозвали ее летчики: Наташа Золотые Ушки.

— Ну, раз так, ошибки действительно быть не может. Но в чем же тогда дело?

— Перепились, небось, — высказывается осторожно начштаба, — вот у них в глазах и сдвоилось.

— Все ясно, — говорю. — Откладываю поездку до-

мой. Буду ждать. Вызовите замполита. Не помогло им первое внушение. Придется к ответственности привлекать.

Знаю, что Таранец уже летит над нашей территорией. Уже солнце взошло. А я злая. «Ну, — думаю, — дам им жару!»

Так рассказала мне Дубовязова начало этой необычной истории.

Таранец тоже рассказывал мне ее. Но по-своему;

«Ночь была темная, облачная. Для полета через фронт самая подходящая. Летим, не горюем... Вот и придумали мы эту штуку с пассажирами. Собственно говоря, не мы, а вы, партизаны. Кто из вас состряпал ее — неизвестно. Мы его только разыграли, этот небывалый в авиации факт. Да и формально мы правы. Но факт, как говорится, налицо. Наше дело — сообщить командованию. За это дело алименты платить не будем. Стало светать над фронтом. Перелетели хорошо. Шли часа полтора над своей территорией... Подхожу к аэродрому. Вижу — мчится автомашина командира полка. Прямо взлетную площадку пересекает. Режет мне посадку. Делаю разворот. Она уже доехала. Выскочила».

Я понял, что хлопцы здорово боялись своего командира полка. Это мне и начштаба подтвердил.

Но рассказывал Таранец спокойно. Весело. Когда же стал по-летчицки руками изображать, как он разворот делал, смотрю на него: здоровенный дядя, а глаза все же испуганные.

«Иду, значит, на посадку. Гляжу, наша Дубовязиха возле машины своей — взад-вперед, взад-вперед. Только юбка по ветру развеивается. Говорю ребятам:

— Что-то случилось. Гляди, хлопцы, в оба! Посадочку мне — как по ниточке.

Посадочку совершили, как полагается. Сели. Подрулили.

И дальше вообразите себе такую картину.

Я докладываю:

— Товарищ командир полка, боевое задание выполнено.

А она мне в ответ:

— Нагнись! Дыхни!

Ну, я дыхнул,

А она:

— Еще раз!

Я опять дыхнул. Она пожала плечами.

— Построить экипаж!

Это дело нетрудное: весь экипаж — четыре человека. Подходит к каждому:

— Дыхни!

Каждый честно дышит, как на физзарядке, — ничего. Смотрит на нас комполка, а потом вынимает две радиogramмы.

— Какая из них правильная?

Но я держусь, виду не показываю.

— Товарищ командир полка! Обе правильные.

— Читай!

Я наизусть читаю: «Поднялся с партизанского аэродрома. Экипаж весь полностью. На борту двадцать три пассажира».

— А эту...

Ну, я опять читаю: «Перелетели линию фронта. На борту двадцать четыре пассажира».

— Посадка была?

— Никак нет, посадки не было.

— Что вы? Дурачиться вздумали?

— Нет, товарищ командир полка... — И засмеялся.

А сам показываю ей на машину. Из люка самолета как раз выносят на носилках раненых одного за другим. А последние носилки — на них роженица. И рядом новорожденный. Партизаненок!

— Родился над линией фронта, в воздухе, — рапортую. — На высоте три тысячи четыреста метров...»

— Вот какие дела, товарищ Горевой, у вас случались, — говорила, смеясь, мне Дубовязова.

А вы говорите, не было любви... У партизан? Ого... Такие молодцы!

И тут я должен признаться в своем упущении: не выяснил ни у Дубовязовой, ни у Таранца, ни у начштаба, как же все-таки записали в метрическом свидетельстве? Где родился этот человек? Ведь полагается указать в метрике место рождения. Может, догадались написать: «Родился в воздухе над линией фронта во время Великой Отечественной войны. На высоте три тысячи четыреста метров».

Обидно, если не догадались.

СЕСТРА ЛЮБВИ

Но не только любовь была у нас, у партизан. Была и родная ее сестра. Ревность.

А может, она двоюродная? Не разберусь я в этом родстве никак. Просто расскажу вам случай с этой самой сестрицей любви, а вы уж сами разбирайтесь. Так как я в этом самом деле лицо, можно сказать, заинтересованное. Из-за этой самой ревности и мне на орехи попало. Вроде к этим любовным делам я совсем и не причастен... А все же и мне досталось.

Опять виновата моя неопытность и эта самая литература «бывалых людей»...

Вот пишешь о живом человеке... Ну хорошо, если пишешь о нем одно только хорошее: даже если и приврешь кое-что, никто опровержений не пишет. А попробуй-ка о живущем, настоящем человеке написать что-нибудь против шерсти! Даже в стенгазете. А если в книге?..

Тут еще надо иметь в виду... Но расскажу-ка все по порядку.

Речь пойдет о нашем командире кавалерии (это тот, у которого архивариус наш начальником штаба был) Усаче. Был у нас такой Леша Пенкин, по прозвищу партизанскому Усач. Потому что пышные буденновские усы носил. Настоящий конник. Между прочим, в настоящее время тоже Герой Советского Союза. И вот, несмотря на то, что я ничего такого позорящего его не писал, он все же на

меня смертельно обиделся. И все из-за этой распроклятой двоюродной сестры. Ну да. Когда до него очередь дошла в «Войне без флангов», то я решил описать его как-то по-особенному. Подумал: нельзя писать про всех одно только героическое. Все надоедает, часто повторяясь, даже самые распрогеройские дела. А за этим Усачом столько лихих атак, и засад, и налетов — и все красиво, с лихим таким видом. Поэтому решил я дать его во весь богатырский рост. Во всем многообразии, так сказать. Слышал, что писатели обязательно так делают. Словом, даю его литературный портрет в полном соответствии с принципами социалистического реализма. Тем более, что наш кавалерийский герой казался мне для этой цели очень подходящим.

Расписал я его что надо. И, конечно, все его подвиги и геройства на первом месте. А затем остановился на его внешности. Тут тоже было, что живописать. Ох, какой же это был красивый мужчина-а-а! С тонкой кавалерийской талией! А какие у него были красивые кавалерийские усы! Как у Буденного. Каштановые, пушистые... Бархат прямо. А глаза карие, блестят. Огонь, а не глаза. Вот небось девушки читают это описание и улыбаются. А вы себе представляете, как улыбались наши девчата-партизанки, когда видали этого героя в натуральном виде... Во всей его кавалерийской красе!

Описывая впервые все это, я не удержался и, будучи реалистом, написал, что Леша Пенкин и по вашей части, девушки, был не дурак. Ей-богу! Так и написал.

И было это напечатано в журнале «Заря». Первый раз в жизни меня напечатали! Представляете себе мою радость? А ведь, кроме радости, еще и гонорар положен. Вот как!

Словом, на свой первый гонорар купил я 350 экземпляров журнала «Заря» и терпеливо сидел ночами, выводил на каждой теплую товарищескую надпись. Разослал всем своим боевым друзьям, чьи только адреса имелись под рукою. Писал в разных вариантах примерно следующее: «Боевому другу (такому-то...) на память и с уважением... или любовью... автор... и т. д., и т. п.» В общем, как полагается культурным людям. Послал книжку и Леше Усачу.

Прошло четыре года. И вот приезжает Леша в Москву. Настроение было у меня плохое, книжку мою в это время

здорово ругали. Да... Узнал я от одного нашего партизана, что Леша в Москве.

— Почему же он ко мне не заходит? — спрашиваю как-то товарищей наших партизан из тех, что в Москве живут. — Лешу Пенкина видели?

— Видели.

— Чего ж он не зайдет? Не позвонит?

— Да он, товарищ Горевой, зуб на вас имеет.

— Какой зуб?

— Какой-то литературный зуб. Говорит: «И не пойду к нему».

— Нет, — говорю, — ребята, так не годится. Вот моя просьба, или, если хотите, последнее боевое задание: Лешу мне доставить. Просьбой, хитростью, обманом — чем хотите, но доставить ко мне...

Ребята постарались, и дня через четыре смотрю — идут: двое по бокам, Усач посередине. И все трое трезвые. Хмуровато так поздоровались.

— Садись, — говорю.

Сел. Молчит.

— Так и будем дуться, как мышь на крупу? Выкладывай уж, в чем дело.

— А что, правду говорить?

— Конечно. Что мы, дипломатничать с тобою будем?

— Ну, если так, то я прямо скажу: несерьезным вы делом занялись после войны, товарищ Горевой. Если уж делать было нечего, деваться некуда, то на Карпаты подались бы. К нам на Буковину. Я все-таки директор леспромхоза. В крайнем случае по знакомству лесником бы вас устроил, что ли. А то книжки надумали писать!

— А чем плохое дело — книжки писать? Народ читает.

— Да, точно, народ читает. Народу-то что? А что нам приходится терпеть из-за вашей литературы...

— Не понимаю...

— Получил я вашу книжку, да еще с надписью. Для маскировки, что ли, написали. Я товарищам нахвалился. Сдуру, конечно. Смотрите вот, товарищ мой не забыл, с какой надписью книгу прислал! Журнал «Заря». Но книжку как получил, не сразу как-то прочитал. Некогда было. А жинка раньше меня управилась. Прихожу как-то с работы, а она в дверях стоит и шипит на меня, как сова: «Значит, ты, мой дорогой Ле-ш-ш-ш-шенька, клял-

ся мне и божился, что на войне ничего такого не было? А вот что написано?! А?» И открывает она книжку на сто шестьдесят второй странице и сует мне под нос. Так у меня в глазах и зарябило. Все она там понаподчеркивала и синим карандашом восклицательный знак поставила... Это там, где вы писали, что я был не дурак, а красным карандашом внизу поставила три вопросительных знака. А потом свертывает книжку в трубочку и меня по усам. По усам!

— Добре отхлестала?— спрашиваю я растерянно.

А он на меня посмотрел с такой ненавистью, вроде мы и не воевали вместе.

Вот до чего доводит литература эта.

— А по партийной линии как?— спрашиваю.

— Чего?

— По партийной линии она не жаловалась?

— Нет...

— Ну, так чего тебе еще? Обошлось ведь.

— Как обошлось... Полгода пилит каждый день, как электропила новейшей системы.

Тут я и задумался: «Может быть, действительно не стоило заниматься литературой? Ведь не хотел же я подвести своего боевого друга... а вот подвел! И сам попал в неловкое положение!» И стал я выкручиваться. А выкрутиться лучше всего как? Его самого сделать во всем виновником. Я и говорю Пенкину:

— Лешка! Ну, кто ж тебе, дуралею, виноват? Ты чего ж до сих пор молчал? Ничего мне не сообщил. Я бы враз... Я объяснил бы твоей благоверной... как ее зовут?

— Агафья Тихоновна. Сибирячка.

— Я бы ей объяснил: «Уважаемая Агафья Тихоновна. Это же литература. Не всему тому, что в книгах пишут, надо верить. Тут иногда такое загибают... Для художественности...»

Разговор был у меня в комнате. Достал с полки книжку, хорошо изданную, в прочном, красивом, твердом коленкоровом переплете — массивный такой переплет — и говорю:

— Я бы прямо ей написал, что на странице такой-то...

— Сто шестьдесят второй,— буркнул Леша.

— Вот все, что на сто шестьдесят второй странице написано, писалось все для художественности. Хочешь,

я передам ей в подарок книгу? Новое издание. Полное. И письмо напишу — чтобы на такой-то странице она не верила. Так и напишем резолюцию: «Для художественности... Не вер-р-ить...»

Беру ручку, собираюсь посвящение писать, а Усач говорит хмуро:

— Не надо...

— Почему не надо?

— Она уже забывать стала, а сейчас опять — напомнить только... Как раз додумается и по партийной линии начнет. Не надо...

Ну что станешь делать? Добре, видно, его допекла эта литература, что так он ее опасается... Но книга у меня в руке. Куда девать? Протянул ее Усачу.

— Возьми себе ее тогда.

Он руку за спину — не берет.

— Возьми хоть в руку, Леша.

— Ну да, наверно, для художественности еще чего-нибудь накрутил...

— Нет, — говорю, — текст старый. Все как вначале было написано.

Только тогда взял и то с опаской.

— Ну как? — говорю.

Прикинул он книгу на руке.

— Да, кирпич подходящий!

Я говорю:

— Теперь пойми, Леша, какой я тебе лучший друг. Ведь я тогда послал тебе книжку тоненькую, журнал «Заря» и в мягком переплете. А если бы тебя такой книгой по усам погладили?

Он даже книжку на пол уронил. Глаза испуганные. Минуты две жал мне руку и все приговаривал:

— Вот спасибо, вот спасибо, вот спасибо...

Так мы и помирились.



СКУПЕРДЯЯ

Дал я летчику Павлику Григорьеву адрес старика Ивановского Петра Михеича. Был у нас такой краснознаменец, еще в гражданскую войну боевой орден имел. Тоже у Щорса воевал.

И надо вам сказать, что с этим самым дедом Ивановским у меня дело тоже разладилось. И очень даже серьезно. Все на почве этих самых «бывалых людей». Будь она неладна, эта литература! Вышло так же, как с Лешкой Усачом... Но там все обошлось: ему только от жены попало, да и то мягкой книжкой, а я выкрутился. В этой же истории уже автору влетело. Да не мягкой книжечкой, а суковатой палкой. Наш Петр Михеич с нею так и не расстается по инвалидности. Да и по возрасту: ему еще в дни Победы шестьдесят стукнуло.

Надо вам по справедливости сказать, что старик этот замечательный. Вполне ответственный старик. И характером, говорят довоенные друзьяки, был он вполне подходящий. Но испортило вконец ему жизнь интендантство. И жизнь и характер.

Эта война в сорок первом году старого щорсовда под Херсоном застала. В преклонных годах человек был, но для коммуниста старой закалки это не причина.

Воевал он как все. И даже лучше. По опытности он многих командиров превзошел. Это ж вам не дядько Кандыба, обозник, а все-таки уездный комиссар тех времен! Но досталось ему похуже всех Кучерявских. Эту

войну пришлось ему начинать не на Сумщине или, скажем, в Черниговских лесах, а в Днепровских плавнях. Поначалу там шло дело здорово. Но к зиме сорок первого фашисты его отряд из плавней выкурили. Он рейдом на север. В леса. И тут влился к нам. Образовалась из того южного отряда у нас шестая рота. Но вскоре ранили Михеича крепко. Очередью мадьярского станкача ему обе ноги перерезало. С переломом костей. Вот как.

По излечении стал товарищ Ивановский на костыли. Потом с палочкой закульгал. И решили в штабе:

— Надо назначить старика помпохозом. Все легче, чем ротой командовать. Меньше ходить, больше ездить. На санках, на телеге все не то, что в строю.

Объявили ему это назначение. Поначалу он в бутылку полез. Ругается. Боевого командира — и вдруг в помпохозы. Но кое-как уладили. А как обсмотрелся наш Михеич на новой должности, такие порядки навел... Куда там! А прошло еще месяца три, стали замечать земляки, что очень у него стал характер меняться. То был такой щедрый да приветливый. Душа-человек. А на новой должности у него подозрительность какая-то к людям появилась. И скаредность. А к лету сорок второго даже поговорка пошла:

— У этого дядька Петра зимой снега не выпросишь. Потом даже насмешки стали над ним строить. Над его скупостью. А Кучерявский раз возьми и брякни:

— Правильно Суворов говорил — интендантов через три месяца всех стрелять надо. На что был человек наш Петр Михеич — и вот на ж тебе...

Что тут было-о-о!.. Как прослышал про то Ивановский, заявление по партийной линии подал... Еле угомонили старика на парткомиссии. А Кучерявскому намылили голову. За интенданта попало-таки бывшему начальнику базара... А политрук Коваленко даже какую-то диалектику для этого вывел:

— Бытие определяет сознание, — говорит.

И вот я возьми и расскажи несколько случаев с этой его скаредностью в своей «Войне без флангов». Конечно, не по злобе я так писал, а по простоте душевной. Ну, и по неопытности. Не учел я значения этой самой литературы. Думал, что было, то было. Материал есть — садись только и пиши без всякой дипломатии. А из-за этой твоей писанины жёны, оказывается, твоим друзьям

по усам дают. Я уже после того случая с Усачом к теоретикам подался, вроде как за консультацией.

— Как быть? Чем можно помочь?

Они помозговали, пожали плечами и говорят:

— Ничем помочь нельзя. Поздно. Не учли вы силы воображения, преобразования и обобщения. Теперь как-нибудь сами выкручивайтесь...

Утешили. Это я и без них знаю, что надо выкручиваться.

— А может быть, на такого нарвешься, что и не выкрутишься?!

Вот тут как раз получаю я сведения, что старик помпоз, наш Ивановский, до моей книжки добрался.

Даже похолодело мое сердце от дурных предчувствий. Действительно, смертельно на меня Ивановский обиделся.

Впервые узнал я об этом от товарища Карпова. Тоже знаменитый партизан. Этот Карпов после войны в одной южной области на большой должности состоял. И сам тоже бывалым стал. Даже книгу ему написали. Приехал он как-то в столицу фабулу своей книги согласовывать. Встретились мы с ним, он и говорит.

— Алексей Кузьмич, дело твое плохо. Будешь иметь крупную неприятность.

— Какую?

— На литературной почве.

Я было думал, что это об Усаче-Пенкине до него слух дошел.

— Я уже имел,— говорю.

И рассказываю ему, как я ловко выкрутился. Смеется.

— Нет, не то. Это,— говорит,— пустяки. А вот тут будешь иметь покрупнее неприятность.

— Что еще такое? Говори, товарищ Карпов, пояснее. И без всякой фабулы.

Рассказал он мне все подробно.

— Открывается,— говорит,— однажды дверь у меня в обкоме, влетает ваш Ивановский. Злой, аж синий весь, книжку в руках держит и ругается. Да книжкой по столу ка-а-к бабахнет!

«Товарищ Ивановский,— говорю,— ты куда пришел?» А он опять ругается и говорит мне по-украински: «Слухай сюда... Ты читал, що вин тут пыше?» — «Где? Кто пишет?» — «Да в книжке...» — «В какой такой книжке?» —

«Та в «Войне без флангов»... Ты читав?» — «А в чем дело?» — «Не, ты читав, шо вин про мене пыше?» — «А что он там такое пишет?» — «А то пыше, что я скупердяй!» — «Да ведь, товарищ Ивановский, писатели! Что хотят, то и пишут». — «Вот я ему покажу! Писателю...» — «А что ж ты ему сделаешь?» — «А я жалобу на него напишу». — «Куда?» — «А я в «Литературную газету» напишу, я в милицию напишу, я в НКВД напишу».

«Вижу, — говорит мне товарищ Карпов, — что дело серьезное. И говорю ему: «Петр Михеевич! Ну зачем ты так? Кому это нужно, чтоб партизан на партизана дело заводил? Книжка переведена на всякие языки — на французский, греческий, китайский и даже немецкий...»

«И по-немецки есть?» — спрашивает Ивановский.

«Вроде тоже есть».

Эх, как взбеленился тут наш Михеич.

— Так это бывшие хвашисты, которых я бил, теперь читают, что я скупердяй? И надо мною смеются?! Я ж ему покажу!

Тут уже и я убедился, что дело серьезное и неприятности действительно могут быть. Заметил, видимо, мое уныние товарищ Карпов и говорит мне:

— Я пробовал его по-хорошему отговорить. Но сам по себе знаешь, товарищ Горовой, если уж украинец упрется, уговаривать его дело лишнее. Тогда я стал брать его с обходным манером. «Правильно, говорю, пиши. Так ему и надо. Пиши!» А потом закидываю мимоходом: «Только гляди — писать пиши, но осторожно. Там на слово не верят — проверяют».

— А Ивановский что? — сказал я с надеждой.

— «Пусть проверяют, — говорит. — Я тебя, секретаря обкома, свидетелем поставлю. И ты подтвердишь, что все, что там про меня написано, чистая брехня».

Вот тут и похолодело у меня внутри.

— И ты подтвердил, товарищ Карпов?

— погоди, расскажу все по порядку. Не перебивай. Вижу, что и я влип. И толкую ему: «Погоди, мил друг. Нас ведь тоже проверяют. Вот возьмут меня и спросят: «Ивановского знаете?» — «Знаю». — «А автора, товарища Горового, знаете?» — «Знаю». «Расскажите, как с ними познакомились?» И я вынужден буду сказать, что познакомился с вами обоими в апреле сорок третьего года, в тот знаменательный день, когда партизаны деда

Ковалея, а потом и подошедшая наша армада громили на реке Припяти вражеские суда. Помнишь, Алексей Кузьмич, как было дело?

Действительно, как не помнить, был же такой чудной и небывалый бой в истории военного искусства, что пехота, да все партизанская, потопила с десятков пароходов. Как там каша заварилась? Началось с того, что наша разведка получает сведения: из Германии по реке Висле, по Западному Бугу и так называемому Королевскому каналу, по рекам Пине и Припяти Гитлер перебрасывает большой караван судов, что-то в составе двадцати четырех пароходов, что ли. Разведчики, которые ходили на канал, сообщили, что видели своими глазами двадцать четыре парохода. Посылаем разведку поближе, в район Мозыря. Разведчики вернулись и говорят:

— Видели. Пять пароходов.

— А где остальные?

— А черт их знает, куда они делись!

Вижу, надо посылать третью разведку.

Подошел Ивановский:

— Об чем у вас тут?

— Да вот, — говорю, — ставлю задачу. Разведку снова надо посылать. Для уточнения данных.

Петро Михеич и говорит мне тихо:

— Алексей Кузьмич, слухай сюда. А чего разведчики будут ноги бить? Надо уточнить? Так это тебе шо? Океан чи море? Это же речка. А речка течет в одну сторону?

— Правильно, — говорю.

— Так куда ж они денутся? Они все равно до нас приплывут. Мы их потопим. А потом уже и подсчитаем. Так зачем разведку гонять?

Что ж, и в этом есть логика. Стали мы ждать. Утром 16-го апреля показались пароходы. Этот случай уже всем известен, нечего расписывать. Словом, в результате всей этой катавасии гитлеровские пароходы ушли на дно. И вместе с ними на дно ушли и трофеи. А какие были бы мы партизаны, если бы оставили трофеи на дне? Пришлось лезть в воду — кто по колена, кто по шею, а кто с головой.

Вот этот самый случай и напомнил товарищ Карпов Ивановскому и спрашивает его мимоходом: «А вода, помнишь, какая была?» — «Вода, известно, холодная. Апрель

месяц. Неделя только, как лед прошел», — отвечает Михеич, не подозревая подвоха. «Вернулись в село, разожгли костры и стали сушиться. А начальство — оно везде начальство. Оно себя не обижает». Зашли в штабную столовую. «Помнишь, какое было положение?» — увлекшись, продолжал Карпов. — «Мы с моим комиссаром Петровым две недели потом все удивлялись на ваших: где они достали такого скупого помпохоза?»

— Что ж, хйба ж я ужином вас не покормил? — обижается Ивановский.

— Нет, покормить покормил. Но надо же было и погреться. Сам же говорил, вода холодная. И вот достал помпохоз сулею и мне и комиссару моему Петрову стал в стакан наливать. Цедил-цедил, капал-капал... А полный так и не налил.

Карпов мне все это рассказывал смеясь:

— Я это просто так придумал, чтобы со старика пыл сбить. А он поверил. Плюхнулся в кресло, пот на лбу вытирает, побледнел весь. Мне даже его жалко стало. Хотел уже его успокоить: «Ладно, мол, я с тобой шутки шушу». А он открыл глаза и жалобным таким голосом говорит: «От, понимаешь, пидвив менэ характер. Слухай сюды. Ну шо мени було той стакан повный налить? Га?» И поверишь, аж слезы на глазах у него с досады, — хохочет, заливается Карпов.

А мне не до смеху.

— А дальше что? — спрашиваю я тревожно Карпова.

— А дальше? А дальше — встал и ушел. Пришел, как говорят, не поздоровавшись, ушел, не попрощавшись. Книжку твою на столе забыл. Но жалобы, имей в виду, так и не написал. Я у него потом допытывался. «Я, говорит, с ним иначе как-нибудь посчитаюся». Так что ты все-таки держись осторожно... А насчет жалобы — это моя заслуга. И с тебя причитается...

Вот как сигнализировал мне сам товарищ Карпов.

— Но все же, — говорит, — держись, товарищ Горевой. С Лешкой Усачом ты выкрутился. А тут дело, сам видишь, будто посерьезнее...

И вот пришлось мне года через два побывать на великих стройках коммунизма. На Волге. В Куйбышеве встретился кое с какими друзьями по нашей бывшей партизанской жизни. На Волго-Доне тоже повидал кое-кого из

своих. Тех, кто после войны проштрафились... Но об этом потом как-нибудь расскажу.

А оттуда держу курс на Южно-Украинский канал. В Каховку...

Еще не доехали мы до Каховки, слышу всё: «Товарищ Петров да товарищ Петров». — «Кто такой?» — спрашиваю. — «Парторг ЦК великой стройки. Герой Советского Союза».

— Бывший партизан? — спрашиваю.

— Партизан как будто...

Я обрадовался. Парторг ЦК в Каховке, бывший комиссар самого товарища Карпова. Герой Советского Союза товарищ Петров. Въехал в Каховку — и сразу к нему. Встретились. Поболтали на радостях. А потом Петров вдруг вспомнил что-то. Хватает он телефонную трубку, крутит — там еще полевая связь была. Стройка только еще разворачивалась. Назвал номер. Опять крутнул. Поздоровался с кем-то. Хохотнул, пару слов сказал, а потом и пытается в трубку:

— Знаешь, кто у меня сейчас сидит? — Называет мою фамилию.

Только это в трубку произнес, там кто-то как заверещит. Как сталью по стеклу. Петров даже отпрянул. Слышу, как в трубке кто-то очень некрасиво-таки по моему адресу выражается. А как чуть утихло, он трубку обратно приложил к уху... И начался у них странный какой-то разговор: как будто они друг другу по телефону газеты читают: про перспективы, про то, про другое. Я отошел в сторону. Там висела схема стройки. Делаю вид — заинтересовался сильно, да и на самом деле любуюсь, всерьез захватила меня эта грандиозная картина будущего. Но и прошлое тоже не забываю, насторожил ухо и не упускаю их телефонного разговора. Изредка зыркаю на Петрова. Он тоже на меня глазом косит. Я замаскировался.

— Что же ему передать? — спрашивает наконец Петров шепотом по телефону. — Посылать его к тебе или не надо?

Что там отвечают, я уже не слышал.

Положил он трубку и ко мне подходит. И как ни в чем не бывало, веселым таким голосом уже мне про перспективы начинает,

Я говорю:

— Брось, товарищ Петров. Ты мне про перспективы завтра расскажешь. Ты говори мне сейчас, с кем ты по телефону разговаривал?

— А, понял, понял. С Петром Михенчем вашим. С Ивановским. Он...

— Да где он?

— На правом берегу Днепра, напротив Каховки. Работает директором винодельческого совхоза. И что-то он на тебя зуб точит.

— Знаю об этом. Еще от товарища Карпова. А что он сказал: приезжать к нему или не надо?

Петров вдруг и говорит, как-то боком на меня поглядывая:

— Я забыл, что он сказал.

— Как так забыл? Только что говорили — и ты уже забыл?

— Так он, понимаешь, по-украински сказал.

— А ты по-украински уже позабыл? Всю войну на Украине воевал и забыл!

— Ну ладно, скажу: «Хай попробуе приезжае. Я его научу, як книжки писать!» Ну, как — поедешь?

После такого приглашения... задумаешься.

— Нет, не поеду, — говорю.

— Правильно, — одобряет товарищ Петров мое решение. — Старик он вздорный. Я привет от тебя ему при случае передам. И на этом дело утрясется как-нибудь.

На этом и порешили. Я ушел спать в гостиницу. В Старой Каховке. Новой еще и на свете не было, только колышки везде на ее будущем месте.

Чуть свет будят. Аж две нянюшки меня тормозят:

— Срочно вас, товарищ Петров, к телефону!

В одних трусах выскочил я в коридор. Беру, сонный, трубку. Слышу тоже заспанный голос Петрова:

— Ну тебя к черту! Вот только приехал партизан — и уже покою нет. Спать не дали. Еще в час ночи ваш Ивановский машину за тобой прислал — не спится, вишь, ему, старому хрычу. Как? Поедешь? Шофер волнуется... Спать не дает. Уже часа два вертится тут. Под окном гудит...

— Раз машину прислал, придется ехать, — бухнул я, не подумавши, без особого энтузиазма.

— Ну, правильно, езжай. Я хоть немножко посплю. Но если будет неустойка, ты мне срочно звони — я при-

еду. На подкрепление. Ты не стесняйся. И духом не падай. Надо же было тебе с литературой связываться! И людям беспокойство... Да и у тебя, вижу, жизнь не сладкая... А я думал писатели это так... баловство одно.

Все же сочувствует он мне, вижу. Товарища в беде не хочет оставить. А это уже немало — в беде сочувствие товарища.

Только это я оделся, выхожу из гостиницы,— смотрю, вдоль центральной улицы Старой Каховки шпарит какое-то чудо автомобильной техники: колеса от «Оппель-Олимпии», кузов от «Бээмвэ», мотор от «Мерседеса». Как они это чудо слепили? Не иначе, в кузне ковали. За рулем молодой парнишка, комсомолец лет девятнадцати. Перед ним зеркало. Он одним глазом в зеркало смотрит, зуб поправляет, другим глядит на дорогу. Подъехал, затормозил со скрипом. «Садитесь».

И сразу как рванет... Вроде как невест когда-то воровали.

Солнце уже взошло, часов пять утра. Скот гонят, а шофер по переулкам в обгон. Выехали к Днепру. Жмем на этом чуде автомобильной техники по мосту. Мост фронтальной, узенький, движение в одну сторону. Он как газанет по деревянному настилу, как по клавишам! Глянет на меня парнишка — ствернется. И слышу странный звук: кхы-чхы-кхы. Я не могу понять, в чем дело. Куда торопимся? И откуда эти звуки? А он опять глянет, отвернется — и снова: кхы-чхы-кхы...

— Слушай, парень, — говорю, — ты полегче газуй! У тебя что-то вроде баллон спускает? Я-то, может, и выплыву, а что же тогда в музей сядим?

Он на меня глаза вытаращил.

— Какой музей?

— Да твоему экипажу давно в музей пора. Или на графейную выставку. Притормози-ка хоть пока мост проедем.

Выехали мы на грейдер полевой. Эх, тут он как-как газане-е-т... Только пыль столбом.

А дальше мой шофер совсем руль бросил и на меня уставился. А машина уже в канаву заворачивает.

— Стой, — кричу. — Тормози, туды-сюды и обратно...

Остановились.

— Забыли чего? Так я вертаться назад не буду. Мне приказ — домчать вас лихо...

И в глазах у него смешинка. «Ну,— думаю,— я тебе покажу, сопляку! Ты еще смеяться?!»

— Если хочешь что-нибудь сказать, скажи. А тогда уж поедем дальше.

Он посмотрел на меня.

— А здорово вы нашего игумена изобразили! Он такой и есть. Точно. Какой был у вас скупердяй, такой он и у нас скупердя-а-й... Хи-хи-хи! — заливается.

Тут я его и спрашиваю:

— А почему игумен?

А у него глаза сразу круглые стали.

— Ой, я шо сказал — «игумен»? Ой-ёй, не говорите этого нашему комсомольскому секретарю!

— А какое дело комсомольскому секретарю до какого-то игумена?

— Буду иметь выговор.

Ну, выговор — дело серьезное.

— Конечно, если будет выговор, то я говорить не буду. Но в чем дело? Что это значит?

И он рассказал мне следующее:

«Наш совхоз находится в бывшем казацком монастыре. Монастырь был разбит войной вдребезги. Никто не хочет идти восстанавливать. А ваш Ивановский директорствовать пошел. После всех тех партизанских тачанок и землянок и опять же в землянку попал. Тяжело было! Даже нам, молодым. А ему как? Стариковские кости ноют, а он в землянке живет. Мы его любим-уважаем за то, что он справедливый старик. Через год чуть подправили общественное хозяйство, обсеялись, надо и свою жизнь налаживать. И вот решаем на комсомольском собрании, без всякой оплаты, субботником вроде, подготовить квартиру для нашего старшего заслуженного товарища — Ивановского. Стали ремонтировать. Вышло так, что наименее разрушенным помещением было то, где жил когда-то игумен этого монастыря. Кто-то из ребят в шутку возьми и скажи: «От здесь когда-то жил царский игумен. А теперь наш, советский игумен тут будет жить». Посмеялись. Понравилось. И стали за глаза Михеича игуменом звать. Игумен да игумен. Один говорит: «От игумена премию получу — чоботы справлю». Другой: «Пойду к игумену, быков попрошу. Топлива привез-

ти из плавней». Третьего, поленивее, страшат: «Влепит тебе игумен выговоряку, будешь знать!» Так и шло, пока не поступил к нам на работу один новый парень. Молодой и не шибко сообразительный. Так лопуховатый, зеленый совсем. Слышит он, что все зовут директора игуменом. Он, видно, и решил, что Петра Михеича фамилия такая — Игумен. Приходит как-то к нему в кабинет. По делу. А там, как назло, комиссия какая-то. Из обкома или из министерства. И вот в присутствии комиссии заходит этот дурило. Обращается к директору совхоза и бухает, как в барабан:

— Товарищ Игумен...

Из комиссии кто-то спрашивает:

— Вы, товарищ, к кому?

— Да к товарищу Игумену.— И на директора пальцем тычет.

Комиссия с недоумением стала переглядываться.

Ивановский наш встает и животом тихо-ласково этого лопуха выпихнул из кабинета. В коридор. А в коридоре уже взял его за душу и шепотом таким украинским его спрашивает:

— Слухай сюды,— это поговорка у него такая — слухай сюды, перец тебе в печенку,— ты як меня зовеш-ш-ш..?

А тот, как сом, рот разинул, глазами лупает.

— Як зову? Так, як вси зовут, так и я зову. По хвамилии зову.

— А як моя хвамилия?

— Товарищ Игумен ваша хвамилия.

Что тут было! Вызвали комсомольского секретаря. Выяснили эту самую путаницу. В присутствии ответственной комиссии. Устроили добрый прочухан. И секретарю комсомола, и всему комитету попало. Да ребята и сами поняли, что шутки шутками, но до определенных границ. А дальше уже не шутки, а просто хулиганство. Ведь у советской власти заслуженный человек! И вдруг — игумен! Ребятам и самим стыдно стало. На собрание комсомола вынесли этот вопрос. И постановили: если кто Ивановского хоть раз «игуменом» назовет — выговор»,

— Я тоже голосовал,— тихо говорил мне этот чубатый комсомольчик-шофер.— Если только вы скажете, выходит, что я сам себе за выговор проголосовал.

Я его успокоил.

— Разве ж я не понимаю? Ты ж нечаянно.

— Конечно, нечаянно. Сорвалось, понимаете, с языка...

— Ну да, сорвалось. У меня тоже бывает, срывается... А люди этого не понимают.

— Ага. И никто, главное, не слышал,— с надеждой в голосе говорит чубатый этот орел.— Так что вы уж...

— Буду молчать как рыба, — пообещал я с намерением заполучить себе сторонника в стане неприятеля. Все ж таки я на литературный диспут как на сражение ехал.

Завел он свою лайбу, и мы поехали. Теперь он вез меня нежно и ласково, как самого игумена на вороных возили по этим степям или, скажем, бидон с кислым молоком... И не заметили мы в том разговоре, как солнце на три дуба поднялось.

— Будет меня Михеич гонять, что припозднил.

— Давай, поторапливайся,— говорю я, чувствуя, что он передо мной тоже заискивает.

За этим разговором мы и прибыли. Часов в девять утра подъезжаем к монастырской стене. В ней калитка. Действительно в игуменском стиле. Возле той калитки и остановились. Вылезаю из машины. Из калитки сам Ивановский. Суковатая палка у него в руках. Тут уже шофер говорит мне тихо:

— Ставьте возле машины боком. В случае чего... вы кругом бегайте, а я гудеть буду.

Я понял: это он, как военные говорят, сохранял мне свободу маневра.

Но Ивановский не спеша подходит и спокойно говорит:

— Теперь я бачу, что ты-таки настоящий партизан, товарищ Горовой. Здорово! Слухай сюды... Давай расцелуемся. Заходи в хату. Гостем будешь.

Отлегло у меня от сердца. Идем в дом через веранду, увитую плющом.

— Вот, знакомьтесь — моя старуха. Вся округа ее Петрыхой зовет. Садись, Алексей Кузьмич.

Сели. Приглядываюсь я и вижу, что нет особенной неприязни у него ко мне. Гостеприимно так встречают хозяева. Но разговор все же как-то не клеится. Может быть, потому, что я понимаю: впереди еще литератур-

ный диспут. Чтобы не дать ему козыря каким-нибудь опрометчивым словом, я так — что меня спрашивают, отвечаю, а сам в разговор не лезу, помалкиваю больше.

Посидели так минут сорок. Петро Михеич и говорит:

— Что ж мы будем так сидеть? Слухай сюды, Горевой. Поедем. Я тебе хозяйство покажу. А ты, стара, готовь обед. Гостей позовем.

— Сколько будет гостей? — спрашивает жена Ивановского.

— Ты не пытай, сколько. Ты режь курей!

— А сколько курей резать? — пытается хитрая Петриха.

— Режь всех. Подряд.

Петриха даже ахнула. Но смолчала все-таки, бедная.

Вышли. Сели в машину. Только комсомольчик мой нажал на стартер, а Ивановский и говорит:

— Стой!

Вылезает. И уже во дворе кричит:

— Стара! Где ты там?

— А вона вже там, где куры кудахчут. Кур ловит. Слышите? — давится смехом наш чубатый шофер.

— Ста-ра-а... — кричит на весь двор Михеич. — Петры-ы-хо-о!..

— Чего тебе? — запыхавшись, спрашивает она мужа.

— Слухай, стара, там поросенок бегал, режь и порося тоже.

Тут старуха что-то завозражала. Ивановский наш как гаркнет:

— Я шо сказал? Режь порося!

Даже куры замолкли. Тут я молча на шофера глянул. Он мне подмигнул заговорщицки.

— Знай наших. И не то бывает. У нашего иг... Петра Михеича и дома дисциплинка ого-го-о... е-е-есть...

Молча выходит Ивановский из той самой калитки. Как ни в чем не бывало. Взгромоздился на сиденье.

— Па-а-г-няй... — буркнул властно шоферу. И за нами только пыль столбом.

Стал он мне хозяйство свое показывать... Я усиленно интересуюсь. Заметки даже в блокноте строчу. Фотоаппаратом щелкаю, но на душе все же беспокойно, потому что литературного диспута и в помине нет. Должен же он когда-то начаться! Нет, о литературе ни слова. Я уже духом воспрянул, — думаю, может быть, весь его характер на курей да на старуху вышел.

Успокоился к полудню совсем. Все было бы очень хорошо. Но жара! Жара градусов пятьдесят или сорок восемь. Как раз этот суховей дул. Часа два я еще терпел. А потом чувствую — кровь в висках стучит. Привык все же к умеренному климату.

Набрался смелости и подъезжаю к Ивановскому издали.

— Петр Михеич, то, что ты хороший хозяин, — я всегда знал. А теперь ты окончательно убедил меня в этом. Вот бы в «Огоньке» очерк о тебе и твоём совхозе настрочить. Под названием, скажем, «На штурм неба» или «Каховская Лидия». Надо бы у тебя в конторе взять материал.

Комсомольчик, мой союзник, даже рулем завертел отрицательно и моргает мне.

— Я сам тебе материал, — буркнул Ивановский.

Прикусил я тут язычок. Едем дальше.

Замолчал что-то наш Михеич. Посапывает только. Екает мое сердечко. «Вот сейчас он начнет со мной расправу. За литературные грехи». И дернул меня черт с «Огоньком» этим. Оглядываюсь по сторонам. Степь кругом. Ровная, бескрайняя. Тут уже никакого тебе маневра. Одна надежда на ноги.

— Слухай сюды... Ну, как тебе хозяйство? — спрашивает Ивановский.

Действительно, хозяйство первоклассное: 470 га виноградника, 120 или 140 га сада.

Но я уже совсем замолк. Чтоб чего лишнего не брякнуть. Только восклицаниями и междометиями отделяюсь, вроде как иностранный корреспондент.

А Ивановский наседает:

— Поедем, еще тебе животноводство покажу.

Вижу, все сразу хочет Петро Михеевич мне показать. Если б не литература эта, я бы в такую жару нипочем бы не поехал. А тут терплю. Показывает он мне волов. Серой украинской породы. Рога на метр. Весу тонна. А мне они постылые. От жары... Но делаю вид, что восторгаюсь. Кончили глядеть волов.

— Поедем до дому, Михеич, — говорю. — Что-то под ложечкой сосет...

Он только одним глазом на меня повел.

— Можно и так. Но я хотел тебе еще показать...

— Что же еще?— спрашиваю.

— Да вот пристань совхозную.

Ну что ты поделаешь! Пристань так пристань.

— Слухай сюды. Заедем на пристань... а тогда уж и на обед.

«Эх, думаю, была не была — пристань — это же вода. Искупаюсь, и полегчает немного. Ладно, потерплю».

— Далеко ли до пристани?...

— Что ты — рядом, — говорит Ивановский.

— Километров двадцать пять будет, — шепнул мне шофер.

— Па-г-няй, Васька, — командует директор, черта ему в печенку.

Поехали. Пылища, жарыща! Приезжаем.

— Вот наша пристань, — говорит Михеич. Показывает рукой на глубокую балку. А вдоль той балки суховой аж шелестит сухим ковылем, пыль поднимает. В балке суслики свистят.

Ивановский вздохнул торжественно и суковатой палкой вокруг обводит.

— Вот она, пристань.

— Петр Михеич! А где же вода?— спрашиваю жалобным голосом я у Михеича.

— Га! Вода через пять лет будет, голубе... Построят в Каховке плотину, и вода к нам поднимется. Мировая пристань будет. Вода вот к этому колышку подойдет и до той сюрчиной норы. Гляди!

Я чуть не сказал: «Иди ты к черту, старый хрен! Или в эту самую с-с-сюрчину». Но сдержался и говорю:

— Будь здоров, Михеич. Я пошел в Каховку. Пешком.

Засмеялся старик тихо и говорит:

— Ладно. Тут, за горбиком, и наш монастырь. Поехали. Старуха, небось, с обедом заждалась уже...

— Это уже ужин, а не обед, — режу я ему правду-матку.

Приезжаем обратно в совхоз. За калиткою знакомая уже веранда, плющом и диким виноградом увитая. На веранде стол накрыт. Почетные гости: Груня Михайловна — секретарь райкома, главный агроном с женой и свояченицей, стахановцев, как их тогда звали, человек пять, комсомольчики, Васька с чубом, который нас возил. Стали к стаканам прикладываться — винодельче-

ский совхоз все-таки. Сами понимаете. Ох, там есть специальная «Каховская Лидия!»... Ну и винцо, я вам скажу! За эту самую «Лидию» наш Михеич умудрился от министерства и взыскание, и премию получить. Но это особая статья. Как-нибудь потом — об этом. Тем более, что с нашим братом-партизаном такое часто случается. И не только в мирной обстановке, но и на войне. Вон наш комиссар Мыкола Солдатенко, так он на Припяти умудрился одним выстрелом и выговор и благодарность заработать.

Вот кончаем обедать, ремешок на последней дырочке уже, а литературного диспута нет. Все не начинается. И я уже подумал грешным делом: «Пронесло. Выкрутился. Старик, видно, забыл». И как сглазил: только это, кончив обед, стал я благодарить хозяйку: «Спасибо вам, хозяйюшка, за труды ваши» — и так далее... Собираюсь уже из-за стола подниматься, Ивановский на плечо мне руку положил.

— Слухай сюды, товарищ писатель, ты без команды не вставай...

И режет он половину поросенка и кладет этот кус мне на тарелку. Я говорю:

— Куда, Петро Михеич, столько? Сыт же по горло.

— А то не мое дело. Твоя порция.

— Что же, я с собой ее повезу? — засмеялся я.

— Не повезешь. Я и не дам. Сядь и йиж. Нет, браток. Тут, на наших очах, — пый и йиж. А то снова напишешь, шо я скупер-дйй. Но теперь уже точно, будэ брехня, и сви-ди-те-ли налицо. Не откажутся, как тот товарищ Карпов.

Засмеялись все. Видно, были в курсе дела. Я сижу, как пригвожденный, и возразить мне нечего. А он тут и разошелся.

— Слухай сюды. И як тоби не стыдно? — говорит. — Кажут, писатели—инженеры по человеческим душам считаются. Думаешь, я обиделся, что ты пишешь «скупер-дйй»? Если б это правда, чего же обижаться. Но люди подумают, что я есть мелкий шкурник. А почему ж ты, бисова душа, не написал, что я скупой был на партизанское? Га? Я и сейчас скупой на го-су-дар-ствен-ное. А люди гут твою брехню читают и думают, что я скупой на свое собственное. Вот что мне обидно! Говорят, инженер по душам. А я бы тебя и в прорабы не назначил.

Что ж ты после этого понимаешь в советской душе? Кажи! Га?

Наконец-то понятна мне стала его кровная обида. И не стал я оправдываться. Тем более, что человеку я не только моральный, но и материальный урок нанес. Особенно его хозяйке.

И тут посмотрел я на Петриху. Ожидал увидеть ее озабоченное, а может быть, и недовольное лицо.

А она — смеется.

— Кушайте, — говорит, — пожалуйста.

И вижу очень довольна старая Петриха, что ее старик научил писателя, как надо правильно книжки писать.

— А живности, — говорит она, — нам не жалко. Вы только не сумлевайтесь и больше с народом советуйтесь.

Слушал я молча и думал:

«А ведь действительно. Было же старику далеко за полсотни, когда началась война. Невоеннообязанный. Так он добровольцем пошел в партизанский отряд. В первую партизанскую зиму очередью мадьярского пулемета прошло ему обе ноги. Перевязали, взяли в лубки, положили на сани. Кости кое-как срослись вкось и вкривь — одна нога короче другой. Встал на костыли, потом с палочкой ходил. И только по этой причине стал помпохозом. Но ни разу ведь не заикнулся: «Дайте инвалидную книжку, отправьте на самолете на Большую землю». И воевал до конца войны».

Вот какой скупердяй!



САПОГИ НОМЕР СОРОК СЕМЬ

Был у нас в партизанах грузин. Огромного роста, вот такие плечи. Косая сажень, как говорят. Сейчас у него чины большие. Но не в чинах дело, а в человеке. Я сначала о человеке, а потом уже и о чинах вам расскажу. В партизанах мы все друг друга звали попроще: Дед Мороз, Мишка Ария или Катюша-Маленькая. Вот и у него было тоже вроде прозвища или клички — «Грузин Арсен — сапоги номер сорок семь». Понятно почему? Потому что и ростом он соответствовал. Почему именно сапоги? Почему не шапка? Не мундир? Это неспроста. А со значением. Народ партизанский, если уж припечатает, так, значит, есть тут какая-то важная причина и глубокий смысл. И действительно, была эта кличка со значением.

Так почему же именно сапоги? А вот почему: отряд рейдовый, непрерывнодвигающийся — марши, походы, да все больше ночью. А партизаны — это же армия без интендантства. Во всем остальном мы себя армией считали. Народной. В армии что самое святое — первое из первых? Каждый первого года службы солдат вам разъяснит: первое из первых будет солдатская присяга. На верность Родине, народу. И у партизан присяга — первое дело. Теперь что главное в армии, что ее цементирует, делает непобедимой? Дисциплина. Ну и у партизан — дисциплина. Может, чуть и другая по форме — не так на-

счет выправки или там строевой, но по существу дела, по смыслу, сердцевине то есть,—та же дисциплина. Приказ командира — закон: умри, а выполняй. Или выручка товарища в бою; все так же, как и в армии. Но никто этого партизана не кормит, не поит, не одевает и не обува-а-ет. Даже и самого Ивановского. Никто не то что новых сапог ему не выдаст, но и все другое вещевое и пищевое довольствие приходилось брать с бою. И фуражное... И весь приварок — тоже. На подножном корму, так сказать. Вот в каком смысле партизаны вроде армия, но без интендантства.

А за годы войны восемнадцать тысяч километров прошли наши партизаны по тылам врага. Ножками, ножками прошли. Да по бездорожью: лес — не лес, овраг — не овраг... А партизан идет. И сапоги рвутся... Теперь понятно, что значит проблема сапог? А где же вообще достать сапоги? Хлопцы рассуждают так:

— Кто нам войну навязал, тот пусть нас и обувает. Жестокий закон войны (по обувной части) так гласит: убей врага и сними с него сапоги. Жестокий закон, как и вся война, — ничего не скажешь.

Конечно, можно было бы и гуманнее поступать: с живого снимать сапоги. Но здесь есть одна сложность: живой, он живой и есть, он ведь не отдаст!

Серьезная, как видите, проблема. Даже для средней ноги гражданина: даже если номер сорок первый или, скажем, сорок второй он носит. Но во сколько раз хуже обстояло дело с такой ногой, как у нашего Арсена? Сложное получалось дело. А он как-никак — командир полка. Он всегда так подписывал приказы: напишет — и громко прочтет. Мы говорили — приказ с грузинским акцентом: «Командир 1-го полка старший сержант Арсен Шаталави». Хоть и старший сержант, а все-таки командир полка! Всему полку позор, если командир полка будет босиком ходить. Или в опорках.

И представьте вы себе заботу для всего первого полка: как обусть своего командира?

Я сам наблюдал как-то раз такую картину: лежал первый полк в обороне, развертывается перед полком цепь противника. Тихо ждали ребята. Подпустили поближе. И вдруг заметили среди наступающих фашиста, ростом под командира подходящего. Так весь первый полк стал лупить по одному этому фрицу. И не просто

пуляли, как попало. А все целились в голову. Чтоб сапоги не испортить. Ему, конечно, уже не жить — пять секунд и фрица нет. Но ведь и сапог пока еще тоже нет. Надо как-то эти сапоги добыть.

— Организовать бросок взвода или отделения, — раздается команда. — Бросок за сапогами!

Ну, а если нельзя? Если местность открытая? Пулеметы режут? Огонь минометный, что тогда? Тогда остается только попробовать партизанским маневром. На левом, скажем, фланге устраивает братва демонстрацию. Это по-военному так называется: демонстрация. А партизански это звали иначе — шухер. Стали отвлекать внимание врага в сторону. Кидают гранаты, ракеты пускают, ура кричат. А тем временем на правом фланге, по овражку, кустиками послали лазутчика за сапогами! Лазутчик ползет, кое-где овражек его скрывает, в складочки прячется. Кустиками. К местности применяется.

Лазутчиками всегда вызывались добровольцы. Находились такие. Командира уважали, и из уважения к нему лазутчики всегда были. А иногда, может, и из подхалимажа... Вы что думаете, что подхалимаж только в мирной жизни бывает? Нет, подхалимы бывали и на войне. И даже в партизанах. Должен я честно признаться, что были подхалимы и среди нашего брата. Но на войне и подхалим должен быть иного сорта. Там смерть! А смерть не разбирает — кто подхалим, кто нет. Вы войдите в его душу: ведь под минометным огнем ползет бедный подхалим... за сапогами... А?

Но если уже доползет и обратно выползет, и сапоги достанет — вот тут он всю свою подхалимскую натуру покажет. Здесь он такой рапорт выдаст, какого и сам царь Николай не слыхивал. Столько трезвону будет: как же, сапоги достал!

Доползает и: «Кома-а-ннн-да-а смир-р-р-р-на-а-а... Товарищ командир полка...», как будто он невесть что совершил, а не сапоги номер сорок семь приволок...

Так и было в тот раз. Подхалим старается, а восторга что-то я в глазах Арсена не заметил. Новые сапоги большие, а глаза у командира скучные. Он говорит:

— Давай примерка.

— Что ж мерить, — номер сорок семь. Новые. Боль-

шие. Как в универмаге. Пожалуйста, — лебезит партизанский подхалим.

— Давай померим, — твердо говорит Арсен.

Вот началась примерка. Пыхтел-пыхтел, потел-потел наш Арсен, тянул-тянул, до половины только дотянул, а потом ногу подхалиму протянул и говорит:

— Тащи обратно!

Тот растерянный бормочет:

— Так ведь это же точно... Номер сорок семь...

— Номер?! Номер подходит. А подъем? Подъем не подходит... — отрезал Арсен и сапог ка-ак швырнет в сторону.

Так вот, в настоящее время Герой Советского Союза, инженер легкой промышленности (по специальности послевоенной и довоенной тоже) Арсен Шаталави работает у себя на родине заместителем министра местной промышленности. И в его распоряжении находятся не то три, не то четыре обувных фабрики. Нет, серьезно... Кроме шуток.

Как замминистра он довольно часто приезжает в командировки в Москву. Ко мне заходит (раз в году обязательно приезжает — планы утверждать)¹. Когда встречаемся, я задаю всегда один и тот же вопрос:

— Друг, — говорю, — генацвале по-грузински. — Как у тебя обстоит дело с мозолями? Ведь всю войну жаловался: па-анимаешь, мозоли замучили — мозоли хуже Гитлера.

Смеется Арсен:

— Теперь все в порядке, — говорит. — Теперь на каждой фабрике имеется специальная колодка под названием «ка-алодка для замминистра». Какие могут быть мозоли?!

— Ну, понятно, — говорю, — если в партизанах у нас и то были подхалимы, то сколько их может быть у замминистра? Так, что ли? Было бы только желание.

Но тут уже у него появляются в глазах такие огоньки, как у самого скупердяя, когда он давал команду курей резать.

¹ Может быть, сейчас, после реорганизации управления промышленностью, реже будет ездить. (Примечание внештатного редактора).

— Ничего подобного. Вот специально для тебя во-
жу, — и вытаскивает из бокового кармана квитанцию.

Гляжу — действительно написано: «За изготовление
пары колодок номер сорок семь по специальному зака-
зу уплачено наличными девяносто два рубля 70 коп.» —
подпись, штампы — все как положено.

Но и я не унимаюсь:

— Ну разве в девяноста рублях дело...

— А как же? Чтобы не публиковал в прессе всякую
напраслину. Меня Ивановский предупреждал: увидишь-
ся с нашим писателем, так ты ему приготовь все оправ-
дательные... Как я. Я его добре научил, как книжки на-
до писать. Будет помнить...

И Арсен хохочет рокочущим басом.

— Но все же, дорогой друг Арсен, тут дело не в де-
вяноста рублях...

— А в чем же? — настораживается он.

— А в том, что недаром в Киеве в историческом му-
зее твой автомат хранится...

— Ну, хранится. Тот самый — перебитый болванкой
из фашистского танка...

— Вот вот. Так, может быть, за то, что ты с мозоля-
ми на ногах, с партизанским автоматом в руках прошел
по тылам врага восемнадцать тысяч километров...

— Мой полк двадцать одну тысячу километров про-
шел, — с гордостью заявляет Арсен.

— Тем более... Так вот за это тебя, грузина и украин-
ского знаменитого партизана, твои соотечественники и
уважать должны...

— Ах, вот ты о чем? — успокаивается Арсен. — Ко-
нечно, уважают. Не видишь разве?

И показывает на флажок — значок депутата Верхов-
ного Совета республики.

Действительно, флажок этот без слов свидетельству-
ет об уважении, которым пользуется Арсен Шаталави
у своих земляков, ибо народ выбирает своими депутата-
ми самых славных, самых уважаемых людей.

ЧЕРНЯВАЯ

Вскоре после того, как пришлось мне побывать в Каховке и встретить там нашего Михеича, судьба занесла меня в далекие края. Далеко на Урале состоялась эта памятная мне встреча. Где-то в 60 километрах от города Свердловска есть типичный уральский городишко — заводской поселок Новоуральск. Приехал я туда по профсоюзным делам, ну, съезд не съезд, а вроде как бы расширенное производственное совещание.

Поезд пришел рановато, только что кончилась смена на трубопрокатном новоуральском заводе. По этой самой причине прибыл я в рабочий клуб, где должно было состояться совещание, раньше времени. Публика еще не собралась, в фойе было человек так 20—25. Вот тут и состоялась эта памятная мне встреча.

Только вошел, не успел оглянуться, смотрю: навстречу идет Иван Буянов, бывший командир первой роты первого батальона первого полка, которым командовал наш грузин Арсен, сапоги номер сорок семь. Ну, Ваньку Буянова я сразу узнал, да и вы бы тоже узнали. Плечи у него шире, чем у Арсена, а ростом ниже меня, шеи совсем нет, коренастый, квадратный, словно его не мать родила, а топором где-то в тайге вытесали.

Обрадовался я, быстро пошли мы навстречу друг другу.

— Иван, здоров!

Обнялись, расцеловались.

Конечно же, приятно после стольких лет боевого друга встретить. Ну, и народ, кто был там, тоже обратил внимание на нашу эту бурную встречу. Кое-кто даже подошел, стоят, улыбаются, одобрительными словечками, вопросами перекидываются.

Так и стояли мы минут десять, оживленно разговаривая. Познакомил меня бывший партизан, уральский коренной работяга Иван Буянов со многими своими земляками: замдиректора, начальником цеха, предзавкома. Да и сам похвалился: в цехе электросварки он за профорга.

Стоим, беседуем, посмеиваемся от радости. Стал я окружающий народ разглядывать и вдруг гляжу — я и раньше заметил, но не очень обратил внимание, — в другом конце фойе у последнего окна стоит женщина. Вначале она вроде как бы боком стояла — в окно глядела, ну, стоит себе и стоит. А второй раз, когда я вгляделся, — вроде лицо знакомое. Приглядываюсь пристальней, нет, похоже — она. Шагнул еще несколько шагов, конечно же это хирургическая сестра нашего партизанского отряда Дуся Кашенко. Я так издали и кричу ей:

— Дуська, це ты?!

А она повернулась, засмеялась и отвечает:

— Конечно, я.

— Как же ты сюда попала?

Я даже руками развел. Смотрю на всех окружающих, они стоят, смеются. Видно, всем эта женщина хорошо известна. Да и в отряде нашем не было, пожалуй, такого человека, чтобы Дуську, хирургическую сестру, в лицо не знал, ласку ее материнскую во время ранения не испытывал. Но вы не думайте, что это так себе, нянюшка там или простая медсестра. Обратите особое внимание — хирургическая! Это в партизанской медицине, может, не менее важно, чем сам хирург. От нее больше всех жизнь раненого зависит. Она и за чистотой наблюдает. Место для операции, инструменты хирургу готовит. Автоклав кипятит, бинты, перевязки, зажимы, шприцы, уколы... И во время самой операции стоит наготове, на руки хирурга смотрит, не успеет он глазом моргнуть, рот раскрыть — нужный инструмент уже прямо в руки ему сует. Да и при окончании операции ее де-

ло углядеть, чтобы случайно ножницы или пинцет какой в животе у партизана не зашили... Бывало и такое дело: в спешке да ночью при любом освещении... и у костров приходилось операции делать. Одним словом, это та Дуся Кащенко, которая самому деду Ковалю перевязки делала.

В том знаменитом Девятинском бою, в котором погиб наш комиссар, незабвенной памяти генерал Руденко, пуля ранила и командира. Но пуля, как говорится, «счастливая». Вы не ухмыляйтесь, не думайте, что это так, для красного словца. Кто воевал, тот хорошо знает, бывают пули разные: бывает распроклятая, бывает так себе, ни туды, ни сюды, а бывает и пуля счастливая...

Вот посудите сами. Ударила пуля в ногу, даже, прямо скажем, в бедро, на хорошую мужскую четверть повыше колена, сбоку ударила, чуть-чуть позади. Но, во-первых, пуля, заметьте, не разрывная и не попала в кость. Как по-вашему? Конечно, пуля счастливая.

Лежит командир в цепи, человек он был в годах, при таком ранении крикнуть бы ему: санитар-а-а! Конечно, это не то, что у молодого, но всё-таки перевязку бы сделали и зажило бы, бесспорно. Раны в горах заживали хорошо. Нет там микробов, что ли, тех, которые вызывают инфекцию. Хлопцы все знали: анаэробных микробов на Карпатах, вроде, ни одной штуки не водится. Эти анаэробные они самые вредящие. К примеру, в Пинских лесах, в припятских болотах — это беда. И раны-то никакой, так, шкурку сдерет, а она гноится — спасу нет. В Карпатах, если парень молодой, так через два-три дня рану затянет, ну, а если в годах, пускай через неделю. Но на войне да при таком ранении не только в возрасте дело; заметьте, пуля ударила не просто в ногу, а в ногу командира, и не просто командира, а командира, у которого несколько часов тому назад погиб смертью храбрых комиссар.

И вот лежит командир в цепи после этой «счастливой» пули, которая сквозь его ногу черт-те знает куда улетела, и думает: крикнуть санитару или не кричать? Пуля хоть и «счастливая», а кровь хлещет. И принял командир решение — санитару не звать. Подумал: хлопцы дрогнуть могут. Комиссар погиб, командир ранен — тут и до паники недалеко, а в бою паника — самое страш-

ное дело. И решил молчать. Скинул поясочек от штанов, который очкур называется, выше раны ногу туго перетянул. Приостановил кровотечение. Надел в рукава плащ клеенчатый трофейный, длинный по пят, чтобы окровавленные брюки и сапоги прикрыть. Выломал себе палку и пошкандыбал. Бойцы спрашивали во время перебежек:

— Что с вами, что хромаете, товарищ командир?

— Да так, подвернул ногу.

Ну, подвернул и подвернул, не до этого, не до нежностей тут было. Бой начался с полуночи, а тут уже и к полдню дело подходит. Комиссар и с ним восемнадцать бойцов часов в семь утра погибли, оттеснил их эсэсовский полк генерала Кригера и прижал в ущелье. Там они отстреливались до последнего. Комиссара — он в генеральской форме был — эсэсовцы, видимо, заметили и хотели живьем взять. Был он, правда, ранен, видать, штабная медсестра Галя Борисенко ему успела и перевязку сделать. Но последним патроном комиссар в висок себе... Смерть предпочел плену.

А часов около десяти и прилетела эта самая «счастливая» пуля. А тут уже и час дня и два — шкандыбают наш старик-командир без перевязки. Около трех часов дня оторвались мы от противника, сумели захватить выгодную высоту, и эсэсовцы откатились. Вышли мы на полонину — так в гуцульских тех краях зовут жители альпийские луга. Дана была команда на привал. Отдохнуть. Не успела она прозвучать, как народ повалился, где кто стоял. До того изнуренные были люди, ну не успеет боец к земле прикоснуться — уже храпит, только часовые на высотках, как горные козлы. И только все поуснули, подполз раненый дед-командир к этой самой Дуське и крепко за сумку санитарную, что через плечо у нее и во сне, и днем, и ночью была, потянул. Подняла она голову, заспанными глазами мигает.

— Ползи за мной, — шепнул командир.

Узнала, поползла. И так отошли они в лес, в сторону от спящего отряда.

А тут уж такое: из песни слова не выкинешь — скидает дед плащ, снимает штаны... Дуська глянула на эту самую страшную рану, а она уже часов шесть без перевязки. Струпом всё пошло, загрязнение, по краям раны не-

хорошую красноту она заметила, даже ойкнула и чуть всплакнула.

— Перевязывай, — хрипло сказал командир и, вроде, тихо выругался.

— Да как же перевязывать, товарищ командир? — взмолилась Дуська. — У вас же рана грязная, от перевязки тут не будет никакого толку, один вред. Надо вам рану чистить.

— Так ты чисть, то твое дело.

— Так вы же не вытерпите, а у меня нет анестезии, как же без замораживания...

— Чисть так, — настаивает командир.

— Так я ж должна все вырезать вокруг, до самой кости.

Лег старик, головой к сосне прислонился.

— Буду терпеть.

И началась там под сосной эта самая партизанская операция. Ну, что уж там дед говорил, как выражался, не будем мы ему то вспоминать. Но в общем, как он сам потом хвалился, два зуба выкрошил, пять раз сознание терял. Дуська рассказывала: потеряет сознание, а она ему бутылку с нашатырем под нос,дохнет, отойдет немного, головой помотает, выругается и говорит:

— Шкрябай глубже.

Может, час, а может, больше возилась она, все, что могла, сделала, рану почистила, тампонами обложила, перевязала стерильными бинтами. Конец. Сидит дед под сосной, голова безжизненно о ствол опирается, лицо белое-белое, как снег. На лбу и щеках крупные капельки пота, как роса. Вынула из сумки Дуська бутылку со спиртом, ватку смочила и лицо ему аккуратно обтерла. Потянул дед носом запах спиртовой от той ватки и как ни был обессилен, большим пальцем правой руки на рот показывает. Ну, Дуська поняла, приложила бутылочку к губам и грамм 50 спирта дала хлебнуть. Прошло минуты три, румянец на щеках показался,дохнул командир несколько раз и на руках выше подтянулся, опираясь спиной о ствол дерева.

— Ну, все, — сказала Дуська, прибирая медикаменты и инструментарий аккуратноенько.

— Нет, еще не все, — сказал командир, и смотрит Дуська — вытаскивает он из кобуры пистолет. Здоровен-

ный у него был шпалер на четырнадцать зарядов, и вместо благодарности медсестре этот шпалер под нос сует:

— О це бачила? Если хоть одна душа узнает, что я ранен, так и знай — шлепну на месте.

И не удивилась даже этому Дуська. Ёй понятно. Ну, а вам понятно? Это же — войдите в положение женщины — надо терпеть и секрет никому, ни одной душе не рассказать. И вы знаете, 600 километров прошли мы от этой проклятой горы Див — ни одна душа не знала о том, что командир ранен.

И только в тех проклятых болотах, в украинском Полесье, где по преданиям и поэтическим сказкам Леси Украинки лишь одни мавки да упыри водились, — а нам пришлось против фашиста и там партизанить, где не дай бог, чтобы тебя пуля даже царапнула, — взмолилась как-то Дуська, обращаясь к командиру:

— Може б вы, товарищ командир, сняли б уже с меня эту вашу военную тайну. Хлопцы проходу не дают. Смеются.

— А что им такое смешно? — спрашивает командир.

— А как мы почти каждый день с вами перевязку делаем...

— Ну? — не понял командир.

— Так мы же в стороне от отряда, тайком перевязки делаем. А когда вернусь, хлопцы смеются: вот так дед, вот так старик! Дед, дед, а с девчатами в кустики норovit, — зарделась Дуська.

Командир даже плюнул с досады.

— Ах, они башибузуки, ишь чего выдумали!

И подзывает к себе помощника и дает команду: по тревоге срочно выстроить весь отряд на Полесской той поляне.

Ну, тревога есть тревога. Не прошло двух-трех минут, бежит помощник, докладывает по всей форме:

— Товарищ командир, по вашему приказанию отряд выстроен.

Командир вышел, командиры рот запели, как петухи:

— Команда смирно-о-о-о, смирно-о-о-, смирно-о-о-!

Подошел командир к шеренге и не поздоровался. Серdito так подает команду:

— Боец Дуся Кащенко! Пять шагов впе-ред!

Шагнула Дуська по команде пять шагов вперед. Больше командир на нее и не глядел, прошелся вдоль

всей шеренги, прямо в глаза бойцам своим смотрит, а потом сказал:

— Товарищи бойцы, в горах я был ранен.

И несмотря на команду «смирно», словно ветер пробежал по шеренге, раздались шопот и возгласы: «Как ранен? Где ранен? Когда?»

— Да, да, был ранен, — громко сказал командир. — Но я не хотел вас волновать. Чтобы вы не думали, а свое дело и дисциплину соблюдали. И потому никому не говорил. Дал приказ, чтобы никто о моем ранении... Только одна Дуся Кашенко, которая перевязки мне делала, о ране знала. А теперь я вас спрашиваю, — грозно сказал старик, который всем им был как родной отец, — вот говорят, что у баб язык длинный, а если бы санитар был мужик, была бы сохранена военная тайна? Определенно отвечаю: все равно растрепался бы. Так вот, — и командир отошел несколько шагов назад так, чтобы всем его видно было, и еще раз подал зычным голосом команду «смирно». — Бойцу Дусе Кашенко за то, что — несмотря, что женщина, — военную тайну свято соблюдала, объявляю перед строем благодарность. А за то, что жизнь командиру спасла, объявляю вторую благодарность и приказываю штабу представить ее к такой награде, которую штаб сам сочтет справедливой. Потому как я за свою жизнь могу переборщить.

Команда «вольно, разойдись».

Разошлись все по своим ротам и взводам, судачили, обсуждали этот случай.

А штаб собрался на совещание. Обсудили объективно и решили, что справедливо будет представить хирургическую медсестру Дусю Кашенко к ордену Боевого Красного Знамени. Решили, постановили, реляцию написали.

И вскоре она действительно этот орден, а позже и другие честно заработанные ордена получила.

И еще вспомнил я, встретившись со своими друзьями на Урале, что после этой памятной всем нам новости в отряде стали к хирургической медсестре Дусе Кашенко по-иному относиться. Хлопцы помоложе, те, которые насчет ее девичьего достоинства и чести всякие словечки и ухмылочки отпускали, застеснялись, вроде неловко им стало. Стали Дуську сильно уважать. И командиры о ней стали еще более высокого мнения. А

дед, так тот прямо и не скрывал ни от кого, что он к ней, как к дочери, по-отечески благоволит. И по своей привычке дал он ей ласковое прозвище: Чернявая. Бывало, крикнет:

— Чернявая!

И она тут как тут.

— Слушаю вас, товарищ командир.

А если позовут, а вблизи Дуськи нет, так по всему отряду, словно по цепочке, возгласы, протяжные, словно кавалерийская команда:

— Чер-ня-вая! К командиру! Чер-ня-вая, к командиру!

А если бы вы увидели эту Чернявую, она рыжая, как лиса, словно костер у нее на голове горит. Это же надо коренной украинке такие волосы иметь!

И вот стою я на Урале в рабочем клубе, а у окна фойе стоит она, наша хирургическая медсестра Дуся Кашенко. И не удержался я и тоже крикнул на весь зал:

— Чернявая! Це ты?

И она отвечает:

— Ну да, — я.

— Как же ты сюда попала?

А она что-то засмушалась, глаза опустила, немного зарделась и на Ваньку Буянова кивнула:

— Так вот он...

И тут только через пятнадцать лет понял я: оказывается, деду она перевязки делала, а с уральским парнем, бравым пулеметчиком, а затем командиром первой роты первого батальона первого полка любовь крутила, и с войны вместе на Урал уехала.

А на Урале уже трех детей накрутили.

И живут.

А как живут, это я как-нибудь в другой раз расскажу.

Так и стоим мы с Павликом в фойе Колонного зала Дома Союзов в Москве. Перед картой нашей Родины стоим. И я по карте показываю. И адреса ему диктую... И вдруг, как обухом меня стукнуло... Люди-то все бывшие войны, а адресочки — все самые мирные: Каховка,

Тбилиси, Севастополь, Йошкар-Ола, Путивль, Урал, Киев, Москва, Новосибирск... Стою перед картой ошарашенный...

«Постой, постой... Пока ты писал о них книгу, рассказывал в ней, как вместе воевали, а они уже давно перестали быть вояками. Вот ведь беспокойные какие персонажи...»

Стали все бывшие вояки мирными людьми, тружениками, строителями коммунизма. Так же честно, как они сражались в тылу врага под руководством Коммунистической партии, так же самоотверженно под водительством партии строят они коммунизм.

«Так, может быть, и об этом стоит написать книгу? Толстую, длинную, скучную. Попробовать переплюнуть самого товарища Талалевского? Стоит?»

А вот возьмите и попробуйте, сами напишите... Ведь для того, чтобы писать, надо же знать. А для того, чтобы знать, надо их объехать всех... Да в такие концы. А? Командировочных одних сколько! Вот уже шесть лет прошло с той памятной мне встречи с летчиком Павликом... Езжу, езжу, — изучаю, изучаю... И никак не догону своих персонажей...

А потом опять же: и фабула и сюжет. Ну в какой сюжет их втиснуть? Какой фабулой перевязать? Когда разбросала послевоенная судьба моих персонажей по всему свету... Раньше, в партизанской жизни, команду дал — и колонна построилась; шагом, шагом а-арш — и все пришло в движение. Вперед! И никаких тебе фабул и сюжетов не требуется. А теперь? Как их всех объединить? Когда Семен в Севастополе, а Катюша-Маленькая в Китае... Дед Мороз в Путивле, а Усач в Черновицах или в Йошкар-Оле со своей ревнивой женой жизнь коротает; Скупердяй — в Каховке, а Солдатенко — в Глухове...

И сам Павлик уже на «ТУ-104» через океаны летает... И на Урале, и на Белом море, и в Сибири, и в Казахстане есть они. И даже в Нью-Йорке есть один. Был у нас Васька Соколов — бравый партизан. А сейчас таким дипломатом стал! Двадцать вторым секретарем ООН работает. Или, может, тридцать вторым... Не упомяну. Ну какой же фабулой мне привязать его к Ваньке Буянову, который на Урале мастером трубопроката работает? Или к Лешке Журову — бывшему разведчику, а

теперь ветеринарному фельдшеру в Острогорске?! А ведь и он тоже догоняет Америку. По молоку и мясу! А вот не лезут ни в какой сюжет мои персонажи, и никак я фабулу для них не найду.

Но ищу. Упорно. Может быть, вместе с ними и найду где-нибудь...

Погодите немного. Все равно я и такую книгу напишу.

Ал. Куз. Горевой

ПОСЛЕСЛОВИЕ

(От внештатного редактора)

Давно лежат у меня эти нарезанные из трофейной карты, исписанные неровным, торопливым почерком листки. И, как говорится, гложет эта штука мою совесть. Но прежде чем отослать ее в издательство, решил я посвятить редакцию и будущих читателей в историю ее появления у меня. Сообщу свои соображения как по поводу самой рукописи, так и предполагаемого автора.

Имя, указанное в сопроводительном письме, — Горевой Алексей Кузьмич. Эту рукопись я получил по почте года три-четыре тому назад в двух бандеролях. К ним было приложено письмо. Вначале ни письмо, ни рукопись не вызвали у меня никакого сомнения, а тем более подозрения. Мало ли пишущей братвы развелось после войны? Сопроводительное письмо ставило передо мной особое понравившееся мне условие, и, выполняя его, я перевязал обе бандероли крест-накрест шпагатом, положил их в папку и пристроил на верхней полочке шкафа. На туманность обратного адреса я тогда как-то не обратил внимания. Да, признаться по правде, я и не собирался заводить с Горевым переписку. Тем более, что человек сам на эпистолярные взаимоотношения и не набивался.

Лишь недавно, перебирая, как и надлежит отставным воякам, свой архив, я нашел эту рукопись и перечитал письмо, из которого увидел, что положенный по этому своеобразному завещанию срок прошел. Свободные часы, появившиеся в моем бюджете, дали возможность заняться чтением. Первые страницы не вызвали у меня глубокого интереса, но чем дальше я листал, тем больше эти чисто внешние препятствия уходили в сто-

рону. Последние две трети рассказов живого и беспокойного человека увлекли меня. Словом, прочел я эти страницы залпом.

Многие факты, места и лица мне были знакомы, о многом я знал лишь понаслышке, а кое-что узнал впервые. Больше всего меня почему-то заинтересовала личность самого автора. Я перечитал несколько раз его письмо, стараясь вспомнить, где и когда я его видел, а что видел и знал его — это не вызывало у меня сомнений. Но так и не мог вспомнить. Лишь показав кое-кому из ветеранов нашего дела письмо и пересказав содержание рукописи, а затем наведя необходимые справки, я утвердился в мысли, что Горевой — лицо вымышленное.

— За этим именем скрылся какой-то дока, — говорили мне друзья.

— А может быть, и...

— Да нет, — слишком хорошо знает он людей и факты.

— Частенько уже появляются авантюристы, охочие примазаться к чужой славе.

— Ну, тут не тот случай. Заподозрить его в каких-либо корыстных целях нельзя. Тем более, что он и от своей славы вроде отказывается. Это же видно из сопроводительного письма.

А когда я показывал товарищам — и партизанам, и литераторам — сами рассказы, все как один советовали их напечатать. И я решил отправить эти, видимо, совершенно не выдуманные рассказы в печать. Но, чтобы разъяснить читателю их историю, ликвидировать возможные кривотолки и юридические нелепости, я привожу полностью текст сопроводительного письма товарища Горевского:

«Уважаемый товарищ П. В.!

Я твердо решил отправить Вам эти свои писания. Да и люди говорят, что все, касающееся этого вопроса, надо отправлять Вам. Правда, не скрою, что кое-кто утверждал и обратное. Да не все ли равно? Писалось все это не для гонораров и не для почета. Поэтому мне наплевать. Моя первая книга причинила столько хлопот, что с меня хватит этих передраг. Может быть, и Вы ее читали,

может быть, и поругивали мою «Войну без флангов»¹ за глаза или в закрытых рецензиях, которых тоже мне присылали целую кучу. Конечно, извините бродягу, который отнимает Ваше драгоценное время, но житуха складывается так, что уже явно виден и конец ее; может быть, это будет и так и этак, я определять сроки не берусь.

Жизнь, описанная тут, еще не кончилась, она бурлит, а не тихо течет, угасая. Но она все еще никак не хочет становиться историей. Поэтому мне самому неясно, что оно такое: рассказы, новеллы, биографии или просто случаи из жизни, т. е. ее кирпичи. А кто-то, — не помню кто, — но знаю, что из горьковской плеяды реалистов, работавших на гребне дореволюционной и послереволюционной литературы, говорил примерно следующее: «Чем старше я становлюсь, тем больше меня интересуют рассказы и случаи действительной жизни, тем меньше привлекают мое внимание сконструированные повести и романы. Слишком много мои собратья по перу пихают в них известки, единственное назначение которой тонким слоем спаивать кирпичи». Или что-то в этом роде! Вполне присоединяюсь к этому мнению. Вот и посылаю Вам кучу таких кирпичей. А насчет известки — выбачайте! Чего нет — того нет. Но ежели кирпичи пригодятся и заинтересуют Вас, известку, я думаю, Вы и сами разыщете.

¹ Сколько я ни искал (в памяти и на полках библиотеки) книгу под названием «Война без флангов» — таковой не нашел. По справкам, выданным библиографическими отделами двух крупнейших библиотек страны, с 1941 г. и по сей день книги с таким названием в открытых фондах не значится. Правда, библиографы мне дали ценнейшие справки о книгах, названия которых чем-то им напоминали разыскиваемую... Запестрели фамилии: Шлиффен, Людендорф, Леер, Жомини, Балк, Клембовский и др. К нашему автору они явно не имели никакого отношения.

Что касается других фондов, где, может быть, в одном-двух экземплярах и хранится «Война без флангов», то до них у меня как-то не дошли руки. Поэтому поверим автору этого пока для нас не существующего труда на слово... (Примечание внештатного редактора).

Как Вы поймете, прочитав эти случаи из жизни, меня интересовали судьбы не всех людей, которых я встречал на своих жизненных дорогах и перекрестках, а только дела вояк, моих товарищей-партизан, людей, закаленных партией коммунистов в боях и труде. О них я уже писал. Но прошли годы... И мне вдруг захотелось сделать еще один «заход» по нашей жизни. Материала мне хватило бы еще на одну описательную книгу типа «Войны без флангов», скажем — «Война без тыла». Но уже не это занимает меня сейчас. Из отправной точки, каковой для большинства из нас явилась Отечественная война 1941—1945 гг., я пошел в две стороны: в прошлое — историю, и в настоящее... Тут было над чем подумать! Для путешествия в историю необходимы были знания и упорный, кропотливый труд исследователя; нужно было просиживать штаны в архивах, слепнуть над манускриптами, свитками, архивными делами двух-трехсотлетней давности; а для изучения нашей современности нужно было ездить, летать, ходить пешком, — облазить всю страну, побывать у сотен боевых друзей. А они уже стали только «бывшими партизанами», а в настоящее время — строителями коммунизма.

Партизанская война — это сложная на первый взгляд и запутанная боевая эпопея. Миллионы принимали в ней участие и в гражданской, и в Отечественной... Но каждый понимает ее по-своему; теории ее нет, практика самая разнообразная и противоречивая, уставы и наставления по ней никак не напишут; да и стоит ли, и можно ли их писать?! А как я понимаю своим умом практика, много думавшего о том, что мы сотворили, главная запутанность и неразбериха здесь вот в чем: в ней взаимодействуют — надстроечные категории (армия) и ненадстроечные (народ), то есть приходят в соприкосновение и взаимодействие военный и народный организмы, переплетаются стихийные и организованные элементы. В конечном счете это и есть точное слияние надстроечных и ненадстроечных явлений. Они несут в себе настолько сложную и специфическую функцию, что требуют создания специальной тактики, оперативного искусства

и стратегии партизанской войны, или, по крайней мере, определения ее места в общей стратегии — и политической, и военной. Во всяком случае, ясно, что одного военно-тактического подхода здесь явно недостаточно. Здесь нужен подход партийный.

Вот в какие дебри завело меня желание разобраться в наших кровных делах и судьбах необычным способом: исследовать их и в глубине веков, и в настоящем. Так должны делать ленинцы. Или нет? Не знаю, достиг ли я этой цели... Но во всяком случае старался. А так как жизнь человека состоит не только из одной философии, то я и поставил точку на этих писаниях, так как уже не имею ни времени, ни желания доводить дело до конца. Сегодня я отбываю в края, о которых не принято говорить вслух. Вернусь или нет, не знаю. Скорее, что нет. Только что перечитал все написанное. Мало, мало... Можно было сказать больше. И потолковее. Но — не успел. Посылаю Вам все это со следующим завещанием: пусть полежит у вас три года. Если же за три года я не явлюсь и не возьму рукопись обратно для тщательной ее переработки и дополнения — то дальше делайте с ней, что хотите. Можете напечатать в таком виде, как она есть, если, по вашему мнению, она способна заинтересовать кого-либо; можете растащить ее по кусочкам и фактам; использовать их в преобразенном виде в своих произведениях; можете сдать в какие-либо архивы, где хранятся неудачные сочинения всяких бедняг, которые пыжятся пролезть в историю; можете и выбросить совсем. Во всяком случае, по прошествии трех лет автор к вам не заявится и никаких претензий не будет. Если же Вы каким-то способом, на любой из которых я даю Вам полное право, вздумаете употребить мою рукопись, то все это должно появиться за подписью Алексея Кузьмича Горевого. На догадки Ваши и наших общих друзей я даю Вам полное право, но лишая Вас одного — публично высказывать эти догадки. Хотя я и знаю многих пишущих людей, уважаю, а, может быть, и завидую кое-кому из них, но причислять себя к писателям или мыслителям-профессио-

налам не имею ни желаний, ни права. Желаю всяческих успехов. Жму руку.

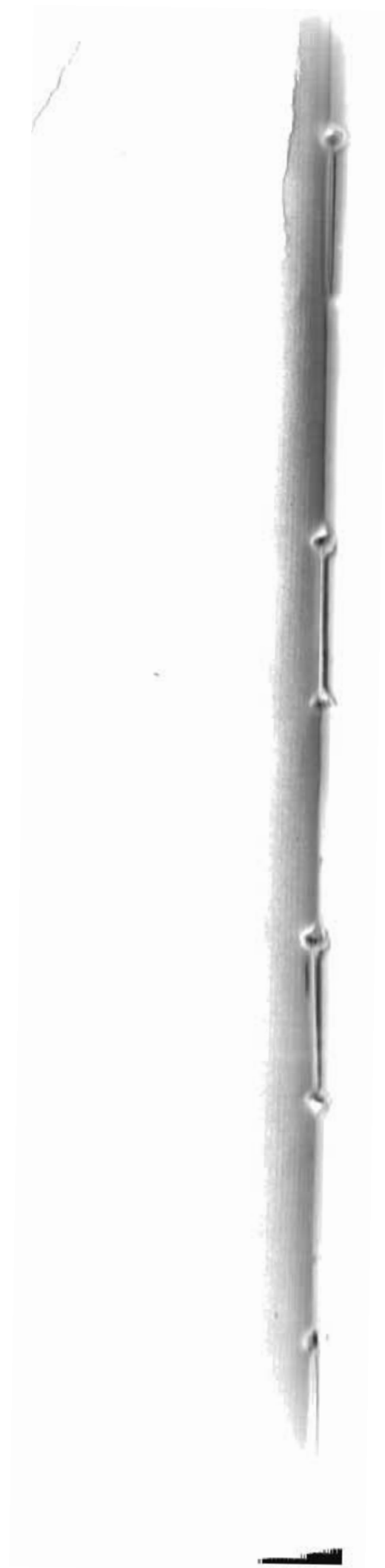
Ваш А. К. Горевой»

Мне остается от себя добавить лишь одно: три года, завещанные автором, давно прошли. Я очень внимательно перечитал рукопись и увидел, что эти рассказы, новеллы, или просто «случаи из жизни» от времени совсем не потускнели. В них есть что-то живое. Во всяком случае, читателю, мне думается, будут интересны эти, как выразился автор, жизненные кирпичи, сваленные кучей на мое попечение. Я было попытался по данному мне праву склеивать их известкой сюжетного вымысла. Но бросил. Пусть читатель получит все так, как задумал автор рукописи.

Я только разбил эти рассказы на две части, которые имел в виду и сам автор: настоящее и прошлое. История. До будущего Горевой так и не доехал.

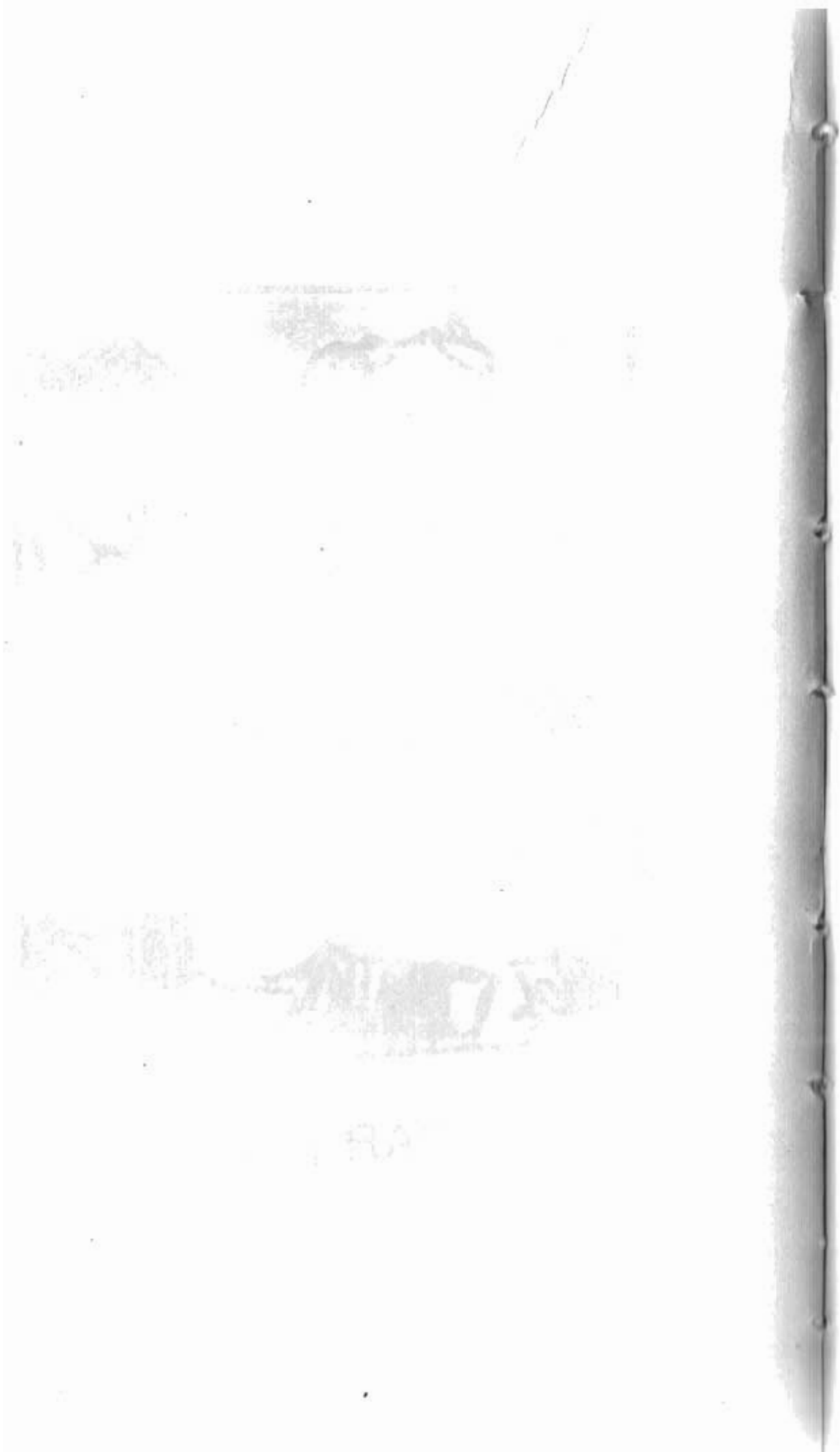
И последнее: поскольку все это писалось более четырех лет тому назад и писалось, может быть, о живых людях, жизнь которых не стоит на месте, а движется, ставлю читателя в известность, что факты, описанные в книге, относятся примерно к тысяча девятьсот пятьдесят четвертому — пятьдесят пятому годам, а действительные фамилии героев мне неизвестны.

П. Вершигора





ОТ БИЛГОРАЯ ДО БЕЛОВЕЖИ



Из дневника командира партизанской дивизии (февраль—март 1944 г.)

...23 февраля. Сегодня в нашем партизанском соединении большая суматоха, приподнятое, праздничное настроение и куча организационных дел и хлопот. Правительство одобрило наше предложение о реформировании нашей группы партизанских отрядов, которая с декабря прошлого года называлась «Соединением Вершигоры», в I Украинскую партизанскую дивизию им. дважды Героя Советского Союза С. А. Ковпака. Несколько дней тому назад, когда идея такой реорганизации окончательно созрела, я радировал Тимофею Умному¹ в шифровке за № 65 следующее:

«За месяц выхода в рейд наше соединение выросло на 500 человек и значительно пополнилось оружием за счет противника.

Пополнение идет преимущественно за счет бойцов и командиров Красной Армии, бежавших из плена. Увеличение количества по старым нашим традициям не идет за счет снижения качества.

В районе, куда мы вышли, сейчас находится много мелких партизанских групп и одиночек, которые вливаются к нам. Рост предвидится еще больший. Развитие

¹ Тимофей Амвросиевич Строкач — генерал-лейтенант — начальник Украинского штаба партизанского движения. Сейчас генерал в отставке.

партизанского движения, опыт, наличие боевых кадров переросло старые территориальные формы. Соединение нашего типа является хорошо слаженной, проверенной в боях воинской частью, действующей в тылу врага. Старые формы отрядов сейчас тормозят управление, маневренность и особенно рост офицерского состава, создают застой кадров.

Продумав и обсудив эти вопросы со старыми партизанами, командование пришло к выводу о необходимости реформирования нашего соединения в войсковую армейского типа легкую подвижную дивизию с тремя полками двухбатальонного состава, отдельным кавдивизионом, арт-минометной батареей, инженерно-саперной ротой и т. д.

Количественно нас пока маловато, но это не снижает качества наших боевых дел и удельного веса нашей работы. Главное же—это командные кадры. По опыту, перспективам роста и количеству их вполне достаточно для стрелковой дивизии.

От бригадной формы отказываюсь потому, что название это затаскано отрядами, в которых бригады больше похожи и по стилю и по содержанию на колхозные, а не на войсковые организации.

Процесс формирования уже начался, будет завершен на ходу и даст безусловную пользу для дела.

Прошу санкционировать реформирование, назвав соединение Первая Украинская партизанская дивизия имени дважды Героя Советского Союза К о в п а к а.

Первому полку прошу присвоить имя генерал-майора Героя Советского Союза Р у д н е в а С. В., павшего смертью храбрых в Карпатах.

Командирами полков назначаю: 1-го полка — Б а к р а д з е, 2-го полка — К у л ь б а к а, 3-го полка—Б р а й-к о.

Подпись»¹.

Сегодня мы получили ответ:

Вершигоре — на ваш № 65. «Вашу просьбу о реформировании соединения в Первую Украинскую пар-

¹ Институт Истории партии при ЦК КПУ, филиал Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛУ), фонд 63, опись 63—1, ед. хр. 3, л. 117—118.

тизанскую дивизию имени дважды Героя Советского Союза Ковпака одобряю.

Хрущев¹.

Радиограмма товарища Хрущева ободрила нас, и вдали от Родины мы почувствовали, что как в вопросах политических, так и в военно-организационных мы на верном пути.

Был митинг. В вёске Циосмы Билгорайского района и под Замостьем мы провели беседы со всем личным составом о приказе № 503².

Сейчас сижу на радиоузле. Радист Божченко шифрует принятое на митинге нашей вновь рожденной дивизии приветственное обращение к Военному Совету 1-го Украинского фронта и ЦК Компартии Украины.

Пока он шифрует, я вспоминаю маленький эпизод. Когда я прочел нашему «треугольнику» шифровку, кто-то ехидно сказал: «Было соединение Вершигоры, а те-

¹ ИМЛУ, ф. 63, оп. 63—1, ед. хр. 3, л. 119.

² Приказ от 23/2-1944 г. подытоживал первые две недели действий партизанского соединения за пределами границ Советского Союза. Он гласил:

«Приказ — По 1-й Украинской партизанской дивизии им. дважды Героя Советского Союза тов. Ковпака № 503, село Циосмы, 23 февраля 1944 года.

Наша часть перешла границы Украинской Советской Социалистической Республики и вступила в пределы оккупированной немцами в 1939 году Польши.

Это событие в жизни нашего соединения имеет громадную политическую важность. Мы одними из первых начинаем выполнять освободительную миссию нашей Армии — мы вступили на землю братского польского народа. В нашем лице народ поработенной Польши видит своих союзников и освободителей, видит армию великого русского народа, подавляющее большинство народа, его трудовая и наиболее бедная часть видит в нас свою армию.

Здесь же встретились с рядом военных группировок, очень близких к нам по их политическим убеждениям, как БХ (батальоны хлопськи), ППР (Польска партия Роботнича, борющаяся за демократическую Польшу), и враждебными нам по политическим убеждениям: ПЗП (Польский звязок повстанчий), НД (националисты-демократы, борющиеся за военную диктатуру). Все эти группировки, враждующие зачастую между собой, объединяются вокруг нас, как возле реальной силы, для совместной борьбы с немецкими захватчиками, помогают нам в ней.

Но все же, несмотря на общую монолитность польского народа, на его ненависть к немцу, среди него есть много шпионов, работающих на пользу многих государств и даже на оккупантов, Яр-

перь станет дивизия имени Ковпака». Как отвечать? Я подумал и сказал: «Конечно и у меня есть самолюбие и честолюбие. Но будем говорить так: история не нами началась, не нами она и кончится. Ковпак — это народный вождь, легендарный командир. Может быть, как человек он имеет недостатки, может быть, кое-кто из командиров его «плетку вспомнил»... Но дивизию мы назовем не именем человека, а именем легендарного партизанского командира».

— Ох, не пришлось бы вам каяться, товарищ командир, — услышался голос того же скептика. Но тут вдруг партизаны зашумели:

— А Руднев, а комиссар Семен Васильевич? — раздались голоса.

Тут и решили мы присвоить I-му полку имя нашего любимого комиссара.

Божченко кончил шифровку. Подклею-ка текст праздничной шифровки товарищу Хрущеву в свой походный дневничок.

кие примеры этого привожу: 19.2.1944 г. авиация противника бомбила наше расположение в селе Боровец, причем бомбила именно штаб и артиллерию, расположение которых противник, очевидно, знал точно через своих агентов. Но бомбили с опозданием на один день. Значит, наша разведка при помощи трудящихся поляков упредила разведку фашистов.

Большую помощь противнику в получении разведданных оказываем мы сами своим благодушием и разгильдяйством отдельных лиц командного состава. Так, при расквартировании части в селах Домостава, Коты, Здзядув, Струдзенцы политрук роты 4-го сб. лейтенант Руденко за красивые глаза одной смазливой польки выпустил из расположения села трех женщин, чего он вообще не имел права делать без разрешения штаба батальона, и, более того, нарушил приказ по части, запрещающий выпускать кого-либо из расположения части.

Кроме этого, есть еще ряд случаев, когда старшины рот, привозя фураж и продукты, берут с собой мирных жителей — подводчиков, которых потом отпускают зачастую без ведома штаба части; отправляя таким образом «языков» противнику. Большим подспорьем противнику являются также пьяницы и болтуны, разбалтывающие военные тайны за чаркой водки или хвастаясь перед девушкой.

Наконец, самый большой вред приносят мародеры, которые, к сожалению, еще есть в наших рядах и которые толкают колеблющегося крестьянина-собственника в руки немцев.

Крестьянин, у которого боец взял юбку или брюки, с охотой расскажет все, что он видел у своих обидчиков: кто они, сколько их

«Дорогой Никита Сергеевич.

В день 26-й годовщины Красной Армии шлем Вам и в Вашем лице нашим братьям по оружию: генералам, офицерам и бойцам Красной Армии боевой привет.

Славную годовщину мы ознаменовали ударами по врагу. Вывели из строя железнодорожные магистрали: Львов—Варшава, Владимир-Волынский—Люблин, Рава-Русская—Ярослав, взорвали водокачку, снабжающую гарнизон Львова водой, уничтожили электростанцию и водокачку крупного военного завода на реке Сан, производящего артиллерию, пустили под откос 12 эшелонов,

ехало и с каким вооружением, даст полные разведывательные данные противнику, мстя за обиду, за грабеж.

Приказ 200 в Польше получает еще большее значение, еще большую остроту. (Приказ 200 в отряде Ковпака—Руднева, по которому мародерство каралось расстрелом, партизаны так и называли: «Приказ двести — расстрел на месте!»). Только при поддержке населения, при условии, что оно будет видеть в нас освободителей, а не бандитов — мы победим.

Каждый боец и командир бдительность должен сочетать с культурным и вежливым отношением, уважать обычаи той местности, где мы действуем, и изучать особенности населения, классовую структуру общества, помнить, что мы находимся в капиталистической стране.

Для того, чтобы не допустить врагов и шпионов в наши ряды, для того, чтобы установить с населением дружественные отношения, при каз а ю:

1. Всему личному составу усилить бдительность, при занятии села немедленно перекрывать все выходы и входы и без пропусков штаба из гарнизона никого не выпускать.

Выдавать пропуска имеет право только штаб и начальник гарнизона данного населенного пункта.

Всех входящих в село немедленно задерживать, обыскивать и направлять в штаб гарнизона.

2. Прием бойцов производить только командирами полков с последующей проверкой Особым отделом дивизии в каждом отдельном случае.

3. Комиссарам батальонов, политрукам рот и партийно-комсомольским организациям провести массово-разъяснительную работу среди личного состава в разрезе приказа.

Еще раз предупреждаю весь личный состав, что за мародерство и пьянку—расстрел.

Приказ объявить всему личному составу части.

*Командир 1-й УПД подполковник
ВЕРШИГОРА*

*Начальник штаба 1-й УПД ст. лейтенант
ВОЙЦЕХОВИЧ*

(ИМЛУ, ф. 63, оп. 63—1, ед. хр. 3, л. 127—130).

уничтожили 2 самолета, автомашин — 52, бронемашин и танков — 4.

Убито более 800 гитлеровцев и до 300 человек взято в плен. В боях захватили трофеи, которые поставлены на вооружение: минометов — 40, винтовок и автоматов — 350.

Десятки поездов с награбленным имуществом не уйдут с нашей земли, две батареи ежедневно не получит германская армия, фашистскому гарнизону Львова даю первый звонок к отходу с Западной Украины. Это наш подарок Красной Армии в день ее годовщины.

Эта дата совпала с большим праздником для нашей части: правительство Украины санкционировало преобразование нашей части в Первую Украинскую партизанскую дивизию имени дважды Героя Советского Союза Ковпака.

Офицеры и бойцы-партизаны обязались оправдать доверие, умножить свои удары по врагу, отомстить ему за кровь и слезы украинского народа и других народов СССР, обязались драться так, как дерутся лучшие части Красной Армии, и своим умением, подвигами добиться звания Гвардейской партизанской дивизии.

Слава нашей доблестной Красной Армии!
Да здравствует наша советская Украина!
Да здравствует наш руководитель товарищ Хрущев!
Да здравствует наша Родина — Советский Союз!
Да здравствует наш вождь, Маршал Советского Союза товарищ Сталин!

Командир 1-й УПД — подполковник ВЕРШИГОРА.
Командир 1-го полка им. Руднева мл. сержант БАКРАДЗЕ.
Командир 2-го полка — майор КУЛЬБАКА.
Командир 3-го полка — капитан БРАЙКО

Зам. командира дивизии по политчасти — МОСКАЛЕНКО
Нач. штаба дивизии — ст. лейтенант ВОЙЦЕХОВИЧ¹

25 февраля. Вчера 24 февраля из вёски Циосмы дивизия передислоцировалась в с. Кособуды южнее Красныстава и Замостья.

Здесь думаем окончательно завершить давно подготовляющуюся реорганизацию подразделений и частей ди-

¹ ИМЛУ, ф. 63, оп. 63—I, ед. хр. 3, л. 119—121.

визии. Мы с Васей¹ и Мыколой² еще вчера спустили в подразделения подробный приказ о реорганизации. Народ разбирается, перетрясает штаты, хозяйство, тяжелое вооружение. Работа кипит.

27 февраля. Утром после марша, Вёска Груциско. На привале.

Подразделения соединения к 26 февраля были расположены на дневку уже из расчета выполнения приказа о реорганизации соединения в дивизию и в первый же день в полном составе приняли боевое крещение.

Противник сконцентрировал в районе Замостья до 500 человек, Янува — до 1000 человек, в Звежинце, Билгорае, Томашуве, Краснобруде — до 3000 штыков.

В первой половине дня противник мелкими группами, имея задачу — боевой разведкой уточнить месторасположение и силы частей дивизии, повел наступление из Звежинец—Замостье—Краснобруд.

Подпустив вплотную разведку противника, шедшую под прикрытием двух бронетранспортеров из Звежинца и Краснобруда, бронебойщики один бронетранспортер сожгли, пулеметным огнем отсекали пехоту. Второй бронетранспортер, видя участь, постигшую первый, повернул обратно на Звежинец.

Перестрелка тянулась около двух часов. Попыток к наступлению на этом участке противник больше не делал.

Более широкое дело завязалось в селе Шевня, в котором был расположен второй полк Кульбаки³.

Противник после первой разведки бросил на Шевню крупные силы при поддержке минометов и артиллерии. Позиция, занимаемая подразделениями 2-го полка в селе Шевня, была крайне невыгодна. Командир полка Кульбака выбросил подразделения вперед, занял высоту и в течение более пяти часов вел оборонительный бой.

¹ Василий Александрович Войцехович — нач. штаба дивизии. Герой Советского Союза, ныне работник лесного хозяйства.

² Николай Платонович Москаленко — замполит дивизии, сейчас также работает по лесному делу.

³ Майор Кульбака Петр Леонтьевич — Герой Советского Союза, ныне директор пенькозавода в Глухове.

В результате боя противник, понеся большие потери в живой силе, отошел частично на Замостье, частично на Краснобруд.

Из Замостья противник бросил на 3-й полк Пети Брайко¹ танки и бронемашину, однако обороны полка в селах Заречье и Вепшец сломить не мог и, потеряв 2 подбитых танка и бронемашину, отошел обратно. Особенно отличились хлопцы из взвода Хайталиева — бравого, тактически грамотного командира взвода, отличного снайпера.

Выйдя из боя и суммировав разведданные об обстановке в районе, приняли решение — частям дивизии передислоцироваться в села Лушач, Груциско, Зелено и Улюв с тем, чтобы выйти в район Руда-Ружанецка.

27 февраля. Продолжаю запись вечером в Руда-Ружанецка... Части дивизии расположились на дневку в селах Руда-Ружанецка и Хута-Ружанецка. Все обозы были замаскированы, выставлены пулеметные точки для стрельбы по воздушным целям, во всех направлениях разосланы разведки.

В середине дня бойцы кавдивизионного взвода ружейно-пулеметным огнем подбили шестимоторный транспортный самолет противника ME-323, пролетающий по курсу над Руда-Ружанецка.

Он совершил вынужденную посадку в районе Сусец, где пассажиры и экипаж самолета (их в общей сложности насчитывалось более 100 человек) заняли круговую оборону и послали разведку для связи с какой-нибудь воинской частью. Только что прибыла разведка, хлопцев обстреляли от скапотировавшего самолета. Видно, ему не подняться.

28 февраля 8-30. Вчера снова выслали усиленную разведку к месту аварии ME-323, но хлопцы на прежнем месте его не нашли. С утра прибыла целая вереница машин техназначения. После осмотра самолета экспертами он был разрезан автогеном, погружен на платформы и отправлен в Германию.

Обстановка к вечеру в районе Руда-Ружанецка была такова:

¹ Брайко Петр Евсеевич — командир третьего полка. Герой Советского Союза, ныне полковник. Военнослужащий.

На следующий день после нашего отъезда из **Боровца** противник бросил на Боровец, где мы стояли 12 и 13 февраля, звено бомбардировщиков и разбомбил его.

В **Билгорае** и вокруг концентрировались войска противника для действий против партизан. Дорога из **Тарногруда** в **Билгорай** усиленно работала. Из **Цешанува** через **Тарногруд** на **Янувские леса** пошла дивизия «СС» «**Галичина**», имея на вооружении 10 танков, пушки, пулеметы. Пока «галичане» проходили через местечко **Тарногруд**, населению было запрещено появляться на улице: появлявшихся расстреливали без предупреждения.

Из **Цешанува** на **Нароль** было отмечено непрерывное движение войск, оставаться в районе **Руда-Руженецка** не было возможности, идти же на север, в **Польшу**, нам пока запрещали.

Остался один путь — идти на юго-запад, в район железной дороги **Ярослав—Перемышль**.

28 февраля дивизия передислоцировалась в **Майдан-Сенявски**, южнее **Тарногруда** на 10 километров.

Что-то на заставе со стороны **Тарногруда** у **Цымбала**¹ вспыхнула стрельба и стихла. Опять шквал огня. Тут не до писания...

Вечером. Все тот же **Майдан-Сенявски**.

В 8-30 у заставы с. **Буковец** завязался бой с автоколонной противника, шедшей из **Сенявы** на **Тарногруд**. После короткого боя, оставив несколько десятков трупов, колонна отступила.

В **Майдан-Сенявски** мы напали на след партизанского соединения генерал-майора **Наумова**. Местное население рассказывало, что в селе **Павлова** 24 февраля был бой партизан с немцами, и на поле боя осталось 7 убитых партизан. В этом же селе нами подобраны были два раненых **наумовца**: комиссар отряда тов. **Московский** и начальник штаба отряда.

Раненые **наумовцы** остались на поле боя и были скрыты населением.

В с. **Майдан-Сенявски** было решено остановиться на более длительный срок с тем, чтобы разведать обстановку.

¹ **Андрей Калинович Цымбал** — командир батальона. Герой Советского Союза, ныне председатель колхоза.

ку за рекой Сан и обстановку на железной дороге Львов—Перемышль.

Однако, в результате боя в Малом Буковце, противник стал концентрировать свои силы. В м. Тарногруд прибыло 10 автомашин с живой силой, 2 танка, две 75-мм пушки. В Сеняве были сконцентрированы различного рода легионы. Разведка, бывшая в районе Лежайск—Рудник—Соколув, нащупала в урочище Лентовня крупные склады русских боеприпасов.

Как можно удержаться? Склад боеприпасов! Наверно, солидный — ведь тут, на Перемышльском и Львовском направлениях, в 1941 году стояли наши корпуса стратегического прикрытия. Они полегли или отошли, а оружие фашистская сволочь собрала.

Куда девался генерал Наумов? Вот чертова конница — задрал хвост и подался куда-то на Карпаты. Или, может, за Сан? Связь с ним не работает никак.

Посоветовался с Васей и Мыколой, с Давидом¹ и Петей Брайко. Решаем попробовать прорваться за Сан. Войцехович разрабатывает операцию, первый вариант — бродами через Сан, второй — по захваченному мосту через Сан в районе Кшешува.

Поздно ночью...

Дивизия вышла из Майдан-Сенявоки. Маршрут и график движения:

Майдан-Сенявски	— 00 км	19-00
Бела	— 09 „	21-00
Нагурна	— 04 „	22-00
Домбровица Дуже	— 06 „	23-30
Ожанна	— 03 „	0-15
Ожанна Мала	— 02 „	0-30
Курилувка	— 02 „	0-45
Брод через р. Сан		
Пшиховец	— 05 „	1-45
Переезд через ж. д.	— 02 „	2-05
Ильня	— 02 „	2-25
Хуциско	— 04 „	3-05
Воля-Зарчицка	— 05 „	5-20
Лентовня	— 06 „	5-20

50км

¹ Давид Ильич Бакрадзе — командир первого полка. Герой Советского Союза. Ныне председатель одного из райсоветов депутатов трудящихся г. Тбилиси.

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ

ГПЗ (головная походная застава) — кавдивизион, разведрота — командир Клейн.

Авангард — 3-й сп (стрелковый полк).

Главные силы — 1-й сп с подразделениями штаба дивизии (штаб дивизии, комендантский взвод, санчасть, хозчасть, минёры, батарея).

Арьергард — 2-й сб (стрелковый батальон).

Маяки — один взвод от 2-го кавэскадрона.

После полуночи.

Сан разлился. Брод у Пшиховца оказался непроходимым. Строить наплавной мост через бурную горную реку даже наш спец, строивший переправы через реки Терев, Днепр, Припять, Горынь, — Яковенко¹, человек медлительный, на ветер слов не бросающий, не берется. Приходится задержать продвижение дивизии.

Дневка в Домбровице. В район Сана высылаю своим излюбленным способом — веером—несколько групп разведчиков. Задача одна — найти переправу.

1 марта. Противник, нащупав местонахождение нашей круговой обороны, начал почти с утра наступление. Атакам подверглись части дивизии, расположившиеся в селах Домбровица—Ожанна.

Начал бой азербайджанский легион, который наступал на Сеняву, полицейские части «СС», выступившие из Тарногруды, и регулярные немецкие войсковые части, в том числе полковая школа танкового полка, наступавшая от Лежайска.

Противник, двигавшийся из Лежайска, имел на вооружении танки и артиллерию. Встреченный заставами на подступах к частям дивизии, противник был вынужден развернуться и принять боевой порядок. Но потеряв свой боевой дух задолго до ввода в бой наших главных сил и будучи встречен сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем, противник отошел в Домбровицу, понеся большие потери.

¹ Командир саперной части дивизии Яковенко, колхозный бригадир из с. Блитча Иванковского района Житомирской области. После войны председатель колхоза.

Немного иначе обстояло дело в селе Ожанна. Курсанты немецкой полковой школы (номер полка 39), пользуясь благоприятными условиями местности (лес подходил вплотную почти к самой Ожанне), ворвались в село. Бойцы кавдивизиона, расположившиеся здесь на дневку, встретили врага мощным автоматным огнем. Завязался ожесточенный бой, перешедший в рукопашную схватку. В этом коротком, но ожесточенном бою вся полковая школа была уничтожена. Противник отошел. Но эта победа досталась ценой больших потерь: в бою смертью храбрых погибли два командира эскадронов, тт. Ларионов и Гапоненко, погиб командир взвода Уткин. Вечная им слава! Хорошие, смелые были ребята, грамотные командиры, славные товарищи...

До поздней ночи враг группировал свои силы, обстреливая села Домбровица и Ожанна из пушек¹.

В момент боя, к концу дня, подошла разведка из-за реки Сан. Разведкой было установлено, что в местечке Кшешув действительно имеется мост через реку Сан, охраняемый небольшим гарнизоном до 30 человек. Кроме охраны моста и постов ВНОС, в самом местечке Кшешув постоянного гарнизона нет.

¹ В оперативной сводке специального отдела (I б) при штабе германских вооруженных сил, ведавшего изучением партизанского движения на Востоке, от 1 марта 1944 г., в частности, говорится:

Верховное Командование сухопутных сил

Перевод с немецкого
Ставка, 1. 3. 1944.

Генеральный штаб сухопутных сил

Отд. армий иностранных государств
на Востоке (I б)

ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«...В результате создавшегося положения на фронте в северо-западной части полосы группы армий, сильные, имеющие на вооружении тяжелое оружие и, видимо, включающие в себя часть регулярной армии, партизанские соединения вступили на территорию польского генерал-губернаторства. Проводя многочисленные акты саботажа, особенно на основных путях подвоза, отряды сумели пробиться до Сан близ Перемышль и Летайск, где и закрепились в лесистой местности вокруг Билгорай. Отсюда они угрожают железнодорожным линиям Перемышль — Люблин и Люблин — Львов, а также ряду важных военных и промышленных предприятий».

К этому же времени относится высказывание немецкого военного обозревателя генерала Дитмара, характеризующее действия советско-польских партизан следующим образом:

«В тылу германской армии образовался численно сильный враг. Деятельность вражеских отрядов создала серьезные препятствия германскому командованию в снабжении фронта и передовых линий, став в конце концов бичом в этих районах».

(УФИМП, ф. 63, оп. 63—I, ед. хр. 3, л. 103 (Архив украинского штаба партизанского движения).

Решаем продолжать выполнение приказа № 512: захватить склады боеприпасов в **Лентовне**. Захват моста и уничтожение гарнизона в местечке **Кшешув** поручены командиру 3-го полка капитану **Брайко**.

2 марта. В 19-00 части дивизии двинулись на **Кшешув**. На пути, в селе **Бжиска-Воля**, был принят груз, сброшенный для нас самолетом. Пришлось принимать самолет на ходу. Первый подобный случай в нашей богатой практике!

Из радиограммы, присланной Хрущевым, мы знали, что самолет летит из-под **Киева**. Значит, долетит он до района **Вислы** где-то около полуночи. За это время колонна пройдет километров семнадцать-двадцать на северо-запад.

Опознавательный сигнал в эту ночь был так называемый конверт: четыре костра по бокам, пятый — печать называется, самый большой, — посередине.

Действительно, где-то около двенадцати ночи слышим гул самолета.

И сразу из командирских санок в ночное небо взвились ракеты. Тут же вспыхнули пять движущихся костров. На ходу они образовали «конверт».

— На всякий случай рота **Деянова** от костров подальше, — дал я команду.

Помигали мы ему зеленым и красным фонариком. Он ракетой нам ответил.

— Значит, свой, — облегченно вздохнул **Мыкола**.

По третьему разу, когда проходил над кострами, вдруг видим: прямо над кострами, подсветившими жиденькие молочные облака, в небе вспыхнуло три светленьких пятнышка — сбросил...

Как раз колонна проходила через небольшую вёску. Народ спал. Мы шли тихо. Приказ был — в хаты не заходить. Дисциплину марша хлопцы в таких условиях крепко соблюдали. Ни одна собака не брехала — не было собак в тех краях на сотни километров. Вот тут случилась забавная история. Когда стал падать груз, как мы ни старались, гаму и треску было порядочно. Народ проснулся в хатах. Стали в окна выглядывать. А кто полюбопытнее — и во дворы выполз. Из хаты, возле которой я стоял, вначале древняя старушка вылезла. Со страху дрожит, мелко-мелко крестится, а вперед все-таки лезет. А

следом за ней высокий такой старик в кожухе, накинутом на плечи, показался.

Старуха крестится и деда своего что-то пытается. А он важно так перекрестился широким крестом и старухе авторитетно так заявляет:

— Матка-бозка ченстоховска... Не иначе — как большевики. Прямо с конями и санями с самолета прыгают...

Не стал я того старика отговаривать. Мало ли что спросонья человеку показаться может? Пускай себе думают, что вся эта орда ночью с самолета прыгнула. Завтра будет идти по нашему следу фашистская разведка, может быть, и на этого старика набредет. Вот пускай и доложит, что у нас даже кони и санки прыгают ночью прямо с самолета.

2 марта. Пока хлопцы принимают самолет, бегают по полю, разыскивая на снегу парашюты и грузовые мешки, у костра запишу вчерашнюю баталию. Противник понес большие потери. Уничтожена вся полковая школа № 39. Эх, жаль Гапоненко, с ним я вместе выбрасывался еще в Брянские леса, жаль Ларионова и Уткина, героев Карпатского похода. Мы похоронили их в Домбровице.

Пять разворотов еще сделал самолет над нашим конвертом. Вспыхивали в небе светлые кружочки, разрастались в большие купола парашютов, приближаясь к земле. Четырнадцать грузовых мешков сбросил самолет. Быстро собрали деяновские орлы эти мешки.

И сразу команда:

— По ко-о-ням... По ко-о-ням...

В 24-00. Мы ускользнули и сейчас подходим к Сану, Брайко уже, судя по перестрелке, ведет бой за переправу.

До рассвета прошли на рысях километров сорок пять.

3 марта. В 1-00 части дивизии подошли к Кшешуву. За короткое время местечко было освобождено от противника. Однако командир полка допустил ошибку — увлекшись очисткой местечка от противника, тов. Брайко совсем выпустил из виду захват моста, противник же, подбросив из Рудника танки, занял село Буды, и теперь захватить мост можно было лишь ценой больших потерь.

Захватив склады продовольствия в м. Кшешув, части дивизии отошли на Липны-Дольне и Липны-Гурне.

Здесь и стали распаковывать парашютные мешки. Содержимое обыкновенное: гранаты, патроны для бронебоек и автоматы, мины разных калибров и разного назначения, медикаменты, газеты, письма от родных: жен, матерей и детей... Но кроме всего этого, была еще в каждый мешок вложена записка. Обыкновенный листок, вырванный из фронтового блокнота.

На нем торопливо, карандашом, иногда прорывая графитом бумагу, неизвестные нам товарищи писали на коленях или планшете слова фронтового приветов:

«Боевой привет партизанам глубокого тыла! От партизан воздуха».

«Бейте гадов-фашистов метко и крепко! Патронов доставим! Взрывчатки тоже!..»

«В бой, хлопцы-ковпаковцы! До полной победы над врагом! Боевой летный привет и пожелание скорой победы!»

А так как мешков было четырнадцать, а фантазия у летчиков, видно, подгуляла и выдумывать было некогда, поэтому в последние два мешка были положены записки такого откровенного содержания, что их и в дневник не запишешь.

А под каждой из четырнадцати записок была одна и та же подпись:

«...экипаж летчика Павлика Михайлова». Так и подписался он — «Павлик¹».

4 марта. После однодневного отдыха дивизия дислоцировалась в селе Лукова. Сложившаяся обстановка требует принятия немедленного решения и быстрого проведения его в жизнь. Противник сконцентрировал силы, перешел к активным действиям. К тому же за нами, видимо, увязалась часть сил, выделенных для преследования соединения генерал-майора Наумова.

Куда он девался? На Карпаты не прошел — это яс-

¹ Об этой работе нашей авиации агенты польского эмигрантского правительства доносили в Лондон: «На территории восточных польских Подляшья, — говорится в одном из многочисленных донесений, — в широком масштабе начались боевые действия партизанских отрядов. Начиная с 5 февраля, по ночам с самолетов сбрасывались люди, оружие и боеприпасы. Примерно к 10 марта доставка грузов приняла значительные размеры». (Боевое содружество польских и советских партизан, Соцгиз, М., 1959, стр. 37).

но. В последних числах февраля он ходил вдоль Сана. Тоже, видимо, в поисках бродов или переправы. Переправился ли, нет уверенности. А вот ушел ли на запад или повернул на восток? Чтобы оторваться от двойного преследования, думаю, не махнуть ли на север? Надо собрать свою «Военную раду»... Я докладываю свои соображения. Остановиться в районе Билгорайских лесов — это значит подвести дивизию под удар. Выход на юг закрыт.

В районе железной дороги Львов—Перемышль базируются резервы армейской группы фашистов «Украина» и тылы 4-й танковой армии, отступившей под ударами Первого Украинского фронта. Все села в районе железной и шоссейной дороги Львов — Перемышль забиты войсками. Фронт подошел к району Тернополя. На фронте противник, по всему судя, перешел к контрударам.

Выход на запад — тоже маловероятен: река Сан не остановилась, санная дорога, простоявшая несколько дней, испортилась, на мостах сейчас поставлена усиленная охрана. Противник, ведя активные боевые действия против дивизии, одновременно подтянул к Сану резервы и прилагает все усилия, чтобы не пустить нас на запад.

Остается единственный путь — на север.

После оценки сложившейся обстановки принято решение все же выходить в Польшу. Обо всем этом доложил по рации тт. Хрущеву и Строчаку.

4 марта в 15 часов. Идет бой 2-го полка нашей дивизии в селах Хмелек и Лукова Билгорайского района с наступающим из Билгорая противником¹. Бой горячий. Только что донесли, что взвод разведчиков во главе с Барсуковым, находясь в засаде на железной дороге, уничтожил дрезину с находившимися в ней гитлеровцами.

5 марта. 4 марта к концу дня противник при поддержке танков и артиллерии повел наступление из Билгорая на Хмелек — Лукова, где располагались части дивизии.

Однако, заняв выгодные позиции, подразделения 2-го сп отбили атаки противника и в ночь на 5 марта части

¹ По свидетельству Франтишека Спустека в Хмелеке гитлеровцы потеряли более 500 человек убитыми. Эти сведения даны были Герою Советского Союза Брайко, ездившему по местам боев в 1957 году вместе с польским историком, магистром наук, полковником Войска Польского.

дивизии передислоцировались в село Бандыш Краснобродского района, где расположились на дневку. Лихой партизанский налет 2-го стрелкового полка майора Кульбаки на гор. Красноброд. Гарнизон Краснобруда разгромлен. Убито 40, взято в плен 47, а остальные разбежались и вылавливаются польскими партизанами «батальона хлопського» под командой Блыковицы. Руководство, видимо, придает большое значение нашим действиям в Польше. Несколько запросов от Строкача и один от Хрущева. Запрашивают обстановку¹.

¹ Этот повышенный интерес объяснила следующая телеграмма, в адрес Верховного Главнокомандующего, о которой мы не могли тогда знать:

Командир Первой Украинской партизанской дивизии имени дважды Героя Советского Союза товарища КОВПАКА, подполковник ВЕРШИГОРА, по вопросу о политической обстановке на территории Польши и причинах выхода его за пределы Украины донес следующее:

«Политическая обстановка Польши благоприятствует нам. Преобладающее большинство населения видит в нас своих освободителей. Польский народ готов к вооруженному восстанию и ждет сигнала. Народ ждет этого сигнала из Лондона, хотя и не верит в реальную помощь оттуда.

Мои осторожные попытки дать этот сигнал от вас, не удалась. Нити управления ведут в Варшаву и далее. Все дело сводится к тому, что в Польше нет реальной политической и военной силы, способной выхватить управление из рук правительства, крупнобуржуазных и средних кадров офицерских кругов.

Эти круги охотно идут на сотрудничество с нами в борьбе против немцев, активно помогают нам, имея указания: «рассматривать советских партизан как своих союзников». В то же время они открыто заявляют опасение, что мы навяжем им свою политическую систему.

Батальоны хлопские (ВХ) организационно представляют собой копию наших местных партизанских отрядов.

С населением отношения строю с учетом, что это было государство, где за деньги продавалось все. Приказ расплачиваться золотыми и марками за продукты у польского населения перевернул все понятия о нас.

В ы в о д: Польский народ способен на взрыв большой силы в тылу немцев. Для этого необходимо внести ясность в дипломатические отношения или найти удобный палиатив. Нужно, чтобы руководство восстанием перешло в наши руки. Это могут сделать советские партизаны во главе с честными, грамотными, умеющими понять особенность народа, руководителями.

Уйти в Польшу меня вынудило:

1. Концентрация сил противника вдоль коммуникации Львов — Краков, с которой у меня нет сил бороться.

2. Указанные выше политические условия, при которых советские партизаны в Галиции (Львовская, Дрогобычская, Тернопольская и Станиславская области) чувствуют себя, как в Германии, а в Польше не хуже, как в настоящих советских районах.

3. Договоренность с Наумовым, что он парализует дорогу Львов—Краков, а я Львов — Варшава, что мною и выполняется».

В е р ш и г о р а.

№ 100

Указанную выше политическую обстановку в Польше полностью подтверждает командир партизанского соединения Герой Советского Союза генерал-майор Наумов, который, совершая рейд в западные области Украины, достиг района Самбор Дрогобычской области и в результате непрерывного преследования противником вынужден

6 марта. На стоянке в селе Бандыш. Бомбежка с. Бандыш, где дислоцировалась сутки наша дивизия, никакого урона партизанам и обозу не принесла.

В ответ на краснобрудский бой противник подбрасывает авиацию. Снова пробомбили Бандыш, не нанеся, однако, существенных потерь.

7 марта. Кособуды. 6 марта дивизия передислоцировалась в район Кособуды — Заречье — Верховина.

С наступлением рассвета противник (части голландской дивизии «СС» «Викинг») повел боевую разведку и в 11-00 6 марта начал наступление из Звезинец — Рудки силами до 800 человек при поддержке трех танков, артиллерии и минометов на оборону 1-го сп в с. Кособуды. В 15-00 другая группа противника из Замостья силами до 1000 человек с 3 танками, 3 бронемашинами, артиллерией и при поддержке авиации наступала на с. Вепшец — Заречье, где оборонялся 3-й сп.

В результате ожесточенного пятичасового боя было уничтожено более 300 солдат и офицеров противника, сожжено бронбойщиками 5 средних танков и бронемашин, сбит один самолет-разведчик. Села Кособуды, Вепшец и Заречье были противником подожжены.

Под давлением превосходящих сил противника части дивизии, форсировав в ночь на 7 марта с боями железную дорогу Замостье—Юзефув, вышли в Гошне-Раденецка. Отступая, мы уничтожили все мосты на реке Гораец. Во время форсирования железной дороги заслоном кавди-

был также выйти на границу с Польшей в районы северо-западнее Рава Русская.

В связи с приближением линии фронта к границам Польши и необходимости выхода украинских партизанских соединений и отрядов в западные области Украины, а также в связи с указанной выше политической обстановкой в Польше, прошу разрешить некоторым украинским партизанским соединениям выйти в Дрогобычскую, Станиславскую и Черновицкую области через территорию Польши восточнее Люблин, Сандомир, Жешув и Ясло.

Выход отрядов в западные области Украины по указанному маршруту наиболее благоприятен и возможен без особых потерь в живой силе и технике.

Кроме того, для организации и руководства нарастающим народным партизанским движением в Польше не следовало ли бы создать Польский Штаб партизанского движения.

визиона был подбит, захвачен и уничтожен паровоз, 5 платформ с танками и 8 платформ с автомашинами.

7 марта. Положение осложняется. Трудно с боеприпасами. Пробьемся ли на север? Посылаю молнию командованию. Радиограмма № 108—Хрущеву и Строкачу.

«К 15 февраля противник сконцентрировал в районе Ярослав — Рава-Русская — Билгорай силы для уничтожения нашей дивизии. С 20 февраля веду ежедневные бои с отдельными частями противника в составе: 115 пехотный охранный полк, дислоцировавшийся в Ланьцуте, 1-й «СС», полицейский полк из Кельце, 26 «СС» полицейский полк из Люблина, мотобатальон 22-го «СС» полицейского полка из Львова 1—2 полка «СС» дивизии «Галичина, отдельный татарский легион, отдельный батальон организации Тодта и другие части неустановленной нумерации. Приданные им средства усиления — две роты вновь сформированного 500-го танкового полка, сформированного в январе в Кракове, и эскадрилья бомбардировщиков.

По 4-е марта вел ежедневные успешные бои с этими частями противника, используя отсутствие единого командования и вотчинные интересы Львовского, Краковского и Люблинского командования, старающихся спихнуть нас друг другу.

Маневрируя, занимал городишки Улянув, Кшешув, Тарногруд, Красногруд.

После приезда во Львов Франка и неудачного покушения на его поезд польскими партизанами, подчиненными майору Зомбу¹, противник занялся нами более серьезно.

В Люблинских и Краковских газетах помещен ряд статей, задачей которых было вбить клин между нами и польским народом.

Противник вынужден признать, что «большевистская банда-десант, прорвавшаяся в глубокий тыл», нашла сим-

¹ Майор Зомб — представитель лондонского правительства, неоднократно пытавшийся вести с нами переговоры и выведать информацию.

пятии среди народа «своим идейным,— как он выражается,— поведением». Газеты обещают польскому народу, что он еще раскается в дружбе с нами, и заканчивают угрозами и ссылками на Катынь.

5 и 6 марта на нас брошены части «СС» голландской дивизии «Викинг» при поддержке бронемашин, танков и авиации. В бою 6 марта уничтожено: один тяжелый танк, одна бронемашина и еще ранее сбит шестимоторный «Мессершмит-323».

Всего за время боев уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров противника. Бой принимали с тщетной надеждой получить боеприпасы, в которых ощущаем острую нужду. Последние дни понесли потери: ранено свыше ста человек, вышла из строя пушка. Параллельно с боями проводили диверсионную работу, в которой отчитаюсь позже.

Ощущая острый недостаток боеприпасов, принял решение: выходить на север, форсируя Буг, на укомплектование оружием и боеприпасами.

Прошу подготовить в районе Луцк—Сарны транспорт с оружием. Ориентируйте обстановку в районе Брест—Ковель. Вершигора».

8 марта. Части дивизии вышли в район Отроч—Здзиловице Янувского района.

Противник уже более 15 дней преследует нашу дивизию, навязывает нам тяжелые, изнуряющие нас переходы. А тут наступившая распутица и пересеченная местность крайне затрудняют движение. Были 6 морозы, легко было бы оторваться от противника, дать личному составу передышку. Необходимо резкое повышение маневренности с таким расчетом, чтобы в ночь делать не 25—30 километров, а 60 и даже 80. Махнули же мы в конце февраля по санной дороге марш 95 километров в сутки.

Для повышения маневренности частей дивизии во время стоянки в Отроче провели реорганизацию дивизии в конную. Весь личный состав посажен на коней. Подразделениям дивизии оставлены повозки для раненых, по две повозки на роту для перевозки боеприпасов и тяжелого вооружения и по одной хозяйственной: в штабах полков оставляю по одной повозке для перевозки штабных документов и рации. Для раненых и

боеприпасов отобраны самые лучшие повозки и лошади. Таким образом, дивизия получила возможность совершать более быстрые и более длительные переходы, несмотря на бездорожье.

В эти же дни лучшие бойцы и командиры 3-го полка — двадцать три лучших товарища — за мужество и стойкость в бою с превосходящими силами противника, за отражение многократных атак противника при поддержке танков и авиации в районе Замостья были награждены личным оружием.

Советовался со своей «Военной радой». А чем еще мы можем награждать?

Несмотря на то, что весь личный состав посажен на коней, маневренность дивизии еще больше затруднена наступившей оттепелью. Санная дорога пропала, по шоссе продвигается противник, а наши партизанские дороги стали просто непроходимы.

Для того, чтобы ввести противника в заблуждение относительно истинных наших намерений, высылаю диверсионные группы, имевшие задачей разгром фольварков и промышленных предприятий в районе Люблина. Высланным группам даю район действий 4—5 км южнее и юго-западной Люблина. Части дивизии Вася расположил круговой обороной в селах Отроч и Здзиловице, дал капитану Кальницкому¹ команду заминировать дороги, ведущие в расположение частей, и установить на лесных дорогах завалы. Остановились, чтобы дать хотя бы короткую передышку людям и конскому составу.

Ох, не люблю я эти стоянки! Движение — мать партизанской тактики...

Высланные во все стороны от района стоянки дивизии разведки крупных сил противника не обнаружили. Однако к исходу дня 9 марта в селах Бранев и Хшанув было отмечено появление противника. Дал указание Васе усилить заставы и посты в направлении этих сил. Разведка, посланная для уточнения данных о противнике, донесла о крупной концентрации противника в селах Галышев, Бранев, Хшанув. Черт бы их побрал! Не дадут отдохнуть и ковырнуть Люблин.

¹ Капитан Кальницкий — начальник инженерной (саперно-подрывной) службы дивизии. Харьковчанин, подрывник, храбрый диверсант.

Ночью пишу дневник. Появляется спокойный Василь. Это не к добру. Он всегда спокойный и даже веселый в самые трудные минуты. Надо немедленно сниматься. Но все дороги мы сами заминировали.

Утром... Вчера одновременно с получением разведдонесений (разведка начинает запаздывать) в 23-00 противник повел наступление на оборону 6-го батальона. Завязался горячий ночной бой, пьяные эсэсовцы лезли на оборону 3-го сп, несмотря ни на какие потери. Разведка противника показала в районе обороны 1-го полка.

10 марта. Отманеврировали в Янувский район.

Здесь немного разобрался в обстановке. Критическими были двое суток — с 6 по 8 марта. Особенно в ночь на 7-е. Оказывается, на нас наступали не только передовые части дивизии «Викинг», 14 «СС» «Галичина», но и один полк еще одной дивизии Роммеля (кажется, 8-ой — уточнить). Задача этим частям: окружить и удержать нас в Кособудах вторую ночь. А утром седьмого — всеми силами навалиться и до вечера расколотить наши главные силы. Тактика известная. Ее еще в Карпатах под Делятином применял генерал Кригер и майор Петров — под Шепетовкой. Там мы вышли. Правда, потеряли комиссара Руднева. Очень выручил нас старик-лесник из Кособуд, Станислав Сажинский. Он провел нас такими тропами, которых нет ни на каких картах. Точно как под Делятиным Мыкола Струк. Опомнился фриц только тогда, когда Усач¹ долбанул на железной дороге эшелон с танками. Это уже третий — с танками: два — под Янувом и под Перемышлем пустили под откос, а этот захватили, подорвали танки на платформах и подожгли. Горело добре!

Взвесив создавшуюся обстановку, в 4-00 10 марта дивизия от Отроч пошла на Бискупе, Тарговиске и Векжев. Для прикрытия движения дивизии в Здзиловице был оставлен 3-й полк с задачей удержать село до 6-00 10 марта.

Дорога из Отроч на Бискупе была нами уже преграждена рядом минированных завалов. 6-й батальон, оставленный для обороны Здзиловице, дважды отбивал ата-

¹ Усач — (Ленкин Александр) — командир кавдивизиона, Герой Советского Союза, ныне инженер лесного хозяйства.

ки противника и лишь по приказу командования был снят с обороны.

В результате ожесточенного семичасового ночного и утреннего боя противник потерял более 200 человек убитых. Наши потери — двое раненых.

К рассвету 9 марта дивизия заняла оборону на рубеже Бискупе — Закжев — Никодемов.

День прошел спокойно. Группы, высланные для диверсий в район Люблина, свою задачу выполнили: взорвали ряд мостов, уничтожили два спиртовых завода и все внимание противника отвлекли на район Люблина. Но к вечеру противник вновь обнаружил место стоянки и повел наступление на села Бискупе и Тарговиске из оставленного нами Отроча, из Туробина и местечка Высоке. А, будьте вы неладны!.. Демонстрация моя наступления на Люблин не отвлекла сил противника. Видимо, их у него немало. А тут плохие карты и нет хороших помощников по разведке. Таких, которые умели бы думать, анализировать, делать выводы из неясной обстановки.

Противник силой до 1000 человек, переброшенный по узкоколейке в районе Высоке, разгрузился из эшелонов на фольварке Старый Двур и, развернувшись цепью, пошел в наступление на Закжев, прямо к штабу дивизии. Но момент разгрузки совпал с выступлением частей дивизии из села для дальнейшего марша. Чтобы оторваться от противника, был намечен 30-километровый переход, но дорога настолько плоха, что люди вязнут в грязи буквально по колено, повозки с ранеными и боеприпасами застревают, лошадей в повозках приходится менять через каждые 5—10 километров.

Рассвет застал дивизию в глухом селе Издебно, вдали от сколько-нибудь крупных коммуникаций противника. Но все же наше местонахождение было обнаружено разведкой противника, и к вечеру 10 марта наша главная походная застава встретилась с разведкой противника, пытавшегося прорваться к нам в Издебно. Сбив разведку и захватив переезд на шоссейной дороге Красныстав—Люблин, дивизия глухими дорогами, избегая крупных населенных пунктов, форсированным маршем стала пробиваться на север.

Попытки вести колонну единой компактной массой затрудняют движение. Грязная, труднопроходимая до-

рога утомляет лошадей, и колонна растягивается более чем на 10 километров. Попробую вести дивизию двумя-тремя колоннами. Риск, конечно, есть — теряю в ударной силе, плотности обороны, увеличивается вероятность встречных боев, но выигрываю в быстроте движения, сохранении дорог.

Все ж таки удар диверсионных групп по окрестностям Люблина дал нам пока кратковременную передышку. 8 и 9 марта противник только издали щупал нас — наступления не предпринимал.

Ночь на 10 марта. Сегодня рискованная ночь — переходим шоссейную дорогу Замостье — Люблин, пересекали железную дорогу Люблин — Холм и шоссе, идущее в этом же направлении. Приходилось выставлять целых шесть заслонов и на каждом — бой. Только бы не застрять посередине. Попадешь, как в клетку щегол.

11 марта. Кулик. Ну и ночка была! Фу-у... Но все же прорвались... Опишу по порядку. Это похлеще, чем Карпаты. К моменту подхода дивизии к железной дороге Холм—Люблин в селе **Вулька-Каньска** на колонну 3-го полка, которая как раз переходила через шоссейную дорогу, противник напал силой до 200 штыков. Пользуясь темнотой, он подошел вплотную к заслону, поражая огнем проходившую через переезд колонну. Командир 3-го полка капитан Брайко развернул одну роту 6-го батальона. Начался встречный для заслона, а для всего полка как бы фланговый бой. В результате было уничтожено: 2 грузовых машины, 1 легковая и несколько десятков гитлеровцев.

Переправа через шоссейную дорогу была обеспечена.

Собрав колонну и сконцентрировав всю дивизию в районе дороги **Олешники—Вулька-Каньска**, я решил дать отдых лошадям, чтобы как можно скорее проскочить железную дорогу. Выслал на железку 2-й полк Кульбаки для разведки и захвата переезда. Пока занимали переезд, со стороны **Травников** показался пассажирский поезд, шедший на Холм. Минировать дорогу не успели, обстрел состава результатов не дал, и паровоз, набрав пары, ушел на станцию. Ротами заслонов было уничтожено 100 погонных метров железнодорожно-

го полотна и убито 22 человека немцев и полицейских, выехавших из Травников, чтобы обстрелять эшелон.

Переправившись через железную дорогу, дивизия вышла на шоссейную дорогу Холм—Люблин и двинулась сначала прямо по шоссе на Люблин. Затем, свернув на шоссе Травники—Владава и пройдя 15 километров, — на север. С наступлением рассвета дивизия остановилась на дневку в районе сел Кулик — Майдан—Стренчин. Теперь фронт — наискось выкусы!

В 12-00 11 марта противник, сконцентрировавшийся, видимо, севернее (в Седлеце что-ли?) и в местечке Травники 1500 человек, при поддержке трех танков и артиллерии, повел наступление на заставу 1-го полка в селе Добромысль. В 14-00 противник по шоссе Травники—Владава повел наступление на оборону 3-го сп в селе Стренчин. Примерно в это время разведка противника стала подходить к расположению 2-го полка в селе Майдан.

В бой были введены все резервы. На оборону 1-го полка в селе Добромысль противник предпринимал одну атаку за другой, но благодаря личному мужеству командира 1-го батальона Сердюка и самоотверженности и мужеству личного состава преодолеть рубеж не мог. Потеряв убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров, противник отошел на Седлище. Группу противника, наступающую на село Стренчин, командир 3-го полка Брайко подпустил вплотную. Брайковцы уничтожили их полностью. Из 60 человек наступавших не спасся ни один.

Противник отошел. Наступившая темнота помогла незаметно выйти из боя и продолжать движение. Чтобы не разбивать и без того грязную дорогу, дивизия снова двигается двумя колоннами: в первой колонне идет штаб дивизии, штабные подразделения и первый полк; вторая колонна в составе 2-го и 3-го полков движется западнее на 2—8 километров, в зависимости от профиля дорог.

12 марта. К рассвету дивизия остановилась на дневку в районе сел Лино—Ожехув. В селе Лино мы встретились с командиром разведки соединения Сатановского и командиром батальона польских партизанских отрядов, организовавшихся в районе Парчева. Это уже Армия Людóва. Эти воины дружески, без всяких хитростей относятся к советским партизанам.

Устанавливаем связь, узнаем обстановку в районе. Помогли польским отрядам, имеющим большие людские резервы, но нуждающимся в вооружении. Командир 3-го полка Брайко передает польским партизанам 120 винтовок и 2 ручных пулемета. Жаль, что не прибыл сам Сатановский. С ним мы встречались под Сарнами и на Князь-озере. Он пробыл с ковпаковцами около двух недель. Теперь, говорят, он уже полковник Войска Польского. Было бы о чем вспомнить, а главное—обсудили бы совместные действия.

Даже из кратких бесед с польскими разведчиками, которым я вполне могу довериться, вижу упущения своей разведки. Роберт Александрович¹ ранен фашистской гранатой, хотя и не сильно. Он рвется в дело. Но я придерживаю его, так как он нужен будет, когда подойдем ближе к Германии. Есть еще немец Вальтер — политэмигрант из Гамбурга. Старик годится для переводов и для пропаганды. Давид Ильич раздобыл еще какого-то немца Вилли... Но это только симпатия к гигантскому росту. Дружба гигантов с берегов Куры и Эльбы!.. К сожалению, для дела разведки эта дружба бесполезна. Отстал как-то этот Вилли, и польки в селе избili его не хуже, чем это сделали бы наши украинские Горпыны и Параски. Раскарябали всю арийскую ряшку. Смехота! До зарезу нужен разведчик-оперативник. А мне прислали этих жмуркиных. Хорошие парни, но натасканы они не на чужой запах. Нюх у них не тот! У разведчиков соединения Сатановского узнал, что под Люблином мы проходили километрах в десяти от концлагеря², куда стоняют тысячи (польский разведчик сказал—сотни тысяч,—ну это он преувеличил, конечно) узников и там уничтожают. Ну и Шерлоки, ну и Холмсы, ну и Пикертонь, черт бы их побрал вместе с паном дзяблом! Учились они разведке по копеечным выпускам дореволюционных детективов... А вот Руднев учил, что разведка—это прежде всего здравый смысл и умение влезть своими мозга-

¹ Роберт Александрович Клейн — капитан Советской Армии, немец из Поволжья. Герой Советского Союза. Ныне инженер автотранспорта, начальник автомобильного управления Орловской области.

² Видимо, польский разведчик имел в виду Майданек, о котором ничего не знала наша разведка или не придавала значения.

ми в черепную коробку противника. А дед всегда спрашивал разведчиков: яблоки в десять лет умел воровать? И не попадался? К девкам на чужую улицу ходил? И ноги не переломали? Значит, будешь разведчиком! Нет, мои Пикертоньки ни яблок, ни кавунов не воровали и к чужим девкам определенно не ходили — ни, ни. Вот и проворонили они и склад оружейный за Саном, и концлагерь под Люблином. Лучше бы уже совсем ничего не знали, а то потянуло нас назад после 22 февраля.

Начинается оттепель. Подморозило всего на два дня. Опять менять сани на телеги. Вот морока какая! Мне бы подходящую зиму еще месяца на полтора-два. По санной дороге махнули бы если не до Берлина, то хотя бы до Лодзи и Кракова. А тут ни Сан, ни Висла даже и не думали взяться хоть паршивеньким европейским ледком.

К вечеру разведка донесла об интенсивном движении на шоссе Люблин—Варшава и концентрации противника в районе Парчева.

В ночь на 13 марта дивизия передислоцировалась в район **Ополе—Подедвуже—Грабувка**.

Заметив наше стремление на север, противник стал концентрировать силы северней нашей стоянки. Разведчики, посланные в **Вишнице**, отметили интенсивное движение по шоссе **Леплевка—Луков**. На эту шоссеиную дорогу были высланы диверсионные группы с задачей взорвать мост и минировать дорогу.

В середине дня противник повел наступление на расположение дивизии. Группа противника до 200 человек, пробравшись по дороге **Яблонь—Подедвуже**, ставила заслон разведроты, находившейся в двух километрах от села.

Разведчики, вооруженные автоматами, подпустили голову колонны почти вплотную. Не выдержав мощного огня разведчиков, подкрепленного подоспевшими пулеметами и минометами, немцы и казачки в панике бежали, бросив часть обоза. Несколько человек было захвачено в плен.

Дальнейших попыток наступать на нас из Парчева или Вишнице не было. Более крупные части противника занимали село **Лынев**. Они повели наступление на село **Долхолиска**, где находилась наша застава, и село

Русилы, где оборонялся 1-й полк. Обстреляв Долхолиску зажигательными пулями, фашисты зажгли село, и наша застава была вынуждена с боем отходить на Грабувку. Группа, наступавшая на Русилы, была встречена подразделениями 1-го полка на высотах, прикрывающих село. Завязался жаркий бой с нашими подразделениями, оборонявшими высоты. Противник вводил в бой все новые и новые резервы.

К концу дня была выслана в обход одна из рот 3-го полка, которая, обойдя противника, ударила ему в тыл. Немцы, любители фланговых ударов и ударов в тыл, сами здорово боятся окружения. Едва только услышали в тылу у себя пулеметный и минометный огонь, сразу же в панике стали отступать обратно на Лынев и дальше на **Хородыще**, бросая оружие и боеприпасы. В бою убито более 200 человек противника, взято 3 батальонных миномета, 4 пулемета, несколько десятков винтовок, до 10 тысяч патронов и другие трофеи.

Противник отошел на Хородыще—Вишнице. Дорога Вишнице—Леплевка усиленно патрулируется противником. Положение крайне осложнилось — болотистая местность на юго-восток и запад от Ополе вся залита водой. Проходимые дороги контролируются противником. Для выхода из этого мешка пришлось сделать до 10 километров на юг и с боем форсировать шоссейку Парчев—Вишнице.

14 марта. Дивизия вышла в район села **Острувки** Радзыньского района, где и расположилась на дневку в 4 км от железной дороги Люблин—Лукув—**Седлец**. Во время этого перехода форсированы шоссейные дороги Парчев — Вишнице, Радзынь — Вишнице, Лукув — Вишнице.

При форсировании шоссейной дороги Лукув—Вишнице 3-й ротой 2-го сп уничтожено 3 автомашины, убито 12 гитлеровцев. Взяты трофеи¹.

¹ В донесении одного из информаторов делегатуры лондонского эмигрантского правительства события этих дней излагаются так: «14 марта я получил сообщение, что эти отряды заняли ряд деревень в районе Вишниц, а именно: Ополе, Лунец, Русилы, Ратаевичи — и укрепились там. Считали также возможным взятие партизанами города Бяла-Подляска. Партизанские отряды хорошо вооружены:

15 марта. Разведка со всех сторон доносит о концентрации противника. Назревает необходимость любой ценой выйти за Буг в район Украины или Западной Белоруссии. Больше всего нас прельщает мысль выйти в районы Беловежской пуши. Там, пользуясь прикрытием глухих лесных массивов, можно будет дать отдых личному составу, измотанному непрерывными боями и длительными переходами. По пути отступления мы сжигаем за собой мосты, устраиваем засады, всеми силами и средствами стараемся затруднить продвижение противника по нашему следу.

Сегодня довольно легко перешли центральную магистраль Варшава—Брест под Мендзижцем и шоссе того же направления.

В Бяла-Подляска все транспортные самолеты подняты в воздух. Гудят, как шмели. Очевидно, опасаются нашего нападения. Все-таки только мы одни сбили 5 машин авиагруппы майора Шмидта. Но не нами партизанское движение начинается, не нами и кончается. Наверное, и другие хлопцы щелкают их по силе возможности. Где-то тут должен быть генерал Бегма¹ и его хлопцы, Карасев, Федоров. При переходе железной дороги Брест—Варшава захватили два состава — один на перегоне, другой на полустанке. Немного подлатались боеприпасами. Дал команду: русское вооружение — в резерв. Больше использовать немецкие, польские, чешские, финские пулеметы. Жрут патроны, сволочи — фашистские скорострелки. Пусть послужат на польской земле украинским партизанам!

Усач сжег под Мендзижцем лагерь для военнопленных. Освободили 360 человек. В плену с 1941 года. До чего может довести фашизм людей! Жуть, тоска, жажда мести. И, конечно, это пополнение нам только в обузу. Люди истощены физически, а может, и морально до предела... Уже десятка полтора умерло, объевшись. При-

ручной пулемет на четырех человек, много пистолетов, автоматы, карабины, даже легкая артиллерия, а также бронеавтомобили. Немцы направили против этих отрядов жандармерию, техническую авиационную службу и имеющиеся войсковые части. Немецкие войска перебрасывались на грузовых автомашинах...»

¹ Бегма Василий Андреевич — генерал-майор, секретарь подпольного Ровенского обкома, командир крупного партизанского соединения, состоящего из трех бригад. Ныне партийный работник.

нимаем меры. Надо спасти людей. Если только нам удастся их выходить, это будут злые партизаны.

16 марта. Дивизия остановилась на дневку в селах Порожанка, Ольшанка. В 16-00 противник силами до 800 человек с четырьмя танками, тремя бронемашинами и одной артиллерийской батареей 57-мм пушек повел наступление на оборону 3-го полка, в с. Прохенки. Бой длился семь часов. В результате боя противник потерял две бронемашины и более 200 человек убитыми. Одновременно с наступлением на Прохенки группа до 200 человек пехоты повела наступление на с. Ольшанку. Силами 3-го батальона наступление отбито. Немцы, потеряв 40 человек убитыми, 4 пленными, 4 пулемета и миномет, отступили.

Итак, и сегодня, 16 марта, все вражеские атаки отбиты. Противник на всех направлениях потерял 240 человек убитыми, 2 бронемашины, 4 пулемета и миномет. Среди раненых — парторг роты Ованес Петян. Смертью храбрых пал пулеметчик Самсон.

Ночь на 17 марта. С наступлением темноты дивизия форсировала железную дорогу Черемха—Седлец и шоссе Брест—Седлец¹. Вышли в район Чубас, где предполагалась дневка. Однако, встретив в селе Чубас разведчиков, разведывавших переправу через реку Западный Буг, и установив, что в районе с. Кшешув—Могельница имеется мост, слабо охраняемый, решаем — не останавливаться на дневку, продолжать движение. На рассвете, захватив мост, переправимся через Буг. Вперед! Галопом скачем по высокому берегу. Как обнаженная сабля, сверкает внизу Буг!

Днем 17 марта (после переправы через Буг). Промедление грозило тяжелыми последствиями. К моменту нашего подхода к Чубасу в дивизии было до 300 ране-

¹ Тот же агент доносил в Лондон следующее:

«...17 марта бой перекинулись в район Мендзыжеца и восточную часть Седлецкого повята. В момент моего отъезда бой шли в районе г. Морды и г. Лэсице. Деревни Гадынов, Ольшанка и Прохенки (последняя предположительно) горят после происходивших там ожесточенных боев. Вдоль дороги (шоссе Кшевск—Мендзыжец) лежит масса убитых, разбитые автомашины и повозки. В Седльце прибывают раненые, которых привозят на санитарных автомашинах. В 8 часов утра на линии Седльце—Плятеров диверсанты взорвали паровоз».

ных да еще 350 человек освобожденных, еле волочащих ноги бывших пленных. Весь личный состав в течение последнего месяца не знал буквально ни минуты отдыха, каждый день были бои, каждую ночь — длительные марши по бездорожью. Кроме того, утомлены были и лошади. А остановка на день грозила тем, что противник перекроет все дороги, займет переправы, и мы, не имея возможности оторваться, будем вынуждены вести с ним тяжелые оборонительные бои.

Захват моста на ходу поручил кавдивизиону под командованием Ленкина. Кавдивизион, вырвавшись вперед на галопе, прорвался к мосту. Спешившись и оставив лошадей коноводам, один эскадрон бросается на укрепления немцев, построенные на западном берегу реки Буг, а второй под командованием Зезюлина и начальника штаба кавдивизиона Тутученко¹, не ожидая захвата укреплений, по мосту на рысях бросается на восточный берег.

Весь этот маневр был осуществлен настолько быстро, что противник не успел помешать нашим бойцам проскакать мост длиной более 700 метров и захватить плацдарм на восточном берегу. Часовые у дзотов и караульного помещения, находившихся на восточном берегу реки, были перебиты раньше, чем раскумекали, что произошло.

Таким образом, мост был захвачен раньше с восточной стороны. Первый эскадрон Зезюлина, заняв оборону по шоссе от Дрохичина, стал добивать остатки гарнизона, находившегося на том берегу реки. А на этом берегу положение осложнилось. Там укрепления — доты и дзоты — были обнесены проволочными заграждениями, имеют круговой обстрел и поддерживают друг друга. Кроме того, казармы гарнизона (каменное здание) тоже приспособлены для длительной обороны. Конники второго эскадрона с хода вскакивают в доты, которые не успели занять немцы. В ход пошли гранаты и бронебойки. Казармы из 45-мм пушки разбить было невозможно. Пришлось подкатить 76-мм пушку и с 70—100 метров артиллеристы стали бить прямой наводкой.

¹ Семен Павлович Тутученко — ныне Герой Советского Союза. После войны главный архитектор города-героя Севастополя, затем секретарь Союза архитекторов СССР.

Гарнизон моста, состоявший из отборных гитлеровцев: пограничников и фронтовиков, эвакуированных из-под Сталинграда и с Кавказа, оказывает упорное сопротивление. Все подходы к дому и мосту простреливаются противником. Гитлеровцы ведут прицельный огонь. Вышел из строя командир взвода артиллерийской батареи капитан Фурлатов. Были убиты еще многие товарищи-батарейцы.

Бойцы кавдивизиона занимают высоту, господствующую над домом и подходившую к нему вплотную, и забрасывают гитлеровцев гранатами. Артиллеристы засыпают здание снарядами. Но укрепление, могущее выдержать обстрел и более крупных калибров, очень слабо поддавалось разрушению.

Операция затягивалась. Наступил день. Мост был полностью в наших руках, но переправляться через Буг под огнем оставшегося в дзотах противника невозможно. В этот момент со стороны **Ссколува-Подляски** к хвосту колонны стала подходить разведка противника. Заслон, который стоял от Соколува, уже начал перестрелку с подходящими подкреплениями. И со стороны Дрохичина стали показываться немцы, пытавшиеся отбить мост. Бой нужно было закончить любой ценой. Наконец, несколько смельчаков во главе с комбатом Сердюком и радистом Мошиным, прорвавшиеся во время артиллерийского обстрела, ворвались в казарму и гранатами перебили оставшуюся там охрану. Сердюк был ранен. Мошин убит. Командир полка Бакрадзе, нач. штаба Войцехович, я и другие командиры решились на крайнее средство — подняли людей в атаку. Дело дошло до рукопашной, которая и решила судьбу схватки.

В результате этого ожесточенного боя охрана (до 70 солдат и офицеров-фронтовиков), засевшая в дотах и дзотах, была полностью перебита. В бою были захвачены и уничтожены три дзота, кирпичное здание казармы, разбиты вдребезги 4 танковых пулемета, 2 моторных лодки, мотоциклы. Взяты трофеи: 5 станковых пулеметов, до 15 тысяч патронов, склад с продовольствием и обмундированием. Наши потери: 10 человек пало смертью храбрых, 18 человек ранено. Среди убитых радист Мошин, пулеметчик Щербат. Тяжело ранен комбат Сердюк.

Заслон, который вел бой с подкреплением, подошед-

шим со стороны Соколува-Подляски, уничтожил 2 мотоцикла и убил 10 гитлеровцев. Захватив мост, части дивизии начали переправу. Одновременно с переправой командиру роты минеров дал приказание — подготовить мост к уничтожению. За неимением взрывчатки мост было решено сжечь. Пошли в ход, по выражению Кальницкого, подсобные горючие материалы: подвезены из ближайших сел солома, скипидар и смола. Мост после того, как переправилась последняя повозка, был подожжен. В течение 5 часов 800-метровый мост сгорел до основания.

Отойдя на 15 км от моста, части дивизии остановились на дневку. Круговая оборона — **Пашки—Острожаны—Наройки**. Местность, выбранная для дневки, сильно пересеченная, насыщенная дотами нашего пограничного предмостного укрепления. Во второй половине дня немецкое командование, получив данные о переходе войсковых частей, какими они нас считают, на восточный берег Буга предприняло наступление из Дрохичина и **Цехановца**. Группа противника, наступавшая на Дрохичин, натолкнулась на нашу разведку. Наши разведчики, несмотря на подавляющее численное превосходство противника, приняли бой и совместно с подошедшим взводом 2-го полка разогнали наступающую колонну. Противник, потеряв 25 убитых, до 20 раненых, одного пленного, оставив на поле боя пулемет и полторы тысячи патронов, в беспорядке отошел от Дрохичина.

Противник, наступавший из Цехановца на Острожаны, столкнулся в фольварке Острожаны с ротой 7-го батальона. Ведет бой с гарнизоном фольварка.

В бою за фольварк Острожаны нами уничтожены средний танк (подорван на mine), 1 автомашина, 30 солдат и офицеров, взято в плен 7 человек. Трофеи: ручной пулемет, 10 винтовок, 5 пистолетов и 4000 патронов. Наши потери: убито 3 человека, ранено 3¹.

¹ Донесение агента А. К. в Лондон:

«В ночь с 16 на 17 марта город Седльце усиленно охранялся немецкими постами, так как ожидалось нападение партизан.

Через Седльце проезжают группы жандармов, до 12 часов дня 17 марта проехало 67 машин. Прибыла жандармерия и гестапо из Варшавы. Они направляются в Мендзыжец, в районе которого с 16—17 марта ведутся ожесточенные бои. Численность партизанских войск, действующих в районе Мендзыжец—Морды—Лосице—Бяла-Подляска, немцы определяют в 6—7 тысяч...»

Сообщения делегатуры, довольно правильно освещая ситуацию в целом, содержат и неточности. Численность партизан 1-й Украинской партизанской дивизии составляла около двух тысяч бойцов, из них свыше 400 раненых (И. В.).

18 марта. До Беловежской пуши осталось один-два перехода. С наступлением темноты части дивизии, форсировав с боем шоссейную дорогу **Семятиче — Бельск-Подляски**, остановились на дневку в районе **Грабарка — Хорошево — Поканево**, в 25 км западнее железнодорожного узла Черемха.

При переходе шоссейной дороги Семятиче — **Боцьки** уничтожена грузовая машина, убито 10 фрицев. Стали на дневку. До узловой ст. Черемха строго на восток 15 км. За Черемхой — **Беловежа!**

18 марта в 12-00 противник на трех автомашинах повел наступление на заставу кавдивизиона в с. Грабарка. В коротком бою противник был отброшен, но через 30 минут, получив до 200 человек подкрепления, снова повел наступление. Бойцы кавдивизиона подпустили гитлеровцев вплотную и шквальным огнем отбросили обратно.

В 12-50 подошло еще 15 автомашин с пехотой и один танк. Это уже похоже на атаку волнами, что ли... Бой длился до тех пор, пока не наступила темнота. В результате этого оригинального боя уничтожено две автомашины и 56 немцев.

Одновременно с атаками на Усача противник силой до 250 человек повел наступление из Семятиче на с. **Толвин**, где находится в заставе 1-я рота 2-го полка.

В результате упорного пятичасового боя противник, потеряв 48 убитых и двух пленных, отошел обратно на Семятиче. С наступлением темноты части дивизии, форсировав две железные дороги Черемха — Варшава и Черемха — Брест, причудливо перекрестившиеся здесь, остановились на дневку в с. **Омеленец** в 5 км от южной кромки Беловежской пуши. Наконец-то!

Противник пытался на марше атаковать продвигавшуюся колонну с шоссе Семятиче — **Милейчице**. Силами 2-й роты 2-го полка противник был отброшен. Убито 20 гитлеровцев. Во время форсирования железной дороги Брест — Черемха 1-м батальоном 1-го полка уничтожен — сожжен — воинский эшелон с 50 автомашинами. Освобождено 50 военнопленных, взорвана 45-мм пушка, сожжено два вагона боеприпасов, убито 80 солдат и офицеров противника.

19 марта. Во время дневки в районе села Омеленец противник неоднократно пытался наступать. Во время

движения 1-го полка на дневку в село **Свиньево** противник — авиационные части дивизии «Герман Геринг» — внезапно атаковал колонну. Развернувшись в боевом порядке, подразделения 1-го полка уничтожили 45 гитлеровцев и взяли 2 пулемета.

В районе стоянки 2-го полка с наступлением рассвета завязались ожесточенные бои. 4-й батальон, посланный в район **Верховичи** для уничтожения мостов, схлестнулся с противником: все же взорвав мост и уничтожив 10 гитлеровцев, батальон стал отходить в направлении стоянки полка, на с. **Двожец**. Противник силой до 200 человек четыре раза при поддержке танков и артиллерии атаковал заставу этого батальона. Очень хороший обзор. Я вывел 76-мм пушку и беглым огнем по машинам и танкам заставил немчуру отойти. Это в моей боевой практике второй раз, когда одна пушка решает успех дела. Как в Глинном (Брянские леса). Но здесь фрицы нахальнее. Скоро полезли снова. Все их атаки были успешно отбиты. Противник, потеряв 1 танк, 1 автомашину, 2 пулемета и 70 солдат и офицеров, с наступлением темноты отошел на **Верховице**...

20 марта. Кажалось, мы так близки к цели — в 5—10 км от нас на севере показалась обетованная земля — **Беловежская пуца**. Но разведка приносит невестельные вести. Местные жители говорят: в **Беловежской пуце** нет ни одного целого села, ни одного домика лесника; в **Беловежской пуце** села сожжены немцами, а жители расселены по степным районам. Появление возле леса карается смертью. Мосты на реках, протекающих в пуце, уничтожены либо усиленно охраняются немцами. Что еще за чертовщина?!

На марше. Дорога **Омеленец — Пашуки** представляет собой высокую дамбу, окруженную со всех сторон водою. В **Пашуках** днем был противник. С наступлением темноты подразделения кавдивизиона заняли село, но разведанные, полученные от местного населения, крайне неутешительные. Весь лес насыщен немецкими гарнизонами. Каждая тропинка контролируется немцами. На лесных перекрестках построены дзоты. Есть язык: **Клейн** на скорую руку допрашивает. В **Беловежской пуце** стоит на отдыхе парашютная дивизия «Герман Геринг». О проклятье! Это уже смахивает на шуточки

судьбы. Зубастые шутки. Но раздумывать некогда. Если эти головорезы вылезут из своей берлоги... Главное, мало патронов. И до полтысячи человек раненых.

Принимаю решение двигаться без остановки дальше на восток вдоль Беловежской пущи. К рассвету 20 марта, уничтожив охрану моста в с. **Стояновиске**, головная походная застава в составе кавдивизиона и разведроты подошла к с. **Рожковка** и столкнулась с немцами. Парашютисты, заняв северо-восточную сторону деревни, построили оборону фронтом на северо-восток, ожидая нас, очевидно, с этой стороны. Мы появились с юго-запада. В коротком, но ожесточенном бою фашисты частью были перебиты, частью отошли на **Хвояновку**, но вскоре с сильным подкреплением вернулись обратно.

Разыгрался бой. В бой были введены подразделения 1-го и 2-го полков. Противник был отброшен в с. Хвояновку, и бой завязался на подступах к селу и в самом селе. Противник подбрасывает из Беловежи и **Каменца** все новые и новые резервы. Наши подразделения не отступают ни на шаг. Переходим в контратаку. Занимаем более выгодные позиции.

3-й полк получил задачу занять село **Януши** и стать там заслоном, чтобы предотвратить возможность нападения со стороны Верховичей. Захват с. Януши был поручен комиссару батальона Пшеницыну. Смелыми и решительными действиями, отрезав немцам все пути отхода, батальон полностью уничтожил эту фашистскую группу. Убито и сожжено 35 гитлеровцев, взято в плен 5, уничтожено 6 автомашин и 1 мотоцикл. Взяты трофеи: 2 миномета, 3 пулемета, 5 автоматов, 16 винтовок, 9 пистолетов и 4 тысячи патронов.

В бою смертью храбрых пал комиссар батальона Федор Евгеньевич Пшеницын. Полки и кавдивизион закрепились в Рожковке и Янушах. Угроза нападения с запада тоже предотвращена.

Между тем, бой в районе с. Хвояновки с каждым часом принимал все более ожесточенный характер. Там сражается батальон 1-го полка. Его ведет в атаку комиссар батальона — венгерский комсомолец Иосиф Тоут. Через час известие — Тоут пал смертью храбрых на польско-советской границе под Беловежской пущей. Тут же, возле церквушки, на моих глазах погиб танкист из Сталинграда Герой Советского Союза Медведь, Герои

живут и умирают красиво. Он лежал, распластавшись на мягкой весенней земле, устремившись вперед, как птица, сбитая на лету.

Похоронили мы их вместе в братской могиле. Пусть лежат, как побратимы... Сталинградец и венгерский комсомолец.

Смертью храбрых пали также командир взвода Лепешкин, командир отделения Богданов, лейтенант Индих, пытавшийся вынести смертельно раненного Тоута; в третьем полку, кроме геройски погибшего комиссара Федора Евгеньевича Пшеницына, убит командир взвода 2-й роты лейтенант Пашенко, ранен политрук Ерванд Касабян.

21 марта. Части дивизии из сел Рожковки, Януши, Хвояновки, **Селище** за ночь совершили марш в села **Олешковичи, Лешна** Брестского района. Реку Лесна форсировали в с. **Млыны**. Там же перешли шоссе **Высокое — Пружаны**. Этот ночной марш так же, как и вчерашний бой, все вспоминают как большую победу, приписывая мне применение военной хитрости с обозом. Дело было так: вскоре после полудня обозы дивизии под охраной 2-го полка были переброшены в район сел **Селище** и **Рожковка**. Одна рота 1-го полка была выслана для захвата моста через реку Лесна Правая. Мы еще с утра по дороге в **Селище** и **Мала-Бяла** рассчитывали лесными дорогами уйти от преследования противника в пущу. Однако, захватив мост, мы не могли его удержать. Противник подбрасывал все новые и новые силы, оцепляя опушку леса. Он отрезал роту 1-го полка вместе с комбатом Тютеревым. По дороге **Каменец — Беловежа** непрерывным потоком движутся танки, автомашины с пехотой и артиллерией и пехота в пешем строю.

Бросаю в атаку батальон.

Под вечер произвел на глазах у противника перегруппировку обоза, добиваясь, чтобы наше стремление на север, в **Беловежскую пущу**, было демаскировано. Пусть ждут нас завтра в пуще. А еще в полдень решил повернуть на юг — прямо к **Бресту**.

Наступила ночь. Бой кончился. Противник в пуще занял круговую оборону, хочет не выпустить нас из мешка. С наступлением рассвета он рассчитывает повести решительное наступление. Особенно сильные заслоны он

выставил на севере, подкрепив их танками. Вот тут мы его и облапошили. Вечером тихо разворачиваю всю колонну на 180 градусов. Бросок на юг. Через степь к Бресту.

Перед командиром кавдивизиона Ленкиным поставил задачу найти пожилого опытного проводника, который сумел бы вывести части дивизии лесными или полевыми дорогами в любом направлении: в 21-00 такой проводник был найден, и части дивизии вышли из Рожковки на юг, наметили форсировать реку Лесна в районе Млыны и двигаться дальше на восток. Погода, как никогда, благоприятствует выполнению этого плана — идет густой снег, он засыпает следы колонны. На десять метров в сторону ничего не видно. Во время перехода шоссе Высокое — Пружаны партизаны 1-го полка стремительным ударом разгромили охрану, уничтожили шоссе́нный мост.

В районе Каменца нас застал рассвет. Противник потерял нас в первой половине дня, очевидно, уничтожал леса в 35 км позади нас. Но появились воздушные разведчики.

Продолжая движение днем, к 13-00 захватив переправу у села Млыны и форсировав шоссе́нную дорогу Высоко-Литовск — Пружаны, дивизия вышла к селу Лешна, где неожиданно натолкнулась на пограничную заставу противника, стоящую на границе «Восточной Пруссии и Остлянда». Вот куда хватил Гитлер! Так это, выходит, мы уже в Восточной Пруссии побывали?

Силами 1-го кавэскадрона при поддержке артбатарей погранзастава ликвидирована. Пограничники перебиты, но в момент боя на колонну, сосредоточившуюся в селе, налетело звено бомбардировщиков.

Первые бомбы, сброшенные немецкими летчиками, упали на огородах, не нанеся поражения. Второй налет грозил жертвами: в селе скопилось до 200 подвод, до 1000 человек партизан. На выручку нам пришел неожиданный случай: внезапно налетела туча и повалил густой, большими хлопьями снег. Под прикрытием снега и тумана колонна рассредоточилась, замаскировалась в небольшом леске. Украинцы смеются: «Мабуть бог йе, колы послав на фрицев таку хурдэлыцю. Спасла». Мы в полутора километрах южнее села Лешна. Кавдивизион двинулся в с. Олешковичи. Задача, — захватить на шос-

сейке Каменец — Брест переезд у с. Турна. Обеспечить дивизии переход через эту шоссейку. Перемахнем, и дальше на восток!

Однако самолеты противника, обнаружив нас в селе Лешна, успели известить немецкое командование, и по шоссе Брест — Каменец началось усиленное движение. Едва мы успели занять оборону в с. Олешковичи, как из села Турна и местечка Чернавчицы противник повел наступление при поддержке авиации. Самолеты противника непрерывно бомбили Олешковичи. Кидали прогивопехотные бомбы, ящики, чемоданы, корыта. После нескольких налетов противнику удалось поджечь село. Оборона вынесена за село. Обозы замаскированы в мелком лесочке, западнее села Олешковичи. Противник пытается использовать свои преимущества и в численности, и в вооружении, и выгодную свою позицию, хочет прижать нас к этому проклятому болоту. Предпринимает атаку за атакой. Но все отбиты. Наступает темнота, но бой не утихает. (Ночь на 23-е). Разведка, посланная на шоссе Лида — Чернавчицы, донесла о том, что противник занимает оборону вдоль шоссе и укрепляет свои позиции. Шоссе все время контролируется танками и бронемашинами.

Разведав переезд южнее села Вильдейки, части дивизии вышли без дороги к переезду. Надо внезапным ударом сбить охрану на шоссе, поставить заслоны. И пока нет танков, начать переправу через шоссейную дорогу... Вперед на восток!

22 марта. Личный состав (рядовой), не выходя 5—6 суток из боев, вчера после сильной бомбежки находился на пределе человеческих сил. Ближился рассвет. В атаку бойцов невозможно уже поднять.

Я со штабом и командирами полков подошел к шоссейке перед самым рассветом. К переезду по шоссе, фыркающая мотором, подошла машина. Пригнулись — на фоне светлеющего неба были видны отдельные фигуры немцев.

Они подвезли заслон-засаду. Солдаты спрыгивали, копошились. «Через 5—10 минут они залягут в кюветах», — шепнул мне Войцехович.

— Вперед, Вася!

Я вскочил на коня. За мной Ясон Жоржوليани¹ и два-три конных связных.

В атаку в лоб на переезд пошли начальник штаба дивизии Войцехович, командир дивизиона Ленкин и командир полка Бакрадзе. В обход — я и командир второго полка Кульбака со своими ординарцами. Вслед за нами поднялись бойцы кавэскадрона. Переезд был охвачен. Эта «офицерская атака» нужна была для спасения дивизии. Подошел к голове колонны Брайко, и я сразу бросил его вправо и влево на заслоны. И вовремя. Из Бреста уже подходили танкетки и бронемшины. Забухали справа бронебойки. Рассветало. Колонна на рысях уходила на восток...

При форсировании шоссейной дороги было убито более 100 солдат и офицеров противника. С нашей стороны есть убитые и раненые. Особенно тяжелые потери в конском составе. Видимо, кое-кого из раненых не подобрала. Плохо. Начинает запахаживать на Карпатский под Делятиным. Под штабной повозкой три раза убивали лошадей. Однако все боеприпасы и раненые, за исключением нескольких хозяйственных повозок, оставшихся на переезде, переправлены. Не обошлось без паникеров. К сожалению, и среди командиров.

Форсировав шоссейную дорогу, части дивизии заняли оборону в селах **Демьянче** и **Хмелево**.

Еще не успели подразделения 2-го и 3-го полков расквартироваться в селе Демьянче, как противник силой до 750 человек при поддержке авиации повел наступление на оборону 2-го полка.

В течение двух часов батальоны 2-го полка, усиленные одним батальоном 3-го полка, отбивали все атаки противника. На 3-й полк наступали пятью цепями. В ожесточенном двенадцатичасовом бою противник потерял 1 бронемашину, 3 автомашины и более 250 солдат и офицеров. Оборону 3-го полка фриц сломить не мог. С наступлением темноты противник силой до 1000 человек повел наступление на оборону кавдивизиона в селе Хмелево.

24 марта. Оставив для прикрытия отхода 2-й эскадрон, части дивизии форсировали шоссейную дорогу Каменец — **Жабинка** и вышли из боя.

¹ Ясон Жоржوليани — ординарец командира дивизии.

Остановились на дневку в селе **Кривляны**, не доходя 5 километров до железной дороги **Барановичи — Жабинка**.

Эскадроны, оставшиеся для прикрытия отхода, в течение трех часов держали непрерывный бой с превосходящими силами противника и оставили село Хмелево лишь после того, как противник зажег его зажигательными пулями. После этого, догнав дивизию, эскадроны вместе с общей колонной продолжали движение.

Дневка в селе **Кривляны** проходит спокойно. Всю ночь и днем 23 марта шел сильный снег. Замаскировали обозы и материальную часть. Скрыли свои следы. В ночь на 24 марта с боем захватили переезд через железную дорогу в районе станций **Тавля — Жабинка**. Уничтожили при этом один дзот, разогнали гарнизон дзота и захватили 1 станковый и 1 ручной пулемет, 3 тысячи патронов. Дивизия начала форсировать железную дорогу **Москва — Варшава**. На переезде перевернулась телега наших пинкертонов. Свалились, как поросята. Лежат, укрывая головы от пуль. Я вспомнил, что во время «офицерской атаки» один из них поддался панике и кричал: «Командиры нас бросили!.. Спасайся, кто может»... Это когда мы шли в атаку, спасая его ежовскую шкуру. Рука с автоматом поднялась, но дрогнула. Я только погнул автомат о хребтину труса...

25 марта. Во время перехода через железную дорогу был уничтожен шедший со стороны Барановичей поезд с танками, бронемашинами и автомашинами. Огнем 76-мм пушки паровоз был разбит; огнем из ПТР и гранатами были сожжены 14 танков, 8 бронемашин, 5 автомашин и 27 платформ.

Продолжая движение, части дивизии достигли села **Стрый**, где и расположились на дневку. Личный состав и в особенности лошади требуют передышки. Решено дать людям суточный отдых. В районе Стрыя мы встретились с местными партизанами бригады имени Чапаева Брестского соединения. Весь этот район, начиная от железной дороги **Москва — Варшава** и далее на восток, контролируется партизанами. Контролируется... Западный авангард белорусских партизан бригады имени Чапаева — местные партизаны, слабенько вооружены. Но действуют смело и активно. В основном устраивают ди-

версии на железных и шоссейных дорогах. В порядке обратской помощи передали чапаевцам излишки трофейного оружия, захваченные в боях: 5 ручных пулеметов и несколько десятков винтовок. Патронов выделить достаточно не смогли. Дали по диску на развод. Пускай добывают. У самих не густо.

25 марта. Местная сволочь организовала карательную экспедицию. Хотели угнать на немецкую каторгу мирное население контролируемых партизанами сел. Противник повел наступление на села **Подлесье** и **Еремичи**. Не ожидая встретить сопротивления, не зная о присутствии наших подразделений в селе Подлесье, противник — мадьяры — густой цепью начали окружать село.

Подпустив цепи противника вплотную, бойцы 6-го батальона открыли прицельный огонь. В результате семичасового боя, потеряв более 100 человек убитыми, мадьяры в панике бежали на **Кобрин**. Население сел **Именин**, **Босяч**, **Береза**, **Еремичи** — до 10 000 человек, согнанное мадьярами для отправки в Германию, разбежалось. Дальнейших попыток собрать и угнать на немецкую каторгу местное население противник не делал.

28 марта. Форсировали с боем шоссе Москва — Варшава. Со стороны Бреста подошла колонна противника. Кульбака добре встретил фашистов. Результаты: подбито 5 автомашин, убито более 50 гитлеровцев.

31 марта. После трехмесячного марша (прошли более 2000 километров) и полутора месяцев непрерывных боев — наконец три дня отдыха. Народ, мои боевые друзья блаженствуют. Моются, чистятся, отсыпаются. Встречи с боевыми товарищами — белорусскими партизанами. Тут передовые посты партизанского края. Живут туго. Снабжение, доставленное из Москвы на самолетах, оседает в лесах. Раздали жителям села **Летковици** порядочно трофейных медикаментов. Агитаторы наши провели беседы о положении на фронте. Немного похвастали своими делами под Люблином и Варшавой. Все ж таки живые свидетели... Сами видели, шупали!

В штабе Вася подбивает итоги рейда. Не рано ли? Надо углубиться в партизанский район — искать посадочную площадку, отправлять раненых.

1 апреля. Прошли по партизанским местам, до м. **Мотоль** на реке Ясельде. Решил тоже постоять дня три. Есть в местечке хорошая баня. Надо попарить партизанские кости, погонять вшей. В партизанском крае в некоторых селах — тиф.

А мы начнем подводить итоги рейду. Установили связь с белорусской бригадой Гуляева. Это хороший, мужественный партизан. Его комиссар рассказал, смеясь, случай. Когда мы появились вблизи, кто-то из молодых разведчиков, наслушавшись всяких былей и небылиц о ковпаковцах, с радостью докладывал об этом в штабе:

— Чего радуешься, малой? — спросил комбриг.

— А как же?! Теперь такая сила к нам пришла...

— Сила, сила, — угрюмо сказал командир. — Они придут... на неделю, хвостом кобыльим махнут, а нас потом знаешь немцы как гонять будут?

Комиссар добродушно смеялся. А я вспоминал Князь-озеро. Мы ушли на Украину, а Линькова-Батю да Коржа потом гоняли. Наверно, там был и Гуляев. Или, может, по слухам опасается? Но по всему видать — хлопцы боевые. Им бы то вооружение и боеприпасы, что посылают Коржу. Они же на переднем крае партизанского фронта. Кстати и Батя-Линьков где-то здесь. Перелицевался на полковника Льдова. Навстречу не едет. Я к нему тоже не рискую. Еще подорвешься на его минах.

Так вот итоги.

Перечитал свои три походных тетради. Нехорошо получается. Начал записывать с того дня, когда соединение Вершигоры стало 1-ой Украинской партизанской дивизией имени Ковпака. А рейд ведь начался раньше?.. Больше того — где-то в конце февраля противник вырвал у нас инициативу и вытеснил нас из Польши. Мы упирались больше месяца, но распутица, численное превосходство войск противника (четыре дивизии, а полков и легионов сколько?!) вынудили нас ретироваться. Но этой трудной поре рейда предшествовал стремительный марш через всю Западную Украину к Львову, а затем удары по объектам Львова, на Сане, по коммуникациям, ведущим к фронту. Мы шли на юг вдоль польской границы 10 дней: 3 февраля я послал Брайко под **Броды**, тогда он замахнулся на штаб 4-й ТА, и вынудил его ретироваться во Львов; 8-го под **Гороховым**

мы встретились с генералом Наумовым и выработали общий план действий; в ночь на 11-е перемахнули через пресловутую линию Керзона. 12 февраля мы уже были в Билгорайских лесах. Следующие 10 дней соединение наносило сокрушительные удары из Билгорайских лесов в стороны Львова, Равы-Русской, Люблина и оборонного значения объектов за рекой Сан. Ежедневно и еженощно взрывали мосты, водокачки, электростанции, спирт-заводы, уничтожали фольварки, пункты ВНОС, сбивали на трассах самолеты, пускали под откос поезда.

Но тяжелое раздумье одолевает меня.

Хлопцы рады — они сделали свое дело. Они герои. Белорусские партизанки от них без ума. Но сделал ли все я? Нет. Можно было больше. Если бы вовремя, или наперед знать то, что знаю и понимаю сейчас! Склад вооружения на Сане проворонили? Увлёкся одновременным ударом по одиннадцати мостам... Правда, железная дорога Варшава — Люблин — Львов не работала 28 суток. Зато о складе узнали поздно. А Люблин? И эти чудовищные печи, где сжигают невинных людей? И аэродром в Бяла-Подляске? Никогда не прощу себе этой нерешительности. Правда, есть две веских причины. Украинский штаб не обеспечил нас картами. Не было хороших карт. Ох, если бы наши штабисты могли понять, что это такое! Идти рейдом в другое государство без хороших карт. А затем, когда в Мосуре мы сбили самолет Бенига, меня не пустили в Польшу. А надо было еще в январе шандарахнуть по аэродрому в Бяла-Подляске.

Но это что? Прозевали... Запишу после бани (я уже неделю парюсь в бане каждый день), что сотворило «Соединение Вершигоры», пока оно не стало 1-й УПД, которую основательно потрепали. Так ведь, наверное, было за что. Фашисты кидаются на тех, кто им допекает, а сидеть тихо в болоте — можно и до конца войны фрица не увидеть.

Начну задом наперед с этого злополучного сбитого нами самолета Ю-52. Запишу, каким таким Макаром мы попали в братскую Польшу.

С. Мосур. В 25 км севернее Владимир-Волынска.

Стояли в Мосуре с 21 по 25 января. Не помню, когда именно (кажется 23-го), лейтенант Семченко на воздушной трассе Бяла-Подляска — Тернополь подбил из руч-

ного пулемета Ю-52. Самолет загорелся в воздухе, и летчики совершили посадку на выгоне за селом, где возле одинокого сарая два партизана опраивались побольшему. И вдруг — над головой хвост огня! Змей Горыныч какой-то сел на лугу от них в двухстах метрах, и выскочившие из самолета четверо летчиков стремглав бегут, не видя их. Вставать было некогда. Благо у одного автомат лежал рядом. Оказалось, как узнали хлопцы позже, самолет вез боеприпасы и летчики бежали, боясь взрыва. Пришлось им без штанов брать четырех летчиков в плен. От них мы и получили сведения, что на аэродроме Бяла-Подляска базируется группа транспортных самолетов Ю-52, штук 60 (теперь меньше), и 20 МЕ-323 (теперь 19), — это шестимоторные гиганты грузоподъемностью в 10 тонн. Тихоходы.

До 31 января гоняли по всей Волыни бандеровцев, банду Клеща и офицерскую школу «Лисови чорти». Чортив бильше нэма. Пошли молиться богу.

3 февраля. Двинул соединение на юг. Вперед под Броды послал Петю Брайко с облегченным (без обоза) батальоном. Задача — заминировать минами замедленного действия железную дорогу. **Здолбунов** — Львов и подорвать мосты. Пустить под откос несколько эшелонов. Задачу Петя выполнил, но попал в самую гущу вторых эшелонов 4-й танковой армии немцев, отошедшей с Житомирского направления. Уничтожил инженерную разведку штаба армии, чем и вызвал в штабе панику.

6 февраля. Под Гороховом. Соприкоснулись с конницей Наумова. В селе **Печыхвосты** числа 8-го встретился с генералом. Договорились идти параллельно. Генерал хитрил. Выскочил вперед. Я поджидал Брайко. Разошлись на сутки-двое, как в море корабли. К лучшему это или к худшему — не знаю, И для кого — для него или для меня. Он генерал, а я всего-навсего подполковник. Куда мне. А если и дадут — то все равно разжалуют. Не тот характер¹.

¹ Как выяснилось позже, немецкое командование опасалось лихих действий Наумова и готовило ему под Перемышлем встречу.

В ночь на 11 февраля «Соединение Вершигоры» пересекло польскую границу, линию Керзона, чтоб ей пусто было. Первая стоянка была, помню, **Брусно Нове** и **Брусно Старе**. Потом долбали артиллерией в м. **Цешанув** какой-то замок, в котором засели фрицы — курортники (в замке был дом отдыха для выздоравливающих), и пришли к южной кромке Билгорайских лесов. Стоянка в хуторе **Боровец**. Отсюда я решил нанести удары в нескольких направлениях:

По Львову — водокачка.

По железной дороге Львов — Перемышль.

По железной дороге Львов — Рава-Русская — Варшава.

По железной дороге (рокада) Рава-Русская—Ярослав—Краков.

По электростанции завода «Сталева-Воля» на р. Сан г. Ниско.

По гарнизонам городишек — Тарногруд, Улянув, Красныстав и мосту под Красныставом.

Удар по узлам коммуникаций: Рава-Русская, Львов, Перемышль.

Теперь уже не «Сарнский крест», а восьмиугольник. Всё хлопцы сработали с лихвой.

Итоги 10 дней работы: 2 водокачки, 12 эшелонов, 1 электростанция артзавода и т. д. К нам подтянулись мелкие отряды, стихийно возникшие в Польше из беглецов концлагерей, — «Васьки-Грузина» — 69 человек, «Андрея Борового» — 86 человек, «Казика» — 57 человек. Всего прибавилось три роты.

Дальше началась расплата, которую я описал в дневнике подробно: как стал командиром дивизии, почувствовал себя лицом, так сказать, историческим, и, как все уважающие себя исторические люди, стал кропать дневник. А на черта это мне нужно? Но уже вошло в привычку.

Но худо-бедно, а рейд завершен. Хлопцы все сравнивают его с Карпатским. Отдают предпочтение последнему. Ну это — пусть история разберется. Запишу-ка я

К тому времени у немцев сложилось такое мнение об этом партизане:

«Наумов — генерал-майор, пользуется большой популярностью и славится изобретательностью тактических приемов. Основной вид его деятельности — хождение в погоне за мелкими гарнизонами и штабами противника и налеты на них. Весьма опасен тем, что может создать внезапную угрозу штабам и правительственным чинам»

Подобных отзывов врага было множество. Нужно полагать, что, давая такие характеристики, враг вряд ли стремился к тому, чтобы преувеличивать боевые качества своих противников.

лучше точные показатели нашего рейда. Вася со всем своим штабом корпел над ними последние дни и ночи. Спешит первым же самолетом послать на Большую землю. Надо еще оформить наградные листы. На живых, проливших кровь, раненых, на павших смертью героев. Начинает Вася пышно: «Итоги рейда, названного нами Львовско-Варшавским» — Ну пусть будет так. Любит Вася пышный слог. Поглядим на итоги.

«5 января 1944 года первая УПД (Украинская партизанская дивизия), выполняя приказ ЦК КП(б)У и УШПД, вышла в рейд по маршруту: Собычин, Столин, Колодно, Маневичи, Крымно, Владимир-Волыньск, Тирийск, Порицк, Горохов; форсировала реку Буг на участке Сокаль — Кристинополь; вышла через Львовскую область в Люблинское воеводство на Раву-Русскую, Цешанув, Тарногруд, Билгорай, Замостье, Красныстав, дальше на — Люблин, Варшаву, Скшешув; в районе Скшешув с боем форсировала реку Западный Буг и вышла в Восточную Пруссию, в район Беловежской пущи — ст. Черемха, Кобрин, Антополь, Дрохичин, Мотоль.

— За это время дивизия с боями прошла 2100 километров, кроме того, отдельными частями и подразделениями при выполнении заданий командования пройдены в сторону от основного маршрута 1500 километров, что составляет в общей сложности — 3600 километров. Основные рейды отдельными подразделениями: 6-й сб, 3-й сп в район Броды, кавдивизион в район Львова, 2-й сб, 1-й сп в район Перемышля и др.»

Гляжу на карту и сам не верю. А ведь действительно прошли. Сотни деревень, десятки городов, польские вёски, украинские села в лесостепи, белорусские деревушки и хутора.

Сколько горя и слез. Сколько мужества и страданий. Слава вам, мои родные солдаты — партизаны! Будут ли помнить вас те, кому вы приносили надежду на освобождение? Принесут ли девушки на ваши могилы цветы? Верю — ничто содеянное на свете не пропадает попусту. Не пропадет и боевая слава 1-й УПД. Дальше, Вася, дальше!

«...Во время рейда 1-я УП дивизия с боями прошла по областям Украины — Ровенской, Волинской, Львовской; воеводствам Польши — Люблинскому, Варшавскому

и Белостокскому; по Брестской и Пинской областям Белоруссии».

«По несколько раз нарушались четыре «государственных границы»: Украина — Галиция, Галиция — Польша, Польша — Восточная Пруссия, Восточная Пруссия — Беларусь, охраняемые гитлеровскими пограничниками. По маршруту дивизии и отдельных частей (не менее батальона) были форсированы:

а) реки: Ствига, Горынь, Стубля, Стырь, Стоход, Вепш, Западный Буг;

б) шоссейные дороги: Брест — Ковель, Владимир — Замостье, Радзехув — Крыстынополь, Жулкев — Сокаль, Владимир — Луцк, Жулкев — Рава-Русская, Немирув — Рава-Русская, Ярослав — Замостье, Ярослав — Билгорай, Билгорай — Янув, Билгорай — Звезжинец, Рава-Русская — Замостье, Люблин — Замостье, Люблин — Красныстав, Люблин — Холм, Травники — Вадава, Ровно — Берестечко, Броды — Шуровичи, Стоянув — Радзехув, Стоянув — Крыстынополь, Бяла-Подляска — Седлец, Янув-Подлянский — Седлец, Высоко-Литовск — Соколув, Бельск — Семятиче, Пружаны — Соколув, Москва — Варшава;

в) железные дороги: Брест — Ковель, Владимир — Замостье, Львов — Луцк, Владимир — Львов, Жулкев — Рава-Русская, Ярослав — Рава-Русская, Ковель — Холм, Львов — Рава-Русская, Ковель — Владимир, Рава-Русская — Замостье, Люблин — Холм, Лунинец — Сарны, Москва — Барановичи — Брест, Белосток — Брест, Волковыск — Варшава, Брест — Варшава.

Некоторые реки, шоссейные и железные дороги форсировались по несколько раз. Всего форсировано — 48 переездов. Большинство из них брали с боем.

С боями занимали города: Горохов, Цешанув, Тарногруд, Улянув, Кшешув, Краснобруд, Боремель, Станиславчик, Лопатин»...¹

Будут ли стоять памятники в этих городах моим славным товарищам? А если нет — может, простое задушевное слово, сказанное стариком на вечорке, послужит памятью. А то, может, и статья заезжего корреспондента промелькнет как историческое воспоминание?

¹ ИМЛУ, ф. 63, оп. 63 — I, ед. хр. 3, л. 182.

«...За время рейда с 5 января 1944 года по 1 апреля 1944 года дивизия провела 139 боев, из них:

а) упорных боев — 24 продолжительностью более 5 часов, при участии со стороны противника от 1 000 человек пехоты и выше, танков и авиации. Бои шли в следующих населенных пунктах: село Подгорное, Майдан-Сенявски, Домбровица, Ожанна, Слобода, Хмелек, Лукова, Чернысток, Кособуды (в феврале и марте), Вепшец (в феврале и марте), Шевня, Руда-Ружанецка, Здзиловице, Кулик, Стренчин, Майдан-Загородинский, Прохенки, Русилы, Подборье, Януши, Рожковка, мост через реку Буг в селе Скшешув».

В дневнике Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, говорится, что одна треть Люблинской провинции практически уже не подчиняется оккупационным войскам. Там не действуют ни администрация, ни исполнительные органы, лишь едва функционирует аппарат путей сообщения. Немецкая полиция может действовать на данной территории только силами не менее полка¹.

б) 21 бой с националистами УПА;

в) 94 стычек, засад и боев с противником численностью менее батальона.

Со стороны противника в боях принимали участие следующие части: 23-й, 28-й, 25-й полицейские полки «СС» из Люблина, 1-й полицейский полк г. Кельцы, отдельный моторизованный батальон жандармерии г. Кракова, 500-й танковый полк г. Кракова, 945-й отдельный охранный батальон, отдельный казачий батальон Тодта (м. Краснобруд), 114-й пехотный немецкий полк: отдельный батальон татарского легиона, 30-й отдельный мотобатальон военнопленных, 33-й венгерский пехотный полк, 14-я «СС» дивизии «Галичина», голландская дивизия «СС» «Викинг», части 8-й «СС» дивизии Роммеля, части авиапехотной дивизии «Герман Геринг» и ряд других фронтовых частей, нумерацию и принадлежность которых установить не удалось.

В боях противник понес тяжелые потери в живой силе и технике. Так, в бою за с. Ожанна полностью уничтожена полковая школа 114-го пехотного полка, уничтожена школа командного состава армейского значения.

¹ «Боевое содружество польских и советских партизан, стр. 44.

УПА «Лесные черти». Голландской дивизии «СС» «Викинг» у села Кособуды были нанесены потери — свыше 700 человек убитыми, после чего в бой с нами она больше не вступала...»¹

Ну, эти будут помнить! Все запомнят силу и доблесть русского солдата, советского партизана, русского народа. Будут помнить и современных запорожцев, верных рыцарей родимой неньки — Советской Украины.

«...Всего в оборонительных и наступательных боях, в засадах и диверсионными группами нанесен следующий урон противнику.

Выведены из строя коммуникации и предприятия:

1. Железная дорога Львов—Варшава на 28 суток. Взорваны мосты на перегоне Рава-Русская—Красныстав, в селах Евиды, Новины, Вулька-Орловска, через реки Танев, Сопот, Волиця. Взорвана водокачка и путевое хозяйство станции Сусец.

2. Железная дорога Рава-Русская—Ярослав не работала свыше 30 суток. Взорван мост через реку Лобачувка в с. Игнаты. Взорвана водокачка и путевое хозяйство ст. Горынец, железная дорога не работала свыше месяца.

3. Железная дорога Билгорай—Звезинец. Взорваны два моста.

Всего взорвано — 9 железнодорожных мостов общей длиной 310 метров.

4. Водонасосная станция и электростанция, питающая Львовский водопровод.

5. Водокачка и электростанция завода артиллерийского вооружения «Сталева-Воля» возле города Ниско.

6. Взорвано и сожжено спиртзаводов — 13 в населенных пунктах:

9.2 — с. Пересва — уничтожено спирта 30 тонн.

24.2 — фольварк Аданов район Замостье — уничтожено спирта 2 тонны.

9.3 — с. Яблонев Люблинской области — уничтожено спирта 40 тонн.

10.2 — м. Лопатин — уничтожено спирта 6 тонн.

19.2 — с. Пидемщина Цешанувского района — уничтожено спирта 15 тонн.

12.2 — м. Диков — уничтожено спирта 280 тонн.

¹ ИМЛУ, ф. 63, оп. 63—1, ед. хр. 3, л. 182—184.

26.2 — фольварк в селе Шевня — уничтожено спирта 500 тонн.

11.2 — м. Люблинец — уничтожено спирта 30 тонн.

18.2 — с. Воля-Добростеньска — уничтожено спирта 3 тонны.

6.3 — фольварк Липско район Замостье — уничтожено спирта 10 тонн.

9.3 — с. Закржев Янувского района.

18.3 — с. Поканево.

Всего спиртзаводов 13, уничтожено спирта — более тысячи тонн.

7. Электростанций — 3, в м. Краснобруд, Тарногруд, Руда-Ружанецка.

8. Лесозаводов военного значения — 8.

9. Взорвано мостов на шоссежных дорогах — 57, общей длиной 2 245 метров.

10. Взорвано железнодорожного полотна — 1 176 метров.

11. Уничтожен радиомаяк на авиатрассе в м. Улянув.

12. Крупная паровая мельница в с. Руда-Ружанецка.

13. Лагеря УПА в районе Ревушки, Волчак, Рудня, Осса, Матув, Квасув, всего — 78 барачных, конюшен и других помещений, в том числе: хлебопекарни, ружейные мастерские и др.

В наступательных и оборонительных боях, в засадах и диверсионными группами уничтожено:

1. Солдат и офицеров противника — 5 160 человек.

2. Взято в плен — 598 „

3. Пущено под откос воинских эшелонов 24. Уничтожено 11 паровозов и 227 вагонов и платформ. Паровозы и вагоны с техникой и другими военными грузами сожжены.

4. Танков и бронемашин — 75, из них: 28 в боях и 47 на платформах.

5. Автомашин — 196, из них: 56 на платформах.

6. Мотоциклов — 10.

7. Тягачей и тракторов — 16.

8. Самолетов — 5, из них: 1 шестимоторный «ME-323».

9. Пушек — 10.

10. Моторных лодок — 2.

11. Минометов — 11.

12. Станковых пулеметов	8
13. Снарядов 122-мм и 152-мм	960
14. Мин 82-мм	500
15. Патронов винтовочных	159 500
16. Дзотов и огневых точек более	30
17. Узлов связи	3
18. Радиостанций	2
19. Телефонных аппаратов	117
20. Связи (вырезано)	28 километров
21. Автодрезин	1
22. Складов горючего 2, бензина	10 850 кг
23. Складов продовольственных 18, хлеба	1218 тонны
24. Мяса	3 "
25. Складов вещевых	11 "
отдельно шинелей—450, ком- бинезонов — 200, портянок — 18.000, кальсон — 5000, под- меток проспиртованных — 1000 кг, гвоздей сапожных — 4500 кг, крема сапожного — 5 500 кг.	
26. Фольварков и легеншафтов	18
27. Складов фуража	9
28. Радиоприемников	16
29. Коммутаторов	7

В боях взяты трофеи:

1. Минометов 120-мм	1
2. Мин к нему	10
3. Минометов 82-мм	9
4. Мин к нему	230
5. Минометов 50-мм	5
6. Пушек 22-мм	1
7. Снарядов к ней	120
8. Пулеметов станковых	36
9. Пулеметов ручных	55
10. Автоматов	48
11. Винтовок	674
12. Гранатометов	6
13. Гранат к ним	187
14. Гранат ручных	323
15. Патронов винтовочных	113 860
16. Биноклей	8

17. Пистолетов	113	
18. Ракетниц	10	
19. Ракет	785	
20. Раций	1	
21. Радиоприемников	8	
22. Дисков к ДП и ДТ	28	
23. Лент к станковым пулеметам	65	
24. Снарядов 76-мм	191	
25. Снарядов 45-мм	320	
26. Артбуссолей	4	
27. Угломеров	4	
28. Коммутаторов	1	
29. Телефонных аппаратов	13	
30. Пишущих машинок	8	
31. Мотоциклов	2	
32. Велосипедов	22	
33. Капсулей-детонаторов	435	
34. Капсулей к противотанковым минам	35	
35. Бикфордова шнура	60	метров
36. Аккумуляторов	20	
37. Лошадей	208	
38. Повозок	21	
39. Седел	28	
40. Бензина	1 050	кг
41. Шинелей	708	
42. Комбинезонов	800	
43. Сапог	100	пар
44. Мыла хозяйственного	600	кг
45. Сала свиного	10	тонн
46. Сахару	5 000	кг
47. Муки ржаной	2 100	„
48. Фуража (овса, ячменя)	17 100	„ и мно- го другого военного имущества и снаряжения...»

Эти трофеи и давали нам возможность прокормить и одеть личный состав дивизии за счет противника. Мы никогда не затрагивали интересов местного населения, а, наоборот, помогали трудящимся Польши, Белоруссии, Украины.

«...Кроме боевой, — проводилась разведывательная и политическая работа. На Волыни разъясняли населению предательскую роль украинских националистов. В Поль-

ше установлены связи с польскими антигитлеровскими коалициями, ведущими борьбу против немцев, разведаны и изучены центры подпольных организаций, наиболее близким, входящим в Армию Людову, оказана помощь. Самолетами отправляли в Советский Союз видных польских руководящих деятелей. Освобождено из немецкого плена 300 человек военнопленных в районе Кобрина и Хомска и под Черемхой из эшелона — 50 человек. Отбиты две попытки мадьяр угнать в рабство свыше 10 000 человек мирного населения.

Во время рейда полки выросли на 661 человек за счет освобожденных военнопленных и мелких партизанских групп, влившихся в дивизию.

В боях за Родину смертью храбрых пали — 163 товарища, ранено — 318 человек, пропали без вести — 107 человек.

Потери вооружения: автоматов — 59, винтовок — 47, ПТР — 3, пулеметов — 14, минометов 50-мм — 1, станковых пулеметов — 1, пушек 76-мм — 1. Пропавшие без вести — в основном отставшие от части при выполнении задач командования, с вооружением и под руководством опытных командиров...»¹

Хорошие итоги! Но могли быть и лучше. Оглядываясь на пройденный путь, думаю: «Эх, мне бы еще таких хлопцев, и еще одну партизанскую зиму. Да настоящую зиму!»

¹ ИМЛУ, ф. 63, оп. 63—1, ед. хр. 3, л. 186—189.



РАССКАЗЫ

ГЕНЕРАЛ СИБОРОВ

Об этой человеческой судьбе поведал мне военком Петр Карпыч Зуев из Подвышковского района, что на реке Иволге.

I

«Было это через три-четыре месяца после победы. Возвращаюсь на трофейной машине домой. Сосватал мне ее под Лейпцигом дружок из ПАРМа, техник-лейтенант Машечкин. Из свезенного на огромный пустырь лома и завали слепили мы что-то такое... и не разберешь: на кузов «Оппель-Адама» воткнули мотор малолитражной «БМВ», задний мост подошел от малого «Мерседеса» древнейшей марки, а сиденье приспособил я от спортивного форда немецкой сборки.

— Аккумулятор с «пантеры» бери. Вот и получится у тебя драндулет марки «Зумаш» — «Зуев-Машечкин», — смеется мой трофейщик. — Газуй хоть до Урала!

Расчувствовался я даже.

— Все-таки вы, трофейщики, хорошая братва, — говорю. — Как-никак по мечте я археолог-историк, по образованию географ, по военной специальности матушка-пехота...

А мой сердобольный трофейщик все поддакивает:

— Вот я и подумал себе — вашему брату и сейчас

хуже всех придется. Разгонят вас кого куда. Ехал бы поездом, тискали бы тебя по вагонам да гоняли по пересылкам...

— А затем валялся бы у матки, — говорю. — Еще и спиться можно от безделья. А так прилепил ты мне, браток, колеса...

— Ну, колеса на войне — это первеющее дело, — говорит мне многоопытный Машечкин. — Вали, землячок, ни пуха тебе, ни пера...

И я поехал. Исколесил пол-Германии, заглянул к чехам и обратно через Польшу газую себе по «Варшавке». Ранним октябрьским утром подъезжаю с запада к Бресту. Солнце в глаза светит. Чуть в шлагбаум не врезался.

— Стой! Документы! — кричит пограничник, «Ого, думаю, начали наводить порядок».

Долго они отпускную и меня глазами щупали. Затем стали мое авточудо досматривать. Плечами пожимают. В багажнике роются. А там ни чемоданов, ни узлов. Никаких трофеев я не вез. Не лежала душа.

— Одно лишь скопище запчастей, — докладывает лейтенанту старшина-пограничник, пожимая плечами.

— В автомобильных частях служили, товарищ капитан? — спрашивает меня тот с усмешкой.

— Пехота, — отвечаю, а глаз от родного берега не оторву.

Задрали они шлагбаум к небу и взяли под козырьки зеленых своих фуражек. Колеса машины задрезали по ухабистой мостовой. Разбита она, родная, вдребезги. Гусеницами танков, тяжелых «ЗИСов», «Студебеккеров» и восьмитонных «Мерседесов».

Твердо я решил, что до Москвы буду ехать не спеша, все осмотрю. Когда еще придется... Кстати двухмесячный отпуск по ранению дали. Не поленюсь свернуть на сотню-другую километров в сторону от «Варшавки». Надо же побывать на местах недавних боев, могилы боевых товарищей навестить. Загляну на прощание в блиндажи и окопы, где обдумывались и совершались боевые дела. Где было больше горестей, но случались и мимолетные радости солдатских наступательных будней.

Не спеша оглядел я Брестскую крепость. Выслушал рассказы старожилков о ее защитниках 41-го года. Но, признаться по правде, тогда не обратил как-то я внимания на эту эпопею. Выглядела она в 1945 победном го-

ду довольно бледно по сравнению со Сталинградом, Смоленском, Витебском, Бобруйском и многими другими героическими страницами великой военной страды.

Еле мерцавшее имя лейтенанта Ноганова, ротного комсорга, принимавшего комсомольские взносы за июль и август 1941 года в 150 метрах от польской границы и набросавшего в блокноте тезисы к докладу о международном положении на 3 августа того же года, безусловно, меркло рядом с громкими именами знаменитых полководцев, боевые дела которых передавались в тот год из уст в уста по всему белому свету. Тем более, ни лейтенант Ноганов, ни его товарищи уже ничего не могли ни убавить, ни прибавить к своей воинской славе.

Позже, чем дальше удалялись страна и все человечество от этих исторических рубежей, признавался Зуев, он неоднократно и со все возрастающей горечью вспоминал об этом своем хладнокровии...

— «Как это могло случиться?» — спросит меня читатель. Но я же был тогда молод, и не мне было плыть против течения. Общественное увлечение отдавало все преимущества героям победного марша и освобождения. Правда, уже тогда метко было засвидетельствовано народным поэтом:

...Города слают солдаты,
Генералы их берут...

Что греха таить, справедливо это или несправедливо, но наш путешественник, видимо, также был подвержен совершенно понятному в те победные дни культу героев и отдельных личностей, так буйно развивавшемуся на жирно удобренной почве войны.

Но к чести капитана Зуева должен я сказать, что именно тогда, сидя на обломке крепостной кладки, вывороченной ударом бетонобойного снаряда, он записал в свой походный солдатский дневничок такую сентенцию:

«В 41-м году мы выдержали не только военный и не только экономический удар небывалой силы. Мы выдержали еще и удар психологический. И сейчас не только нам понятно, что если мы его выдержали тогда, то теперь нам ничего не страшно.

Слава тем, кто принял его своей грудью первым!»

На осмотр Бреста и его окрестностей ушел целый

день. На следующее утро наш путешественник взял курс на Кобрин — Слуцк.

Сосновые рощи, березнячки и осинники, уже тронутые сентябрьским багрянцем, тихо покачивались по бокам гравийной ленты. Автомобилист часто останавливался. Рьяно и внимательно осматривал мотор, проверял уровень масла, заглядывал под колеса. По этой причине он только искоса бросал взор по сторонам, где расстилались бесконечные хвойные леса, изредка расцвеченные подпалинами осиновых подлесков. Фронтных воспоминаний было здесь не густо. Дивизия Зуева после Минского «котла» была выведена во второй эшелон фронта и от Минска до Буга шла без боев, походным маршем. Но уже за Бараповичами начались знакомые могилы, села и города.

Около недели ушло на поездки в сторону от магистрали, на места недавних боев. Побывал Зуев и в Мозыре, и в Налибоцкой пуще, где дивизия его сражалась вместе с белорусскими и украинскими партизанами. Нашел он знакомых из бывших партизан. Они уже трудились в колхозах или на районной партработе. Только в первых числах октября, выехав за Оршу, путешественник наш достиг Смоленщины. Памятные холмы и долины замелькали по бокам Минского шоссе. Зуев втянулся, привык к машине. Врожденный непоседа, с детства привык он размышлять на ходу: так лучше думалось.

«Надо свято сохранить и передать в века этот народный подвиг. Сохранить в бездонных глубинах души, которые поднимает наисуровейшее испытание нации — война». Он был достаточно грамотным человеком, чтобы понимать: только что отгремевшая война значительнее, чем любая война прошлого. Это грозная проверка еще небывалого в мире содружества народов.

«Нет, мы не смеем распылить, растерять этот драгоценный опыт, купленный ценой крови народа», — думалось капитану.

— Неужели все это исчезнет, как пыль, вихрившаяся за машиной? — шептал он, нажимая на газ.

Зуев, как и многие из его товарищей, часто думал о секрете победы. Те, кто знал горечь первых месяцев отступления, отчаяние, вызванное целой цепью поражений, следовавших одно за другим, часто и после победного конца войны с удивлением, а наиболее впечатлительные

и с изумлением, спрашивали себя: «Неужели это мы?! Мы — те самые, которые драпали в сорок первом? А иногда паниковали еще и весной, а затем, сцепив зубы, стояли насмерть на реках, высотах и рубежах пыльно-пожарным летом сорок второго? Те, что поднатужились и своим израненным плечом удержали эту лавину?! Неужели это мы нашли в себе силу не только устоять, не только изгнать, но и повергнуть могучего врага!» Сейчас, когда он остался как бы наедине с Родиной, с глазу на глаз с ее полями, дорогами и лесами, мимолетно встречался на дорогах с тысячами людей, незнакомых, но родных, — все это постепенно сливалось в его душе в общую картину народа. Зуев начинал понимать: впереди большая и необычная работа, и ему в этой работе есть что делать и есть что сказать. Но поля лежали заброшенные, на них рощами росли сорняки. Дороги были изъезжены и выбиты ухабами, колдобинами. А у большинства людей, с которыми душевно разговаривал на привалах и ночевках, которых подвозил на своей машине, он уже уловил две черты — либо привычная фронтовая веселость и общительность, которая, вне боевой обстановки, уже становилась беспочвенной разухабистостью, либо скрытое смущение, а иногда и отчаяние: «Как жить? Что делать дальше?» У одних это была растерянность перед отсутствием крова, дома, села, города, привычной работы; у других — отчаяние от потери семьи. Но почти у каждого жизнь, вздыбившись на перевал победы, за которым многим, очень многим мерещился пологий и гладкий спуск в некие райские долины, вдруг обрывалась крутым обрывом. Для всех, для всех будущее было затянута дымкой, а для иных и густым туманом неизвестного, пугающего, таинственного.

И он ехал дальше, зорко вглядываясь в лицо послевоенной России — родной, измученной. Горе — дымное, почерневшее горе, обугленными морщинами селений, разворачиваясь, как в панораме, убегало назад и молча рыдало по бокам шоссе... Или вдруг, вздыбившись ему навстречу перед стеклом машины взорванными мостами и развалинами жилищ, заставляло сердце воина содрогнуться.

Но всюду в промежутках между этими струпьями войны уже поблескивала на солнце зелень. Неяркие осенние травы и бурьяны несмело пробивались из-под стар-

ческих морщин земли и руин, словно природа старалась прикрыть черное дело смерти, бродившей здесь четыре года в немецких кованых сапогах... Это было до боли трогательно и печально. Он знал, что впереди зима и этой зелени не суждено дать плодов, но яркая бирюза озимых — тихая надежда измученных, пожелтевших в землянках жителей — все же изредка веселила глаз.

Глядя на окрестные посевы, неровные и часто еще хилые, одна старуха из-под Орши, мать трех воинов и жена партизана, сказала Зуеву:

— Эх, сынок... Горя-то много. Ох, много... Но в жизни бывает и так: засеваешь слезами, а пожнешь радостью.

В таких раздумьях Зуев и доехал до старинного города, расположенного километрах в двух от магистрали. Вернее, это было то, что когда-то называлось городом: каркасы куполов внушительных соборов, их круглые решетки, где гнездились воронье; развалины старинных дворянских зданий; взорванные под корень подвалы массивных купеческих рядов; заросшие бурьяном кучи мусора и битого кирпича; выбитые мостовые, бездомные собаки... Да еще изможденные лица жителей.

Надо было где-то сделать профилактику машины, сменить масло и просто отдохнуть. Зуев остановился на базарной площади, купил харчишек. Отъехав в сторону, на пустырь, поросший травой, он выбрал место поровнее, раскинул брезент и вытащил инструмент и необходимые запасные части. Мотор барахлил, пофыркивали свечи, их надо было почистить и посмотреть карбюратор.

Но работать не хотелось. Он раскинулся на брезенте в своей любимой позе — закинув руки под голову. Лежал и долго смотрел в осеннее чистое небо, где с запада на восток, острым крылом рассекая вышину, распластался косяк перистых облаков. Тут, на этом рубеже, зимой 1941—1942 годов, опомнившись после сокрушительного удара под Москвой, остановились фашистские войска; здесь невдалеке они закрепились и держались около года...

2

И вдруг Зуеву вспомнилась легенда или фронтовая побасенка о генерале Сиборове, которую знал он еще с сорок второго. Это имя было связано в его памяти с на-

званием города, среди развалин которого он лежал сейчас, глядя на перистые облака, идущие на восток.

Чем же так отличился этот человек? Как заслужил он право на народную молву и славу, которая часто, капризно не подчиняясь пропагандистским усилиям, проходит мимо одних, а других щедро отмечает, вопреки замалчиванию чиновников-перестраховщиков, или намного опережая официальное признание?

Впрочем, официальное признание пришло после гибели: на площади, среди развалин, Зуев видел большой камень, одна сторона которого была хорошо отшлифована и золотыми буквами там было вытиснено, что «на этом месте будет сооружен памятник генералу Сиборову...»

«Жизнь и последний подвиг генерала Сиборова — легендарного командарма — была в общих чертах мне известна, — рассказывал Зуев. — В период боев под Ржевом, когда пришлось в первый раз попасть после легкого ранения на отдых, я проездом остановился в небольшом сельце где-то между Ярцевом и Вязьмой. Сельцо стояло в безлесной, слегка всхолмленной местности — типичное русское сельцо с деревянной церквушкой в центре. Никаких важных дорог и военных объектов вокруг не было, но вместе с нами в село въехала команда саперов, солидно вооруженных миноискателями и всяческим инструментом для извлечения мин. Начальником этой группы почему-то было лицо в больших чинах. Во время ночевки мы, тогда еще совсем молоденькие лейтенанты, узнали, что в этом самом сельце после его освобождения войска наши обнаружили большую могилу с нестандартным обелиском: был он приземист, кургуз и неуклюж, сделан из комля береста или вяза и выкрашен тем черно-грязным цветом, каким немецкая армия красила свою технику — танки, машины, орудия. На ровно спиленном толстом суке была прибита каска. Большой кованый гвоздь, продетый сквозь рваную осколком дыру, надежно прикреплял ее к дереву. Кто-то снял эту каску и обнаружил под ней надпись на русском и немецком языках: «Здесь похоронен храбрый русский герой, генерал-лейтенант Сиборов, над прахом которого немецкие солдаты склоняют свои знамена». Выше надписи стандартный немецкий крест, внизу дубовые листья —

символ крепости духа, по немецкой традиции венчающие только храбрейших из храбрых.

— Провокация, — сразу догадались в СМЕРШе. — Вероятно, заминированный бугор...

Эта догадка имела основания. При отходе обозленные фашисты часто минировали не только склады, дома, но и могилы. Они не гнушались оставлять даже отравленные продукты и спиртное. Игра в рыцарское благородство была густо замешана на коварстве и подлости. Версия о минах все больше укреплялась, так как опрошенные жители не помнили никаких похорон. Они только подтвердили, что весной 1942 года немцы зажали каких-то партизан или окруженцев на колхозном дворе и сражались с ними около суток. Видели также, что после боя вели к штабной машине одного израненного русского. Переночевав, отряд вражеских войск ушел, оставив свежий холм у церкви со странным обелиском и каской. Когда колонна вражеских машин выстроилась к маршу, на церковном пригорке собралась стайка вездесущих мальчишек. К ним подошел немецкий ефрейтор или фельдфебель с крестами и рубцом через лицо.

— Наискосок его рубануло, — рассказывал заводила всех деревенских проказ непоседливый сысоевский Васька. — Подошел ён к нам и стал на губной гармошке играть. А потом на пальцах фокусы показывает. Хлопцы глядят — смеются. Ён раза два огляделся — не смотрит ли охвицер, — а потом поглядел на нас так сурьезно да глазами на ту могилу с каской зырк-зырк. Показывает, значит. Мы ничего, молчок, что дальше будет... А ён нам: «Рус мальшык, карош рус мальшык, слушайт — тот могил и железный шапок не трогайт, не подходиль... Там есть пп-уф». Заминировано, значит, — мы сразу догадались. А ён тогда гармошку к губе да марш как заиграет! И пошел, пошел к машине...»

Предупреждение подействовало. Жители обходили страшный обелиск стороной.

Наши войска, освободив край, наткнулись на эту загадку. Вначале она особенно никого не интересовала: мины так мины. Мало ли мин понатыкано на нашей земле... Но какому-то проезжему старшине, не предупрежденному населением, вздумалось сбить ту проржавленную каску. Под ней-то и оказалась таинственная надпись. Молва об этой странной истории пошла по всему фронту.

Дело в том, что действительно был такой командарм генерал-лейтенант Сиборов. Участник революционного подполья на Сибирской магистрали, рабочий-молотобоец, стал он одним из командиров партизанских отрядов не то Канского фронта, не то Степного Баджея. Затем был переброшен партией на Каспий и на Кавказ. Стал кадровым военным. Нелегко давалась ему военная выучка в академиях, но одолел и это. Был он лишен чапаевской задиристости, энтузиазма Лазо, богатой на выдумки фантазии Котовского. Он был работяга.

В Отечественную войну на рубеже 41-го и 42-го годов армия его находилась на самом острие удара наших войск. В январе 1942 года, как стальным шилом, проткнула она своей ударной группой носорожью шкуру вражеского фронта. И устремилась вперед. В обход Вязьмы с юго-запада. Но вражеское командование срезало узкий клин «под корешок». Сиборов с ударной группой очутился в тылу врага, в полном окружении. Семь суток прорывался он к своим на участке правого соседа. Но прорыв не удавался. Затем связь пропала. Канонада и пожары, наблюдаемые не слишком ретивым соседом, удалялись все дальше и дальше на запад. А затем и они исчезли. Наступило затишье. Все меры, предпринятые разведкой и командованием, ничего не дали. Несколько тысяч отборных солдат во главе с опытным полководцем исчезли, как человек, с камнем на шее прыгнувший в океан. Высокопоставленные смершевцы запросили копию личного дела генерала, пропавшего без вести.. В семнадцатом командовал отрядом против Колчака. Воевал в Астрахани, освобождал Баку. В то время, когда строилась и перевооружалась армия рабочих и крестьян, в годы пятилеток он занимал ряд значительных командных постов. Это все, что можно было узнать из содержимого красной палки со звездой на обложке. А дальше — неизвестность. Мрак вражеского тыла, тогда, в начале 1942 года, еще казавшегося таинственным и непроницаемым. Все усилия, предпринятые разведкой, ни к чему не привели. Дело завершилось крупными вопросительными знаками и было отложено до лучших времен. Имя Сиборова стало забываться. Кто-то под шумок занял освободившуюся квартиру в Москве, и все бы на этом кончилось,

если бы не обнаруженная странная могила с обелиском и каской; она разворошила тайну последних дней генерала Сиборова.

3

Совершенно случайно молодому лейтенанту Зуеву пришлось присутствовать при развязке. Но письменное свидетельство об одной из тысяч трагедий военному историку капитану Зуеву пришлось откопать в архивах на много лет позже. Зуев случайно присутствовал при работе саперов. Не будь этой случайности, может быть, никто и никогда не обратил бы внимания на письмо немецкого ефрейтора, обнаруженное в Подольском кавучилище, куда были свезены эшелоны бумажных дел, по которым патриотам-исследователям удастся почувствовать живую душу народа, его огромное горе, титанический труд и подвиг. Зуев рассказывал:

«Долго прощупывали саперы подходы к обелиску и могиле. Своими кольчатыми миноискателями они очертили бугор, орудуя, как гоголевский Хома против нечистой силы.

— Не нашли ничего подозрительного, — отрапортовал командир саперов.

— Медленно и осторожно начинайте раскопку, — приказал начальник.

Все шло благополучно. Мин не оказалось. На глубине полутора метров кирки и заступы застучали, зазвенели.

Кости. Человеческие останки.

Саперов сменили штатские люди в резиновых перчатках — специалисты эксгуминаторы. Они осторожно отделяли землю от костей. Дымчатый, жирноватый порошок, в который превратилось все, что составляло когда-то мозг, нервы, мускулы и кожу живших среди народа и воевавших за свой народ людей, сыпался, как отяжелевшая зола. По правилам своей науки, они медленно и старательно сложили кости на брезентовые палатки, разостланные на траве церковной ограды. Скелетов было семь. У всех были пробиты черепа.

— Расстреляны, — поспешил сделать вывод председатель комиссии.

Один из специалистов задумчиво глядел на печальную картину. Отгремели страсти... Перед ним были лишь

человеческие останки... Он досадливо взглянул на своего начальника.

— В чем дело? — спросил тот.

Вдумчивый следователь не торопился. Он молча взял в руки самый большой череп и, поворачивая его в своих руках, увеличенных плотной резиной перчаток, сказал:

— Только входное отверстие...

— Ну и что же?

Следователь снял одну перчатку и медленными, ловкими движениями стал вынимать слой за слоем песчаную землю, скрепленную серой массой мозга. Погибший, может быть, слышал живые ленинские слова, дружил с Кировым, бывал на докладах у Сталина, Ворошилова, Фрунзе, Буденного.

Следователь так и сказал об этом своему начальнику. Тот сразу насторожился, хмуро и подозрительно глядя на спеца. Но тот уже нашел, что иокал. Из цементированной мозгом земли он извлек пулю, обыкновенную пулю тульского пистолета, сконструированного Токаревым.

— Патрон «тэтэ», — сказал следователь, рассматривая череп и входное отверстие в правой височной части его. Так выглядит только череп человека, пустившего себе пулю в висок.

Следователь взял пулю и медленно вложил ее в пробойну. Сомнений не было.

— Не хотел сдаваться, — сказал кто-то из саперов.

Следователь приложил череп к скелету. Теперь только стало ясно, какого огромного роста был этот человек.

— Это генерал Сиборов? Вы уверены? — впиваясь взглядом в переносицу спеца, нетерпеливо спросил председатель.

Но следователь, по-видимому, не торопился с выводами. Он положил пулю на ладонь, словно взвешивая ее. Затем снял очки и поднес ладонь к близоруким глазам. Долго осматривал мертвый комочек металла, поворачивая медленно по ходу витка ствола. Затем достал из чемоданчика большую лупу и стал рассматривать пулю, то отодвигая, то приближая увеличительное стекло.

— Так, — сказал он и взял другой череп.

Вложенная в пробойну пуля показала, что отверстия одинаковы. Так он внимательно осмотрел все черепа...

— Все семь человек убиты из одного пистолета. Но только один из них стрелял в себя сам. Ясно? Ну что ж, вернемся к могиле.

Тщательное исследование могилы дало кое-какие новые данные. Не до конца истлевшие куски шинельного сукна, каблук и задник большого сапога да карман шинели, в котором оказалась плоская круглая коробка из пластмассы, в каких немецкие солдаты держали суточный рацион масла, а наши часто использовали для махорки.

— Генеральский драп, шинель генерала Сиборова. Но кто ж в ней похоронен?

Следователь отвинтил крышку оранжевой коробки. Там были вата, марля, пропитанные йодоформом. На дне ее лежал сложенный вчетверо лист бумаги. Он был написан мелкими готическими буквами. Это было письмо немецкого ефрейтора. Прочитав его, следователь сказал:

— Видимо, тот самый, игравший на губной гармошке.

Вызвали сысоевского Ваську. Он вымахал с 1942 года почти до сиборовского роста. Стоит, пощипывая верхнюю губу, на которой пробиваются какие-то перья, и угрюмо молчит.

Следователь медленно, сохраняя особенности письма, переводил его по-русски.

— Ён самый. Тот фриц, который нам подмаргивал. Видать по всему, что ён.

В письме говорилось.

«Я, Гуго Бамлер из Гамбурга, ставший по заданию Эрнста Тельмана ефрейтором СС, хорошо понимаю, что в моих руках тайна, которую будут долго искать наши русские товарищи. Знаю также, что я не доживу до конца этой бойни. Поэтому единственный выход для моей совести коммуниста написать обо всем. Я думаю, мне удастся оставить это письмо в могиле. О нем не знает ни один человек на свете. Вернее, знает этот русский, которого сразу же за деревней расстреляют. Я вызвался исполнить это, и оберст Шмидтке дал команду. Думаю, что мне удастся устроить ему побег. И если не выйдет, то я хотя бы сделаю ему легкую смерть. Пусть

никто не клянет меня за это. Человек этот еще раньше приговорил себя к ней... но у них не хватило одного патрона...»

Дальше я даю изложение героической борьбы и гибели отряда генерала Сиборова так, как ее понимали немецкий коммунист Гуго Бамлер и русский военный историк Петр Карпыч Зуев.

4

Уйдя в глубь вражеского тыла, группа уцелевших храбрецов стала маневрировать. Но не спасаясь, а нападая. Она ураганом пронеслась по штабам корпусов и армейским тылам центральной группы армий немецко-фашистских войск. Гитлер в это время наезжал в свою ставку, расположенную в Смоленске. Фронт был еще за Вязьмой, но вокруг полыхали пожары, а по ночам доносилась со всех сторон канонада. Это действовали многочисленные отряды смоленских партизан. Грозные имена «Дедушки», полков «Лазо» и «Жало», знаменитые «Тринадцать», партизанская дивизия Галюги уже давали о себе знать. Группа Сиборова действовала севернее этих крупных очагов народной борьбы и связи с ними не имела. По извечной спеси прусской военщины, которая начисто отрицает такую войну, считая ее даже незаконной, фашистские генералы, узнав, что у них в тылу действует крупный советский генерал, командарм, все, что делалось в этом районе их тыла, приписывали боевой группе Сиборова. Такая версия больше всего подходила к их доктрине. Но пожары и канонада не давали Гитлеру спать независимо от доктрины. Они властно напоминали ему не только о том, что ставка на блицкриг бита, но казались ему таинственными зарницами будущего. Это будущее начинало походить на непроницаемый и зловещий туман истории. Откуда-то поднималась могучая лавина, громящая в мутной и грозной неизвестности. Эта огромная, таинственная страна пугала его соратников и генералов. Геринг вопил в Житомире о том, что «русские его обманули» — у них де оказались самолеты таких марок, каких не было к началу войны на разведывательных картах и таблицах немецкого Генерального штаба. Вообще война шла совсем по-другому, чем она была задумана. Привыкшие к шашечной игре в

поддавки на полях Западной Европы, Гитлер и его подручные сели за шахматную доску на востоке. С той же наглостью, очертя голову, они стали совать все фигуры вперед. Лишь бы дойти до Москвы, проскочить к Волге, дорваться до Урала... Но война шла явно по-иному.

«Вот и этот генерал Сиборофф. Что ему нужно?! Он воюет явно не по правилам!»

Подтверждающие его действительные достоинства сведения о личности русского генерала, уже начинавшего раздражать фюрера, преувеличивались командирами частей в донесениях: одними — из боязни наказания, другими — из уважения.

Огромная фигура русского, неуловимого и знающего какие-то секреты этой скифской стратегии, не давали Гитлеру покоя. Фюрер требовал взять Сиборова живьем. Он послал самолеты с листовками. В них предлагалась почетная сдача в плен. «Сохранить форму! Личное оружие и ордена!» Но этот безрассудный храбрец Сиборофф не капитулировал. Чего же ему еще? Положение у него безвыходное. И никто не посмеет обвинить русского генерала в трусости. Наконец, сам благородный фюрер немецкого народа порукой, что он мужественно сражался...

В ответ был разгромлен штаб армейского корпуса, отведенного в резерв. Гитлер рассвирепел. Тогда-то и была снаряжена экспедиция оберста Шмидтке. Взять скифа живьем! Во что бы то ни стало! Эта честь была возложена лично фюрером на блестящего и безжалостного молодого оберста новой немецкой военной школы, которой предстоит покорить мир. Гитлер был уверен, что как только этого «варвара» Сиборова доставят к нему, он лаской, угрозой, хитростью, наконец пыткой выманит у того психологический секрет восточной стратегии... Он по глазам поверженного варвара прочтет, какую гениальную идею надо будет вложить в свои приказы этим олухам Браухичу, Клейсту, Гудериану. Надо только его поймать, раскусить, пронзить взглядом.

— Так вот почему вокруг группы генерала Сиборова намотался целый клубок! — воскликнул я, начиная наконец понимать, почему судьба пропавшего без вести генерала так заинтересовала моего друга.

— Теперь вам ясно? Но все дело в том, что история не любит авантюристов. Она мстит тем, кто ядовитым

туманом обволакивал человечество. Она, несмотря ни на какие страдания, должна была стать ясной радостью для разведчиков мужества человека даже во мраке той трагической зимы.

Мы помолчали.

Зуев продолжал:

... Но тогда, когда сотни Сиборовых стояли насмерть, всем нам, советским людям, до радости было еще далеко. Ох, как далеко!

Вражеские батальоны, как гончие в зубра, вцепились в окруженную группу генерала Сиборова. Отчаянная схватка продолжалась около месяца. Oberst Шмидтке уже видел себя генералом. В дело вступили законы боя в его самой высокой степени напряжения — поединка двух сил, из которых одна обречена на угасание, другая могла все время наращивать свою мощь. Но беспрерывно действовал и другой закон — неполное знание сил, состояния, намерений противника. Когда, по всем расчетам оберста Шмидтке, советский генерал Сиборов должен был остаться один и его можно было просто зарканить, как дикого коня, вдруг оказывалось, что у него еще сотни боеспособных солдат. Откуда? Все возможности подхода подкреплений предусмотрительно парализованы. И все же русские сражались. Если бы фашистские офицеры, которым Гитлер поручил разгром и пленение генерала Сиборова, знали его уязвимые места, они не придавали бы такого значения этой операции. Но в их распаленной фантазии он выросал в символ непобедимости — не советского народа, нет! До такой категории войны им так и не удалось подняться, но им было непонятно и потому страшно боевое упорство небольшой части, обреченной на явную и бесполезную гибель. Ими владел уже не военный расчет, а инстинктивный азарт, в котором есть и злоба, и любопытство, и состязание, и подстегнутая всем этим жестокая, тупая воля.

Генерала Сиборова, героя революции, вело вперед не отчаяние и беспредметное упорство. Он был непобедим верой в победу, убежденностью в справедливости коммунизма, воинским опытом и личной храбростью. Сила его заключалась также и в том, что он глубже немецких генералов умел проникать в замыслы врага. Он знал и учитывал его недостатки: шаблоны, пунктуальную нерасторопность, безыдейную принципиальность и

закостенелую систему первоклассной, кадровой, профессиональной армии фашизма.

В отличие же от своего противника, немецкие генералы не только не знали, но и не догадывались о просчетах самого Сиборова и его штаба. А они тоже были. И простые, неизбежные для первоначального периода большой войны, исправляемые на ходу по мере накопления опыта, и более серьезные, которые не удалось изжить из-за непрерывных боев в окружении при полной оторванности от своих войск. Тут и слабость в тактике ночных действий, и нежелание использовать радиосвязь, превратившееся у некоторых военачальников в начале войны в своеобразную болезнь — радиобоязнь, и неумение некоторых из подчиненных генерала Сиборова воевать без воинского тыла, без подвоза боеприпасов, продуктов, медикаментов, эвакуации с поля боя раненых. Но все это было не страшно. Беда научит воевать и ночью да питаться корешками. Но было и у самого военачальника роковое убеждение, в данной обстановке пагубно влиявшее на исход его поединка с Гитлером, убеждение, не до конца выкристаллизовавшееся как категория мировоззрения, но ставшее привычкой (а шаблоны-то как раз и вырастают из привычек): он уже давно привык думать, что воюют две армии, что исход боя и операции решается только солдатами и только на полях сражений и на картах полководцев. Так привыкли думать во время маневров, учений на военных играх.

Сиборову докладывала разведка о том, что на западе, где-то в районе Дорогобужа и Ельни, действуют партизаны. Но перейти на партизанские способы войны он считал для себя унижительным, а для своей боевой группы нецелесообразным. Он знал и верил, что войну выиграет народ более мужественный, идеи более справедливые... но чтобы в современных условиях можно было возрождать военную организацию на территории, где хозяйничает враг,— это казалось ему абсурдным.

Недооценка партизанской войны вытекала из настроенности к партизанщине у самого Сиборова, еще в молодости хлебнувшего немало забот и горя в крестьянских стихийных отрядах, она вошла в плоть и кровь рабочего и стала второй натурой кадрового генерала. Он не смог уже возродить в себе качества партизанского вожака, каким он был в молодые годы. И не уловил раз-

личия эпох. Над ним довлело различие в технике и тактике. Жупел партизанщины тугой петлей сдавливал ему горло.

И не одного генерала Сиборова это был просчет: ведь было только начало 1942 года, и стране и войскам еще не был известен — ставший после повсеместным — боевой опыт Руднева и Ковпака, Сабурова и Наумова, Игнатова, Медведева и двух Козловых — белорусского и крымского, двух Федоровых — ровенского и черниговского, смоленского Гришина, ленинградца Германа, брянцев — Филиппа Стрельца, Галюги и Бондаренко и многих, многих других самобытных народных военачальников, людей, которым суждено было в двадцатом веке оживить легенду о птице феникс, возрождающейся из собственного пепла. Нет, в легенды боевой генерал не верил!

Этот опыт уже накапливался, но пока только вразбивку по районам и областям. Он еще не стал достоянием всего народа, его военных и политических руководителей. Он еще не был обобщен. Но был он по существу не только их свежим боевым опытом, но и военным наследием воинов Блюхера, Лазо, Чапаева и Котовского, солдат Азина, Криворучки и Якира, партизан алтайского Мамонтова, засаянского Щетинкина и кубанского Кочубея, традицией революционных бойцов Кавказа, красных джигитов незабвенных Серго и Мироньча. Но трагедия заключалась в том, что традиции были основательно забыты, а новый опыт еще не созрел в эту первую зиму. Этот народный опыт, существуя в реальности, был еще «вещью в себе», стоявшей на грани того диалектического скачка, когда ему надлежало стать «вещью для нас», для всего советского народа. Традиция одной войны и эмпирика другой еще не дали сплава. А только такой сплав и мог бы стать новым шагом в военном искусстве. Тут не было ошибки человека, это была трагедия истории: для того, чтобы боевая группа генерала Сиборова сама пришла к верному выводу, обстоятельства не давали времени для раздумий и обобщений. Все ее усилия имели одну цель — прорваться к своим. Но Гитлер приказал наглухо закрыть для нее выход на восток. Загнанная в полустепную местность, преследуемая самолетами и танками, она принимала на себя все мститель-

ное возмездие освирепевшего врага и поэтому была лишена единственного тыла на оккупированной территории — связи с населением.

5

Героическая группа таяла. К началу весны наступила агония. К этому времени под командой Сиборова было всего около двухсот человек. Почти все были ранены. За генералом шли изможденные, похожие на скелеты бойцы и офицеры, в лохмотьях зимней одежды, с безумными глазами, глубоко запавшими в глазницах. Там были контуженные, гангренозные, продырявленные, но еще живые тела, трясущиеся руки и дергающиеся подбородки, сумасшедшие и грозные зрачки; были губы, неделями не произносившие ни одного слова, кроме команды, криков «ура», стонов и матерщины. Там были навеки замолчавшие или навсегда оглохшие люди, забывшие свои имена, помнившие только о том, что они «сиборовцы». Там были, наконец, сошедшие с ума от бомбежек и танковых атак. Там не было только одной категории людей, как будто бы неизбежной на войне; среди них не было изменников. Генерал знал это. Он верил каждому, и пока была вера в солдат, была надежда вырваться из лап смерти или позорного плена. Судьба до сих пор хранила его самого, и, неуязвимый для пуль и осколков, он становился все более близким для своих подчиненных, может быть, еще и потому, что у каждого из них было по нескольку ранений. Но в конце концов слепой вражеский осколок, вопреки приказу Гитлера взять генерала Сиборова живьем, все же прошил ему бедро. Огромный человек на глазах у остатка своего войска рухнул навзничь. Воины поднялись в последнюю атаку. Она была ненужной. Каждый искал в ней только смерть и нашел ее.

Прикрытые этой последней атакой семь человек подняли огромное тело восьмого — генерала — и понесли оврагами в рощицу. Двое суток они лежали на морозе, согревая раненого генерала горячим дыханием. На третью ночь ползком подобралась к селу с деревянной церквушкой и забралась в колхозный сарай. Зарылись в

сено и там проспали мертвым сном больше суток. Все восемь, раненые, истощенные, но решившие стоять на смерть. Прошли еще сутки. На рассвете их обнаружил полк СС оберста Отто Шмидтке. Тот сразу радировал в группу армии, указывая координаты: «Генерал Сиборов окружен, с ним не более ста человек...»

— Счастливчик этот оберст! — сказали в штабе.

В ставку был вызван Браухич. Гитлер сгорал от нетерпения. Он почти решил и эту сложную задачу. Он уже привык к маниакальной мысли, что только в глазах, в лице этого гиганта найдет разгадку восточного сфинкса.

Цепи эсэсовцев окружали колхозный двор молча. Когда рассвело, немцы лежали на подтаявшем снегу, как снопы. Сначала казалось, что они мертвы. Но они двигались. Ползли.

Сиборова поднесли к окну. Он, упершись руками в бревенчатую стену, встал во весь рост и долго осматривал местность.

— Всё, ребята! Подпускать поближе!..

И когда где-то за серыми тучами невидимое блеснуло солнце, загрохотали последние гранаты, забубнил последнюю боевую сказку пулемет «дегтарь» и застрекотали штабные «пепедэ».

Передовые цепи сразу откатились. Эсэсовцев злило то, что оберст приказал не употреблять зажигательных пуль, отличных немецких зажигательных пуль, уже путивших дымом пол-России.

— Живьем, только живьем! — хрипел оберст за каменным зданием школы.

Он честно зарабатывал генеральские лампасы и железный крест, лично находясь в двухстах шагах от этого необъяснимо отчаянного храбреца: «Неужели и у этой низшей расы могут появляться свои Нибелунги?! — думал он, прижавшись к стене.— Но даже если есть, тем лучше! Победят немецкая идея, немецкий материал, немецкий разум, немецкое упорство! Хайль Гитлер! И генеральские погоны в тридцать четыре года!»

Пока полк СС «Мощь Нибелунгов» перестраивался для новой атаки, в колхозном сарае происходило следующее.

— Патроны и гранаты все,— сказал капитан Иванов, командир четырех человек, всего, что осталось от его батальона.

Когда цель врагов подходила к самым стенам сарая, в пылу боя два офицера расстреляли даже последние обоймы пистолетов.

Генерал Сиборов повернулся к своим солдатам. Опираясь спиной о бревенчатую стену, он смотрел на них просто и по-человечески печально.

Вот земляк генерала сибиряк Арефьев — парень-гвоздь, следопыт и снайпер из таежных охотников; уса-тый старшина Опанасенко — выпивоха и бабник; Яремчук — его земляк, удивительный разведчик; Жора Балабан — одесский рабочий из Январских мастерских, он же снайпер-минер; телефонист и вестовой генерала — Женя Колтушев; лейтенант с «гадюкой» — студент-медик, делавший ему перевязки, — Вова Зильберштейн и возглавивший после трагической атаки группу, выносившую раненого генерала, комбат Иванов.

Они смотрят из полутьмы сарая. И ждут. Может быть, есть еще выход, неизвестный им, простым и когда-то веселым советским мужчинам. Но выхода нет. И надо им прямо это сказать.

И генерал говорит:

— Ребята, всё. Выхода нет...

Глаза их потухли. Опустились головы.

— Есть один выход — плен...

Вздрыгнули головы, блеснули глаза, враждебно, подозрительно.

Генерал криво усмехнулся и вынул свой пистолет из кобуры.

— Кто не желает этого выхода — два шага вперед!

— Я не желаю сдаваться в плен, — как и подобает командиру, первым сказал капитан Иванов.

— И я, — сказал старшина Опанасенко.

— И я тоже, — повторил минер Балабан.

— Не сдаюсь, — подтвердил девиз сибиряков Арефьев.

— Я предпочитаю смерть, — сказал медик Вова Зильберштейн.

— Немае охоты, хай воны чмокнуть мене ось куды, — по-запорожски тряхнул чупрыной Яремчук. — В мертвый зад!

— Предпочитаю смерть плену, — подтвердил и самый молодой, Женя Колтушев, вестовой генерала.

Все...

У немцев тишина.

Генерал Сиборов смотрел потеплевшими глазами на своих, в его большой жизни полководца революции, последних солдат. Они, как бы равняясь в строю, приблизились друг к другу.

Но в этот миг лица воинов осветились розовым мерцающим светом.

— Ракета,— мрачно сказал старшина Опанасенко.

— К оружию! — прохрипел капитан Иванов и побежал к ручному пулемету. Только тут он опомнился и бросил его наземь...

Генерал молча вынул пистолет из кобуры. Почти не хромя, он подошел к медику и остановился, прислушиваясь. Хлопки ракет и голоса подгоняющих цепь офицеров явственно приближались.

— Прощай, Вовка. Выполняю твою последнюю просьбу!

Он быстро обнял солдата, поцеловал и тут же выстрелил ему в переносицу.

Так подходил к каждому.

Осталось только двое — генерал и комбат.

Капитан встал с земли и сам подошел к генералу. Сиборов смотрел печально на молодого офицера. Затем вынул пустую обойму и швырнул ее в сторону. Комбат понял — остался последний патрон. В стволе.

Голос Сиборова был нежен.

— Этого патрона я не могу вам отдать, товарищ капитан.— И, остановив его жестом, сказал жестко и властно: — Приказываю вам, товарищ комбат, сдать в плен! Приказываю рассказать о последних днях оперативной группы командарма Сиборова. Мы не совершили ничего такого, чего могли бы стыдиться перед своей армией и народом. Нам теперь нечего скрывать и от врага. Пусть узнает и содрогнется!

Тяжко застонал капитан Иванов.

— Прощай, Ваня. Я не могу иначе... Видишь, им нужен генерал Сиборов живой... Этой победы я им не дам. Не поминай лихом. Живи по приказу командарма. Наши это поймут... И никогда не осудят.

В двери сарая заколотили прикладами. Генерал Сиборов поднял пистолет к виску. Выстрела он уже не слышал...

Немецкий коммунист Гуго Бамлер, посланный германской Компартией для работы в армию, правильно поняв, что его задача — раскрыть русским коммунистам эту тайну. Письмо его кончалось так:

«Через несколько часов русского капитана расстреляют. В полку у нас паника. Оберст Шмидтке разжалован лично Гитлером за то, что не взял русского генерала живым. Полк отправляют на фронт, в самое пекло. Если я дотяну до прибытия на передовую, я перейду линию фронта и скажу, что я все-таки выполнил задание Эрнста Тельмана. Если же меня раскроют раньше, я теперь знаю, что делать. Этому меня научили русские. Живым гитлеровцы меня не получают... Рот фронт!

Гуго Бамлер».

Видимо, дойти до фронта гамбургскому рабочему не удалось. В лагерях военнопленных не было обнаружено человека с такой фамилией. Да и вся эта история, восстановлена Зуевым во всей полноте гораздо позже — когда он, проникнув с немалым трудом в архивы, раскопал в них не только полузабытое письмо Гуго Бамлера, но и, проанализировав сотни протоколов допросов военнопленных, рапорты советских военачальников различных рангов, боевые донесения партизан, восстановил всю историю оперативной группы генерала Сиборова, насколько это возможно... Перед ним предстала полная картина одной из многих трагедий уже отгремевшей войны. А потом, уже работая военкомом в Подвышкове, он встретил и капитана Иванова. Тот чудом выжил и командовал саперами. Он разминировал колхозные поля на тех местах, где извивалась злой гадюкой заросшая чертополохом линия немецких траншей, — на грозной, когда-то Курской дуге.

А сейчас Зуев молча лежал среди разрушенного старинного города, отдаваясь мыслям, наваянным мемориальным камнем, о будущем памятнике, следил за стайкой перистых облаков, уже далеко ушедших на восток. И позже, лежа на спине, дома, под родным кровом, Петр

Карлыч Зуев не раз вспоминал и сельцо с церквушкой, и надпись на мрачном обелиске, и письмо Гуго Бамлера. Заключительные слова письма он помнил наизусть: «Этому меня научили русские. Живым гитлеровцы меня не получают... Рот фронт!»

Он отдал это письмо Горевому, а тот прислал его мне. Я передаю его по эстафете поколений вам, юные наследники, хозяева страны.

Будьте достойны светлой памяти генерала Сиборова и его соратников. Рот фронт!

ИВАН-ГЕРОИ

Их было целых четыре Ивана. Целых, не побитых, вернувшихся с войны в родные степи, на солнечную землю Крыма. Все четверо из колхоза «Заря», что недалеко от Арабатской стрелки.

Звали их одним общим именем: Иваны-фронтвики. Но было у каждого и свое отличие: самый меньшей коренастый, чуть конопатый, был Иван-пехота; второй, длинный, чернявый, горбоносый, протопал в санбате тысячи фронтовых километров и вынес на своих плечах сотни бравого, но подбитого в боях народа — был Иван «помощник смерти»; третий — разбитной, уса-тый старшина снайперского взвода — Иван-кашевар и наш знакомый шофер из «Зари» — Иван-сапер из морской пехоты.

Дружки и однополчане знали, что зовут их так вроде как бы в шутку, чтобы отличать было удобнее. Поэтому за прозвища не обижались. Дело фронтное, прошлое. Там без соленого слова да меткого прозвища душе тоска, как солдатской груди без хорошей, с треском, махорочной затяжки. И всегда быть бы так, пока не поморщились бы их молодые лица, не подросли у кого дети, а у кого и внуки, и не стали бы односельчане звать их согласно занимаемой должности и по именам родителей: кого Иван Степанович, кого Иван Карпович — морская

пехота, а кого и просто Иван-голова или, скажем, Иван-бригадир.

Но в том-то и дело, что до этого еще не дошло. А все дело началось с пятого бывалого солдата, сапера знаменитой инженерно-штурмовой Краснознаменной ордена Суворова Мелитопольской бригады — старшего сержанта Васятки Круглова. Служил Васятка как бы сверхсрочную. Служил в войсках под командой самого маршала Малиновского, а затем и других знаменитых полководцев. Где-то под Веной, что ли. Точно не знаем где, но, в общем, на Дунае. И, видимо, понравилось ему на Дунае да на Эльбе границу держать.

Васятка Круглов, значит, со знаменитыми генералами да маршалами границы мира укрепляет, а в колхозе «Заря» наши четыре Ивана по силе возможности колхозными делами ворочают. Один Иван, снайперский старшина, в председатели колхоза вышел и стал Иван-голова; другой Иван овощами занялся, поливную бригаду затеял, того просто по фамилии стали звать — Иван Северин; третий Иван, Иван-пехота, тоже впереди идет. Не отстает и Иван-сапер из морской пехоты: шоферствует в колхозе, газует себе на трехтонке Горьковского автозавода.

А тут то ли время вышло, а может, просто тоска по родному краю привела домой и пятого бывалого фронтовика — Васятку Круглова. Борьба за мир крепко кругом развернулась. По всему земному шару подписи люди ставят, поперек войне на рельсы кладут и тела, и души, и думки, и волю свою. Славные китайцы под командованием Мао Цзэ-дуна и Чжу Дэ войне на востоке пути-дороги подрезали, да и на западе трудовые люди ей жилы пересекают. Васятка наш Круглов домой подался, передав свой пулемет в молодые руки призывников.

И получилась от этого нашим Иванам не то беда, не то радость, не то чудо, не то истинное происшествие, или, как сказал бы военкор дивизионной нашей газеты Костя Штык, — эпизод, а по-нашему, солдатскому, просто заковыка.

Приехал Васятка Круглов в родной колхоз «Заря». И первым делом вопрос:

— А где мне Иванов наших, фронтовиков, повидать?

— Возле скважины в овощной бригаде они все собираются.

— А в какое время?

— Да на закате, часов в девять вечера. Оттуда они овощи в город отправляют.

Как подошло время к семи, Васятка Круглов к новой гимнастерке воротничок целлулоидный приладил, орден и медали суконкой протер и широким маршевым шагом по степи на скважину двинул. Идет и солдатское свое сердце тешит. Степь кругом без конца и краю... И нет на ней шрапнельных разрывов, не пылят по ней танки, а только девчата, с токов едучи, песни поют, комбайны гуляют да поля с подсолнухом старшего сержанта запаса, как самого командарма на параде, провожают, на запад головы повернувши.

Сушь... Степь... Поливные поля... Помидоры, перец-стручок. Арбузы, дыни... Красота!

Ровно в двадцать один ноль-ноль прибыл Василий Круглов на колхозную скважину.

— Здравия желаю,— говорит.— Фронтовой привет вашей колхозной бригаде от нашей группы войск и тысячу приветов с Эльбы и Дуная.

— Здоров будь, Васятка! — отвечают наши три Ивана: Иван-голова, Иван Северин и Иван просто колхозник. Иван-шофер со своим «газиком» отсутствовал.

И тут вынимает из кармана Васятка Круглов бутылочку «Столичной» и говорит бригадиру овощной бригады Ивану Северину, бывшему, значит, «помощнику смерти»:

— А ну-ка, отец, выбери ты нам свеженького огурчика да сорви помидорчиков.

Бывший старшина снайперов, ныне колхозный голова, хлопнул ласково ладонью в доньшко «Столичной», полетела пробка, полилась в посудину горькая.

Васятка Круглов пожелал высказать тост.

— Первым долгом за нашу благополучную встречу. Ну, да это между прочим... А тост наш будет за тех, кого нет с нами. Предлагаю выпить за нашего славного земляка из морской пехоты, который, выполняя задание командования, первым водрузил непобедимое наше красное знамя на Ревун-горе при освобождении города-героя Приморска и пал смертью храбрых... О нем никогда не забудут ни город-герой, ни наш Четвертый Украинский, ни Отдельная Приморская...

Иваны-фронтовики слушали тот гост терпеливо и вежливо. Но в конце забеспокоились...

— Постой,— сказал Иван-голова,— ты про кого речь ведешь?

— Про славного нашего земляка Ивана Карповича.

— Которого?

— Как которого? Ивана Карповича Шевчука, нашего односельчанина.

— Так при чем же тут «пал смертью храбрых»?

— А при том,— говорит Васятка,— что о нем книги написаны, доклады делаются и ежегодно в нашей части да, наверное, и в городе-герое, славном Приморске, в день годовщины освобождения про него «почтим память вставанием» говорят.

Вынимает Васятка книжечку «Город-герой Приморск» и еще разных брошюрок штук шесть. А в книжечках, на разных только страницах, описано, как рядовой солдат Шевчук Иван Карпович водрузил красное знамя на Ревун-горе.

— Чудеса,— говорит Иван-голова.

— Вот нашему-то Ивану радость,— тихо сказал Иван Северин, огородный бригадир.

— Так-то оно так, но... — неуверенно протянул Иван-пехота.

Все тут призадумались. И кружки нетронутые стоят. Смотрит на них Круглов и удивляется:

— В чем дело, друзья?..

Молчат Иваны.

Затем Иван, бывший «помощник смерти», говорит:

— Видишь, друг Васятка, какое дело... Может, тут про другого какого Ивана корреспонденты да писатели речь ведут?..

— Да что вы, братцы? Откуда такое сомнение?— удивляется Васятка.

— А в том сомнение, что наш односельчанин, Иван Шевчук, и по сей день жив.

— То есть как жив?! Где же он? — не верит Вася.

— Да так, жив. В нашем колхозе шофером работает,— говорит Иван-голова, колхозный председатель.

— Баранку крутит,— добавил Иван Северин.— Вот и сейчас должен он овощи с нашей полевой бригады в город везти.

— Ну, дела-а,— развел руками Вася.— Нет, тут что-то

не то. Я ведь сам ему и другим героям, сложившим головы на горе Ревун, памятник воздвигал. И точно помню, среди многих имен первая надпись про нашего славного земляка: «8 мая 1944 года в 15 часов 30 минут на Ревун-горе бойцом Шевчуком Иваном Карповичем водружен красный флаг». Я самолично эту надпись из дюраля вытачивал.

Тут глянул Иван-голова на дорогу, где пыль столбом завихрилась.

— Да вон он по степи газует...

Через минуту-две, не более, недоумению Васятки Круглова конец. «Столичной», перцу, огурцам и помидорам — тоже.

2

На том бы недоразумению и кончиться. Но пошли те книжонки да брошюрки по колхозу гулять. Народ читает про подвиги наших солдат, а особенно интересуется штурмом горы Ревун, в котором их земляк такой героический подвиг совершил. И вычитал кто-то, что их земляк Шевчук Иван Карпович не просто Иван-шофер, а Герой Советского Союза. Так было в двух брошюрках напечатано... А в других было сказано, что еще не герой, а только представлен...

— Это что же? Вроде кандидат в герои? Или как? — спрашивает дед Максим Солоха, сторож на колхозном баштане.

Стали с этого времени не только друзья-фронтовики, но и весь колхозный народ и даже ребяташки звать Шевчука — Иван-герой. Да и не просто так звать, а со значением.

Нашлись, обратно, тут грамотеи, которые читали, вычитывали да пустили среди народа сомнение.

— Опять, — говорят, — может, это не про нашего Ивана написано? Парень он геройский — это всем известно.

— А потом же тут сказано: «...представлен посмертно к высокому званию Героя Советского Союза».

— А если он ошибочно живой остался, — говорят другие, — как же быть с его геройством? Вопрос? То-то...

— Ну, а раз живой, где на нем звезда и орден Ленина? Как положено. Где? — мутят белый свет.

Действительно, у Ивана-героя ни звезды, ни ордена сроду не видели. Есть медаль «За победу над Германией». И точка... Ну, да у кого этой медали нет! Десятки миллионов людей эту фашистскую Германию на колени ставили, шею фашизму ломали. И всем им положена эта медаль...

А дотошные тетki жинку Иванову донимают. У колodца очередь ей уступают, за спиной разговорчики-шепоточки с намеками произносят. В бригаде, на работе, на улице при встречах как-то незаметно, но с на-смешкой поклониться норовят...

И дома Ивану-герою от этих дел одни неприятности.

— Откажись, — требует жинка, — от своего геройства. По улице пройти стыдно стало... — и другие разные слова ему говорит, и все против Ивана.

Пошло от этих женских тонкостей еще большее смущение среди народа. Приходят тогда друзья-фронтовики к Ивану-герою и спрашивают:

— Слухай, Шевчук! Среди народа колхозного движение идет. Тот ли ты морячок, про которого в книгах написано?

— Я, — отвечает Иван. — Вроде я.

— Так чего же ты молчишь, не объявляешься?

А Иван подумал-подумал и говорит:

— А может, и не я.

И тут показал Иван-герой свою настоящую натуру и свой характер, достойный морской пехоты.

— У меня такой для самого себя закон. Что мне следует, что заработал — ты мне вынь да положи. Трудодень там, премиальные или прогрессивка за экономию горючего, скажем. Так?.. А в этом вопросе мне надо доподлинно убедиться, что с памятником ничего наш Вася не напутал. Вот поеду в Приморск, заеду на ту могилу, где я будто бы похоронен, разберусь во всем сам, а тогда и говорить будем... Мне чужого не надо, свое есть...

— Правильно, — говорит Иван-голова. — Он такой. Чужого не возьмет, но и своего не подарует.

Но тут получилась заминка. В город-герой Приморск пропуск требовался. Задержка времени.

А народ колхозный все больше стал волноваться. «Как так? Имеется свой герой, а вроде он и не герой». Напирают на наших Иванов-фронтовиков и в особенности на Васю Круглова:

— Выясните истинную правду! Хлопочите! Объясните народу.

Тогда наши фронтовики и придумали, можно сказать, такой маневр. Сами написали рапорт, а Ивану-герою не сказали.

Как-то вызывает Иван-голова Ивана-героя и говорит:

— Поезжай в район. Тебя в райвоенкомат вызывают.

Иван-герой собрался, все честь по чести. И тельняшечку выстиранную надел, у бушлатика все пуговицы проверил. Явился в райвоенкомат, мотнул клёшем, щелкнул каблучком:

— Товарищ майор, явился по вашему вызову...

А тот врио военкома от бумажки глаз не оторвет... Глянул Иван-герой по сторонам, а его дружки тут же сбоку стоят. Пришлось и Шевчуку пристроиться к ним с левого фланга. Поднял голову врио военкома на шеренгу фронтовиков-односельчан и спрашивает:

— Так в чем дело, товарищи?

Иван-герой нахмурился, поняв подвох. Но стоит как положено.

Тут Иваны да Васятка все быстренько объяснили и всю литературу по этой запутанной биографии показали.

— Герой? Как герой? — спрашивает врио.

Полистал брошюрки врио майор и говорит:

— Нет, не пойдет это дело. Как в газетах и книжонках написано? Посмертный герой. Ясно?

— Так он же оказался живой. Вот он налицо.

— А где об этом сказано? Написано где? Вы мне документик...

— Человек вот...

— А бумага где?

— Поднимите архивы. Вот свидетелей сколько...

— А зачем? Кому это нужно, товарищи? Кто он? Министр, депутат, прокурор?.. Памятник имеется? Все в порядке. Сами говорите: жил себе человек тихо, не жаловался...

Иваны наши словно онемели. Но в глазах у них твердость появилась. Видимо, врио военкома это заметил, на полтона ласковей стал.

— Вы что думаете, я бюрократ какой?

— Ничего не думаем...

— Есть же, товарищи, указания. Сколько можно войной заниматься? Теперь у нас борьба за мир во всем мире.

— Может же быть исключение?

— Нет, не может. У всех военкомов нет исключений, а у нас, здарсьте,— есть! Вот сам военком придет — он пускай и занимается. Ведь вы меня, братва, сразу под челя подводите. Исключение... Нет, не выйдет это дело. А вам советую, товарищ Шевченко...

— Шевчук,— поправляют Иваны.

— Все равно... Советую вам это дело оставить и народ с толку не сбивать.

Встал тут врио, подошел к шеренге друзей-фронтовиков.

— Как обстоит дело с наградами? Скажем, мне была положена медаль? Так вот она,— и грудь колесом выгибает, медаль свою показывает.— А у вас на груди не имеется,— значит, не положено... В общем, можете быть свободны.

Повернулись наши Иваны и Вася с ними через левое плечо...

Но тут врио военкома остановил ребят:

— Пойдите,— и бумажку со стола тянет.— Рапорт заберите тоже.

Но тут уж Иван-голова инициативу берет:

— Рапорт забирать не будем, товарищ майор административной службы. Вы нам письменный ответ пришлите, как положено.

Ух, и скривился тут врио, словно у него враз зубы заболели, глянул на друзей и совсем другим, злым голосом, но, замечают хлопцы, вежливым тоном:

— Поскольку рапорт подан в письменном виде, мы обязаны проверку произвести. Укажите свидетелей и очевидцев вашего подвига.

Назвал Иван-герой кое-кого из морской пехоты да и вышел. Шагают Иваны-фронтовики молча к машине.

— Я так понимаю,— сказал Иван Северин,— что это не военный комиссар и не ио и не врио, а канцелярская крыса.

— Так он же, может, всего начфин и только. Может, ему по должности положено волынку тянуть?

Так и кончился их поход в район.

Пошло после этого случая в народе еще больше разговоров. Нашлись такие, что и насмешки стали строить.

А тут началось новое дело — с артелью.

Была в районном центре артель имени нашего бессмертного героя Ивана Шевчука. То ли кройки и шитья, то ли, кажется, художественной вышивки и вязанья. Кто-то из инвалидов еще в конце войны вспомнил, что знамя, которое на Ревун-горе водружали, изготовлялось в этой самой артели. И потребовал назвать артель именем погибшего героя. Дали делу ход. Пошло на утверждение в Промсовет. Там поглядели в брошюрки, видят — действительно, погибший герой.

— Ну, раз погибший, значит, можно, — глубококомысленно рассудили в Промсовете. И утвердили.

Ну, кто же его знал, что он живой объявится? А может, он совсем и не тот Иван Шевчук? Но с артелью кое-как уладили: решили до выяснения вопроса ее с сапожной мастерской объединить. А сапожные, те без имени, как известно, существуют. Но канитель на этом не окончилась, а только началась. Стали девушки новым героем усиленно интересоваться. А у него жена ревнивая, как кошка, прямо на всех кидается. Пришлось остальным Иванам, как только два-три скандала она устроила, на Ивана-героя крепко поднажать.

— Ты, друг, это брось. Ни к чему тебе такие дела. А падких до героев тех девчат на нас нацеливай. Мы с ними управимся.

Уладили, значит, кое-как на этом фронте дела. И только немного затихло, как объявилась старушка. Настырная такая бабка, сама как сморчок, смотреть не на что. И туда же пришвартовалась к герою. С заявлением. Не то с пенсией у нее, не то с ремонтом не ладилось. Поймала она его раз на улице, приперла к машине и заявление сует.

— Как депутату и герою жалобу бью челом, — шамкает.

Иван-герой пробовал ей объяснить, что он депутатом сроду не был, а она и слушать ничего не желает.

— Ты, сынок, герой, тебе дадено, ты и должен за нас хлопотать.

И пошла, и пошла.. Откуда только слова берутся.

Всучила-таки ему свое заявление. И не дает больше про- дыху. На перекрестках дежурит, возле нефтебазы пере- хватывает, в военкомат приползла... Там ей, видно, объ- яснили, что его геройство еще нерешенное дело, неизвест- но, мол, герой или не герой еще Шевчук. Тут старушка и разошлась:

— Так чего же он народ мутит? Я на него такую на- дежду клала, две недели дежурю, у меня ревматизм, у меня родственники в Москве, у меня из-за него внучат- ки целый месяц некормленные, немытые. Да я ему пока- жу, как над старым человеком насмехаться! И чего толь- ко власть терпит — за такое дело в «Крокодил» его надо да на заборах расписать его, такого разэтакого...

В общем, наш Иван Шевчук от такого шуму и разго- воров и от скандальной этой бабки похмурнел, осунул- ся и даже на своих дружков вроде обижаться стал. В районе встретит — не подойдет. В базарный день в кол- хозной чайной на их столик и не глянет.

А затем от всех этих разговоров и шепотков в дру- гой колхоз перебрался. Шоферы везде нужны.... Но в этом была его личная ошибка.

4

Так и шло время. Понемногу дело, может, и забывать- ся бы стало. Но в военкомат, согласно рапорту от Ива- нов и запросов того аккуратиста из начфинов, стали по- ступать объяснительные записки от очевидцев знамени- того подвига на Ревун-горе.

Объявились люди, видевшие матроса Шевчука, как он на Ревун-гору взбирался, нашлись и такие, кто ви- дел, как он на куче камней или на разбитом нашей ар- тиллерией фашистском доте красное знамя укреплял.

Так дальше дело и пошло. Из наградного отдела сим- патичная женщина по имени Маргарита Тихоновна и ее начальники этим вопросом по долгу службы стали серьез- но интересоваться и очень внимательно документы изу- чать. И первым долгом в город-герой Приморск дали знать. Объявился, мол, наш Шевчук живой, целый, не- убитый.

Там правильно все решили. Раз он живой, так на- до надпись с памятника снять — там же написано было: «...пал смертью храбрых, водрузивший знамя, и посмерт-

но награжден...» И сняли первым делом с памятника надпись. Для новой формулировки.

А Иван тем временем из другого колхоза получил задание: в Приморск овощи отвезти. Отвез, сдал, квитанцию получил и на обратном пути завернул на ту знаменитую на весь мир Ревун-гору. Интересно все-таки, где воевал, побывать. А потом, сколько людей воевало, но не каждому при жизни памятник поставлен. Тоже понимать надо. Подъехал на своем грузовичке, оставил его у дороги, пешком к обелиску подошел, оглядел его вокруг. Нету надписи.

И вот тут наш Иван-герой заплакал.

Это мне лично женщина, начальник музея, рассказывала:

«Гляжу, стоит товарищ один в клеше и в тельняшке и плачет. Подошла. «Может, боевого друга вспомнили, скажите, я вам фотографии всех участников штурма покажу, адреса сообщу. О ком плачете?» — «Не надо мне фотографий и адресов,— говорит.— Одна была память — надпись на памятнике, и ту сняли». — «Так вы и есть товарищ Шевчук Иван Карпович?» — говорит та женщина.— Это же временно сняли. Вы не горюйте. Тут комиссия целая ваши награды разыскивает, чтобы рядом с теми героями, что первыми в Приморск ворвались, и вас поставить».

— А кто такие? — спросил ревниво Иван.

— Те, кто со стороны Зеленой Горки прорвался к Южной бухте. Поликахин Илья — Герой Советского Союза.

— Командир?

— Нет, командовал взводом лейтенант Головня, а под его командой Гунько, старший сержант,— это был самый бесстрашный человек и разведчик, рядовой Кириченко Павел, кабардинец Ажу Канаматов. А Поликахин Илья Иванович комсорг взвода разведки был. Вот кто первым в Приморск ворвался, когда вы, Иван Карпович, на Ревун-гору со знаменем взобрались...

— Я ранен был...— угрюмо сказал Иван-герой.

— Правильно. А вас убитым посчитали. Но скоро комиссия специальная будет. Она разберется. Оказывается, из военкомата в специальную комиссию дело передали.

Вызвали Ивана-героя в область на серьезный разговор. Прибыл Иван, доложил по всей форме, глядит,

а там уже и все остальные Иваны и Васятка Круглов стоят — вроде по команде вольно, но в одну шеренгу.

В комиссии генералы и капитаны первого ранга, участники знаменитого штурма. Члены комиссии этот флаг над Ревун-горой сами своими глазами видели. И обязан Шевчук им все по порядку доложить. По всей строгости спрашивают: минуту за минутой, шаг за шагом, траншея за траншеей добираются до самого корня и историю славных дел нашей героической морской пехоты ворошат.

— Так это вы и есть наш герой? — спросил Ивана Шевчука худой высокий генерал береговой обороны с прядкой белых волос.

Подумал Иван-герой.

— Никак нет, — отвечает твердо.

Генерал заглянул в материалы.

— Шевчук?

— Так точно, — отвечает Иван.

— Иван Карпович?

— Так точно.

— Карпович или Поликарпович?

— Карпович, товарищ генерал.

Пожал плечами генерал, но терпеливо спрашивает:

— Где родился?

— В Крыму, поблизости от Арабатской стрелки.

— Воевал где?

— На Южном, с Четвертым Украинским, в Отдельной Приморской армии...

— Города брал?

— Одессу, Будапешт, Варну и еще... Всех не упомяну.

— А до этого какие города брал?

— Какие приказывали.

— Ранен был?

— Так точно.

— Куда?

— В голову и в ногу...

— При каких обстоятельствах был ранен?

— Приказ выполнял...

— Где был ранен? В каком бою?

— Под Приморском.

— Расскажи подробно, как получил приказ, как выполнял его.

— Приходит командир роты и говорит: «Для выполнения боевого задания требуется один доброволец...»

— Какого задания?

— На Ревун-гору первым взойти.

— А что это за гора?

— Ключевая. Приморск прикрывает. Сильно немец на ней закрепился. А без нее никакого ходу вперед нет..

— Так... значит, командир вызывает охотников... Фамилия командира?

— Емельянов, мичман.

— Нашлись охотники?

— Охотников было много... Но мичман Емельянов приказал мне укрепить флаг на вершине Ревун-горы. Ну, конечно, я пошел...

Тут к генералу обращается низенький коренастый капитан I ранга:

— Разрешите, товарищ генерал?

Тот кивнул головой.

— Товарищ Шевчук, а скажите, зачем нужно было тот флаг одному на гору... возносить? А? — многозначительно так задает он вопрос.

Шевчук сморщил лоб... Молчит. Молчат полковники и капитаны всяких рангов, налег грудью на стол генерал.

— Наша пехота залегла и...

Выдохнули тут разом все. Встает из-за стола генерал и подходит к Ивану.

— Значит, приказ выполнил?

— Никак нет.

— Как же так?! На Ревун-гору взошел...

— Так точно, взошел...

— Знамя донес?

— Так точно. И только я его над той вершиной раскрыл, глянул назад, в цепях командиры, политруки вскакивают. Я тогда... слышу с горы: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»

— Что же ты?.. А говоришь: «Никак нет».

— Я стал знаменем размахивать. Сигналы пехоте подавать. Чтобы скорее заметили... в цепи.

— Точно. Были такие сигналы,— тихо, приподнявшись, шепнул генералу капитан I ранга.— Я в стереотрубу видел, как знамя полыхало. Как костер на ветру.

— Видел. Помню я этот миг, когда пехота... стала подниматься,— и генерал провел рукой по пряди седых волос.— Как же ты, товарищ Шевчук? — строго говорит генерал.— Вот товарищ капитан I ранга сам лично ви-

дел, как ты флагом с вершины горы размахивал. А говоришь: «Приказ не выполнил». Голову нам, старикам, моччишь... Нехорошо.

— ...Стал я знаменем размахивать. А тут он мины как начнет класть,— оправдывается смущенно Шевчук.— Взяли знамя в вилку, гады, перебили древко пополам. Как ножом. И я упал.

— Чем же ты виноват, солдат? Говори все без утайки.

— Знамя не закрепил сразу.

— Да ведь пехота поднялась, чудак, дорогой ты мой,— не выдержав, сказал из-под локтя генерала маленький капитан I ранга.— Поднялась за тобой, родная, поднялась царица полей и до самого прибрежного морского песка не залегала больше.

— Этого я уже не видел. Извиняюсь,— тихо сказал Иван-герой.— Был я ранен.

Генерал подошел к герою грудь к груди.

— Командира бригады своей помнишь, солдат? — спросил генерал строго.

— Помню, добре помню.

— Звание, фамилия?

— Полковник Звонарев, товарищ генерал!

— Если бы его сейчас встретил, узнал бы?

— Узнал бы, товарищ генерал береговой службы.

— Ты его после войны встречал?

— Нет. Сейчас только встретил.

— Где же он?

— Тут, в кабинете.

— Укажи!

— Это вы, товарищ генерал!

Замерли тут все. Долго молчали.

Генерал обеими руками поднял голову Ивана-героя.

— Эге, солдат, браток, слеза тут ни к чему. Что же ты сейчас отступаешь? Сробел и от славы своей бежишь? Эх ты, морская пехота...

Иван-герой пристально посмотрел в глаза генерала...

— Только вот этой седой прядки у вас тогда не было.

— Чего? Да ты ведь не видел меня в Приморске. Это там я ее, брат ты мой, завел, когда пехота залегла под Ревун-герой. А ты, солдат, ее поднял...

— Извините,— говорит Иван-герой.— Не взял я ее, эту гору, одним махом. Отдышаться надо было. В окопчик залег.

Обнял тут генерал матроса и расцеловал троекратно. По русскому обычаю.

Через полчаса комиссия все бумаги заполнила. По всей форме.

— Вот это комиссия, не то что в нашем военкомате,— ввернул Василь Круглов.

Генерал с седой прядью глянул на бывшего старшину.

— А между прочим, от него-то, от военкомата, эта нигочка и потянулась. Комиссия наша по рапорту вашего военкома ведь создана.

Иваны видят, что Васятка брякнул невпопад, и говорят громко генералу:

— Спасибо вам за то, что добились справедливости нашему Ивану-герою.

— А нам за что? Народу спасибо. Народу, который не забывает своих героев. А мы только ему служим.

Тут уже Иван наш герой возрадовался, грудь колесом и как гаркнет:

— Мы, когда город-герой Приморск брали...

И осекся под острым взглядом своего бывшего командира.

— Эге, постой! — сказал тот строго и властно. — Ты, браток, за чужую славу не хватайся. У тебя и своя есть. И не плохая слава. Но тебе еще ее отстоять надо. А город-герой вся Отдельная Приморская брала. Да Черноморский флот. А первыми к вокзалу через Зеленую Горку прорвались раньше тебя орлы двести пятьдесят седьмой Краснознаменной...

Справедливый был наш генерал. Мало того! В конце того заседания он солдата к себе подозвал и по-отечески стал наущать. Заслуга, брат, не в награде. Человек сам себе заслуга. Конечно, такой выдающийся факт — что ты столько времени в погибших ходил — исправить надо. Родина подвиг твой не забудет. Но помни: берегись щелкоперов. Они тебе такого нажужжат!.. Сам себя не узнаешь. И чинуш,— которым лишь бы по команде оттарабанить. Будь таким, как был, солдат. А если почувешь, что на краю стоишь и слава тебе голову кружит, возьми Пушкина да про золотую рыбку почитай, что ли. Сказочки, они тоже, брат, со смыслом. В них мудрость народная. Того народа, что сейчас тебя к славной жизни поднимает. Понял?

* *
*

Так через десять лет был обнаружен живой герой, который на глазах у нашей Отдельной Приморской армии красный стяг водрузил на не однажды знаменитой горе Ревун и считался павшим смертью храбрых.

Ну, вот и конец.

Как оно дальше дело шло, того нам, солдатам, знать не дано. Главное — до правды было докопаться. А раз правда найдена, то в нашей стране ей уж не погибнуть, не исчезнуть в веках. Видать, эта история и до наших маршалов дошла. А там и товарищ Ворошилов и весь Президиум Верховного Совета узнали про Ивана-героя.

А поведал потом мне всю эту историю Василий Круглов на Ревун-горе в день вручения Ивану Шевчуку грамоты, ордена Ленина и геройской звезды.

А что дальше с Иваном-героем стало, я как-нибудь другим разом расскажу.

☆





ПЕРЦОВА

Переправы!

Сколько их на реках древней русской земли! Извилистые прожилки дорог тянутся к бродам, мостам, паромам. А иногда и целые жгуты трактов и древних шляхов, тихих, без конца и краю, как и народ, поселившийся вдоль быстрых и жизнедажных рек, тянутся к высоким берегам. Перекрещиваются пыльные дороги с извилистыми речными путями...

Испокон веков на переправах, на склонах гор, в плавнях лилась кровь. Где-то там, на Днестре или на Дунае, скифы застигли на переправе измотанное в пыльных степных походах персидское войско Дария; тут же, на Днепре, за Переволочную, еле унес ноги разгромленный под Полтавой Карл Двенадцатый; а там, выше, водами Березины, уплыла с холодными льдинами опаленная московским пожаром слава великой армии Наполеона.

На сотнях и тысячах переправ гремели бои и нашего поколения...

Мы покажем вам лишь одну из них,— может быть, и не самую знаменитую. Простую переправу на Днепре. К ней с высоких круч Славуты также сбегались дороги — с запада от Сана и Вислы, Днестра и Дуная, толпились возле узкой ленты мостов: одного железнодорожного, другого понтона для гужевого транспорта. Степным смерчем, как штопором, ввинчивались они в по-

логий восточный берег, а потом снова разбегались по степям и байракам, туда, на восток, — к Дону и Волге.

Судьбы тысяч людей переплетались в грозные дни у той, знакомой мне, кручи днепровской, где сходились мы насмерть с врагом. Сходились дважды: в беспросветные августовские дни сорок первого и, освещенные порывом освобождения, — октября сорок третьего...

Радость побед и могилы, горечь поражений и подвиги, низость, трусость и нечеловеческое напряжение воли, истерзанные тела и высокое горение душ — все, все видела эта переправа.

Бессмертно твое имя, священны крутые берега, и верболозы песчаные, и тихие воды, и ясные зори, и память о героях твоих — переправа на Днепре.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Этим августовским утром восход солнца, как всегда, встречали своим пением птицы. Вольные ветры, волна за волной, качали по бескрайним просторам пшеницу.

Но вдруг исчезла мирная картина. Вой снарядов, грохот взрывов раздалась и здесь, над Днепром. Застыла вздыбленная земля. И лишь тревожными раскатами грохотали грозные литавры войны.

Перед глазами еще не обстрелянных бойцов дивизии, приписных генерала Жемчужного, замерло все.

И вновь взметнулась и опустилась земля, поднятая взрывами. Закачалась, пошла волнами пшеница, но уже не от вольного ветра, и ворвался громче и грознее в окопы рев войны. По бескрайнему горизонту растянулись дымы пожарищ, закрывая восходящее солнце. Полыхало пламя над полями, горела созревшая пшеница, горели колхозные строения. Позади, за жиденьким блиндажом НП полка, куда прибыл сам командир дивизии генерал Жемчужный, загорелся новый дом. На фронте из желтого, свежего теса стояла цифра — «1941».

В наскоро и еще неумело сооруженном НП командира полка расположилось несколько человек. Все они с ожиданием и тревогой смотрели на своего комдива. Он один из них владел дорогим оружием — опытом уже отгремевших войн. В пустынных песках Азии, на скалистых склонах Пиренеев и в стране озер за Ладогой он

приобрел то, чего не было у них — ни у полкового комиссара Зубкова, профессора психологии, ни у сибиряка с Байкала, мичмана Седых, ни у связиста Капшука, ни у адъютанта комдива лейтенанта Чувырина. Боевой опыт — это было то неоценимое, чего не хватало многим и многим защитникам Родины в эти грозные дни. Необстрелянный народ. И потому так тревожно-выжидательно смотрят они на непроницаемое лицо комдива.

И если бы кому-то вздумалось тогда запечатлеть выражение его лица на фотографии, — а память наша так и запечатлела его, — то лицо это удивительно напомнило бы нам сейчас одного из маршалов. Только тогда он был моложе и стройней. И, конечно, суровей. Это был генерал Жемчужный, примчавшийся на горбатой зеленой эмке на НП полка, удерживавшего переправу, откуда ночью доставили в санбат тяжело раненного командира полка.

После первого артналета Жемчужный сдержанно, хотя и не без волнения в голосе, сказал:

— Фашисты опьянели от первого успеха и рвутся к переправе. Полку надо удержаться на этом рубеже пока наши войска не займут новый. — И склонился над планшетом со старой картой времен первой мировой войны, так как в войсках были карты местности только на запад от Буга. Ведь мы не собирались отступить.

Комдив по опыту знал, что война состоит не из одних побед, и временные поражения не ошеломили его так, как его товарищей. Но все же, сжав кулак и ударив им по планшету, он сквозь зубы повторял то, что твердил уже много раз за эти два дня:

— Выиграть время, выиграть время...

Полковой комиссар Зубков, профессор психологии, недавно призванный из запаса, в спокойном течении мирной жизни и даже в строю (но вне боя), благодаря своей начитанности казавшийся многоопытным, резонно заметил комдиву:

— Пока время играет на них.

Комдив, подняв голову, глянул в глаза комиссару:

— Но мы — заслон, товарищ профессор психологии... Заслон! — повторил он и снова склонился над картой, соображая, где могут закрепиться батальоны второго эшелона корпуса. Но его слух резанула монотонно сказанная фраза:

— Помните надпись на фермопильской скале: «Мы полегли здесь все триста, подчиняясь законам Отчизны». И наша судьба, как судьба всякого заслона...

Генерал Жемчужный резко поднял голову и не дал комиссару договорить эти страшные слова, хотя как опытный военный знал судьбы многих заслонов, дравшихся на рубежах истории до последнего.

— Если на флангах не подведут, — выскользнете!

Войны, бесновавшиеся уже не раз на его веку — и в четырнадцатом, и в девятнадцатом, и в тридцать девятом годах, принесли ему опыт и право говорить так. Сколько было их, героических, устоявших, бессмертных заслонов! В памяти потомков оставались лишь те, что стояли насмерть, до последнего защитника. А сколько безымянных?! Неизвестных героев или рабов случая — коварного хозяина войны?!

— Эх, попал мой необстрелянный полчок в самую неприятную канитель! Неважнецкое войско: Ваньки-приписники, парикмахеры да кооператоры... И, как на смех, повезло — чересчур образованный комиссар. Да еще и комполка ранило, — думал Жемчужный. — Вот разве морячки вывезут — обещали помочь огнем с мониторов — да морской пехоты взвод...

— Уже тысячи лет твердят нам о фронте и флангах и молчат о слезах вдов и страданиях солдат, — твердил комиссар свое.

— Это, брат, пацифизмом отдаст каким-то, — возразил Зубкову генерал.

— Почему же? — листая страницы небольшой, похожей на молитвенник книги, отвечал Зубков. — Это мысли Оноре де Бальзака.

— Нашел тоже боевой устав пехоты, — процедил неодобрительно комдив.

Но Зубков думал о чем-то своем, властно владевшем его мыслями, и, словно не слыша генерала, продолжал:

— Фронт уйдет, флангов не будет, а люди останутся... Как-то сложатся их судьбы...

Жемчужный поднял к глазам бинокль и процедил сквозь зубы:

— Судьба всей дивизии вверена нам, а она — из приписников. Таких вот, как ты, брат. Тут некогда Бальзаков почитать, воевать надо...

Он еще несколько секунд шарил биноклем по горизонту и поднял руку с ракетницей. И все находившиеся в блиндаже вдруг заметили, что по степи движутся немецкие танки. Припав к телефонному аппарату, пристроенному в выемке хода сообщения, молоденький мичман — командир корректировочного поста речных мониторов Александр Седых — тихо скомандовал:

— Приготовиться к отражению танковой атаки!

Танки шли, слегка покачиваясь, маленькие и, как показалось Зубкову, впервые видевшему их, совсем не страшные. Походили они на спичечные коробки. Гул их моторов тоже удивительно напоминал стрекот тракторов где-нибудь в степной МТС, и только когда вслед за комдивом мичман Седых поднял кверху ракетницу, Зубков, выглянувший с любопытством из блиндажа, увидел, что в окопах и ячейках, справа и слева, все замерли, припав к оружию. А гул моторов все нарастал. В бассейны выхлопы и вой моторов, увеличивавших обороты, вплелся злобный лязг гусениц; внутри у профессора что-то похолодело и холодок этот пополз от широкого пояса с комиссарской звездой куда-то вверх, к горлу. Но профессиональное чувство любопытства и самоанализа вдруг взяло верх, и, расстегнув воротник, Зубков, усмехнувшись, подумал: «Запомнить. Видимо, это и есть страх, другими словами, самосохранение организма, чувствующего опасность...»

От хлопка двух ракет, взлетевших возле самого уха, он не вздрогнул, так как гул танковых моторов и лязг гусениц, казалось, растоптал все в степи. Даже залп нашей артиллерии показался не очень громким, и лишь оглушительные взрывы гранат да шквал дружного пулеметно-ружейного огня, отсекающего от танков вражескую пехоту, перекрыл, наконец, грохот немецких танков.

Грохочущих танков стало вдруг меньше, некоторые загорелись, другие, круто повернув, стали удаляться.

Зубков прислонился взмокшей спиной к холодному срезу земли и только сейчас заметил, что он стоит не в блиндаже, а в ходе сообщения и всеми силами воли, памяти, ощущений старается упорядочить, уложить в дисциплинированном мозгу то, что произошло.

Бой, казалось, длился несколько минут. Он стих так же, как и возник, — сразу.

У комиссара на глазах впервые произошло то, о чем он ежедневно читал в сообщениях Совинформбюро, в газетах, о чем неоднократно сам говорил политрукам, солдатам обычными трафаретными словами: «Атака танков захлебнулась».

Но как постарели за эти несколько минут люди! У комдива вокруг глаз залегли темными полумесяцами резкие тени, щеголеватый лейтенант, адъютант комдива, весь в пыли, стал похож на трубочиста. Или это пороховой дым?

Зубков, оглядываясь по сторонам, шурил близорукие глаза, стараясь заметить что-то главное, ускользающее и понять это главное, видимо, хорошо известное Жемчужному. Вдруг кто-то сильно толкнул его, и на уровне своих близоруких глаз он увидел остроносый профиль, белые бинты. Сквозь марлю ало проступила свежая кровь, и он сообразил, что мимо него проносили раненого. Санитары, видимо, устали, и у самого входа в блиндаж поставили носилки на землю.

Комиссар склонился над раненым, и в глаза ему бросилась эмблема танка на черных бархатных петлицах.

— Танкист? Откуда? — неожиданно спросил он и тут же отметил про себя всю несуразность этого вопроса. Перед ним лежал раненый, а может быть умирающий человек. Какая сейчас разница — бархатные или суконные, черные, голубые или малиновые у него петлицы?

— Приданная нам рота танков, — раздался над ним спокойный голос комдива.

А раненый танкист понял комиссара по-своему:

— Из бессарабских колонистов, товарищ полковой комиссар, — ответил он хрипло.

Комдив услышал это и нагнулся над носилками.

— Немец? Фамилия?! — резко спросил он.

— Вольф. Роберт Александрович Вольф, — ответил раненый.

— Эх, растяпы... Ведь ты же — клад для нашей разведки, — с досадой сказал комдив.

Близкий разрыв снаряда не дал комдиву договорить.

— Вилка! Залп на поражение! — дернул его за гимнастерку лейтенант и прокричал на бегу: — В укрытие, товарищ комиссар!

Комиссар медлил, углубившись в свои, не очень подходящие для этой обстановки, мысли. Шквал снарядов

ударил по окопам и блиндажу. Дымом и пылью заволкло бойцов в окопах. Через пять минут артолет кончился. Наступила тишина, которую никто из оставшихся в живых не услышал. Звон стоял у всех в ушах, першило в горле от взрывных газов. Люди оглядывались по сторонам. Жемчужный и связист Капшук встали с жидкого настила, отряхивая землю, и с трудом выползли из перекосившегося блиндажа. Они увидели в соседней ячейке разбитый «Максим», а возле него страшное месиво из сапог и шинелей. Чуть дальше задрала вверх ствол противотанковая пушка, рядом с ней, словно охромев, — другая, без колеса. Пожилой Капшук, бывший почтальон, обернулся к комдиву и увидел, что тот медленно бинтует левую руку, держа конец бинта в зубах. Откуда-то подбежал исчезнувший во время артолета адъютант.

— Ранило, товарищ комдив? — кинулся он к Жемчужному, виновато отводя глаза.

— Царапнуло... — зло ответил комдив и повернул голову к тому углу, где только что сидел с книжкой комиссар полка Зубков. То, что он увидел, потрясло его. Из осыпавшейся земли была видна только рука с комиссарской звездочкой на рукаве. Машинально следил Жемчужный за тем, как откапывали тело комиссара. Зубков был мертв. «А ведь какой материал человеческий гибнет. Два-три боя да подучить малость — был бы хороший военный специалист! Держался для новичка хорошо, но болтал кое-что лишнее. Эх, таких бы людей придержать, пригодились бы для наступления... — думал Жемчужный. — А тут морячков бы, этих чертей в тельняшках, роту из полуэкипажа этого орла киевского, майора Добржанского. Через месяц-другой этому полку цены бы не было!» И вдруг рассердившись на себя за эту, как он ее назвал, лирику, Жемчужный вернулся мыслями к обстановке.

— Теперь одна надежда — минные поля. Саперов ко мне! — приказал он.

— Уже работают, — наобум доложил адъютант.

Комдив все же не поверил его словам и высунулся из блиндажа с биноклем.

Там, где только что тяжело вздымалась к небу дымными фонтанами раскаленная, перепаханная гусеницами танков степная земля, ползали саперы, волоча за собой ожерелья мин. Окуляр бинокля на миг приблизил

лицо чернобрового парубка. «Небось, полтавский...» — подумал про себя комдив, и ему показалось, что вышитый ворот сорочки выглянул из-под солдатской гимнастерки. «А может, черниговский или киевский...» — продолжал думать он, и мысль эта заслонила собой все остальные, хотя бинокль привычно обежал ту часть горизонта, куда скрылись уцелевшие немецкие танки, затем вернулся обратно к саперу, ловко, как-то по-звериному, двигавшемуся на карачках по танковому следу. Сапер был весь увешан минами. Вот он остановился, и земля чуть заметными фонтанчиками взлетела из-под его рук, ловко орудовавших лопаткой. «Минирует», — с удовлетворением подумал комдив. Сапер, расстегнув гимнастерку, оглянулся на отставшего соседа. Комдив понял, о чем тот попросил своего напарника:

— Дай затянуться!

И вмиг полцыгарки ушло дымом.

На груди сапера теперь ясно была видна тельняшка, которую он принял было за вышитую рубаху.

И Жемчужный, который раз вспомнил, что корпус, защищавший переправу, взаимодействует с кораблями Днепровской флотилии. Полк его дивизии, державший заслон на предместном плацдарме, со вчерашнего дня вошел в прямое соприкосновение с моряками. О них еще и раньше рассказывали чудеса.

Но сразу же царпнуло неприятное воспоминание: еще вчера, объезжая под вечер свой участок на эмке, он встретил на дороге пятерых моряков в пятнистых немецких плащ-палатках, к которым были прикреплены для маскировки ветки и ботва свеклы. «Разведчики, — подумал Жемчужный. — Ловко маскируются». Разведчики присели перекурить недалеко от его машины и о чем-то балагурили. Один мрачно острил:

— Пехота оборону держать. окопов нарыли, а к окопам не то что хрицу, а и нашему брату подойти невозможно. Вонишша, что тебе на полях орошения под Одессой-мамой. Чи на войско это медвежья болесь напала, чи они думают на германа газовую атаку...

Гогот покрыл речь матроса.

Не может быть, чтобы они не видели комдива. Шутка эта была и в его адрес, и в другое время он бы одернул, а то и взыскал бы с зарвавшихся морячков, но дела в его дивизии были настолько неважны, необстрелянное

войско совершило столько промашек и так часто отходило при первом выстреле, что комдив предпочел сделать вид человека, озабоченного и не услышавшего этого грубого выпада.

А сейчас, глядя, как моряк дружно вместе с пехотинцами минировал передний край, даже ухмыльнулся: «Недаром говорят — травилы моряки, острый на язык народ, но все же боевой и, главное, дружный...»

Видимо, не один комдив наблюдал эту картину. Из окопа раздался озорной голос:

— Эй, не дымите, саперы! Демаскируете...— В окопе засмеялись, но смех сразу оборвался, так как издали донеслось: «Воздух!» Комдив оглянулся. Вдали, невысоко над горизонтом, самолеты врага расходились клином, все увеличивая угол. «Две эскадрильи», — отметил про себя Жемчужный. Справа и слева, уже почти поравнявшись с линией окопов, они круто пошли вниз.

— Пикируют, — сказал адъютант.

«Главный удар по флангам. А у нас лишь разведка боем. Удержатся ли соседи? — встревоженно пробормотал Жемчужный. — Да и опять могут пойти танки. Успеют ли саперы?» — думал он, уже войдя в привычную роль командира полка. Саперы работали дружно, а впереди изредка рябила тельняшка моряка, действовавшего быстро и бесстрашно. Далеко на горизонте были видны комариные точки безнаказанно отбомбившихся вражеских самолетов.

Жемчужный повернулся и еще раз взглянул на место гибели комиссара. Свежая взрыхленная земля, только что завалившая профессора психологии, словно вздымалась. А рядом, на бруствере, ветер листал страницы так и не дочитанной книги.

2

Может быть, тот самый порыв осеннего ветра листал и перекидной календарь на столе секретаря райкома Копыленко. В Заднепровском райкоме партии были открыты настежь все окна. Человек в тюбетейке, сновавший по комнатам с охапками дел и скоросшивателей, вбежал, крихтя, в кабинет и крикнул, не видя секретаря:

— Товарищ Копыленко!

Копыленко стоял у открытого окна, выходящего в сад, сквозь которое виднелся костер: в глухом углу сада

жгли архив. Он резко повернулся и, подойдя к человеку в тюбетейке, строго заметил:

— Последний раз тебе говорю — секретарь райкома Копыленко уже давно эвакуировался на восток. Есть гражданин Канашевский, бывший нэпман, бежавший из заключения...

— Извиняюсь, мы же свои...

— ...А для своих — товарищ Копа. Привыкать надо, товарищ радист. Такие ошибки знаешь чем кончаются? — Прикосновение к шее было настолько выразительно, что человек в тюбетейке даже скривился, словно лизнул ломтик лимона. — Давай, браток, неси в костер, — сказал Копа, показывая на целую кучу дел. Видимо, дела эти были особо секретные и поэтому лежали на его столе до последнего момента. И когда человек в тюбетейке вышел, хозяин кабинета грузно опустился в кресло, склонил голову и охватил ее обеими руками. Он так глубоко задумался, что даже вздрогнул, когда в пустой комнате раздался резкий звонок телефона. Недоверчиво глядя на трубку, словно видя ее впервые, секретарь снял ее и приложил к уху. С полминуты он слушал, не отвечая, хотя понимал, что это не ошибочный звонок, так как на другом конце провода спрашивали райком и самого первого секретаря райкома товарища Копыленко. И лишь когда там, недовольно покашливая, кто-то сказал:

— Ну, если нет секретаря райкома, то не поκληчете ли к телефону гражданина Канашевского? Был у вас до войны такой фрукт...

— Алло... — не очень уверенно отозвался секретарь. — Канашевский слушает. — И лишь на четко названный пароль он ответил отзывом и уже совсем по-привычному и деловому стал разговаривать с секретарем ЦК.

— Доложите обстановку в вашем районе, — раздался в трубке знакомый голос.

— Бой идет за переправу, товарищ Демьян. Станция полчаса тому назад была в наших руках.

— Знаем, знаем... — перебил его все тот же голос. — Вы нам не про армию докладывайте, а про себя.

— Выполнил полностью директиву номер один, — вспомнив вовремя о конспирации, сказал Копыленко. — Приступаю к выполнению директивы номер два

— Когда?

— Сегодня. Вернее, через час. Как только уничтожу последние документы.

— Ну, желаю успеха... и скорой встречи.

— Где? Когда? — растерявшись от неожиданности, радостно спросил Копа.

— Здесь же, когда вернемся!

— А-а-а,— разочарованно протянул Копа.

— И еще вот о чем я хотел вас предупредить,— сказал на другом конце голос, но в трубке что-то хрустнуло, щелкнуло, засвистело и сразу в нее ворвалась лающая немецкая речь, прерываемая гудками паровоза, монотонно и истерично подававшего тревожные сигналы. Копа бросил трубку на стол, она скатилась и повисла на шнуре. Он подошел к окну. Над городком надрывно ревели сирены и паровозы. В интервалах между гудками слышна была короткая трескотня автоматных очередей. Копыленко понял — на станции немцы. Он быстрым жестом вырвал листки календаря с пометками, оставив лишь чистые, подошел к окну, взглянул последний раз на горевший костер, зачем-то закрыл раму и быстро прошел по комнатам райкома. В приемной человек в тюбетейке опускал на рычаг трубку второго телефона. Не останавливаясь, Копа стал спускаться по лестнице, лишь спросил, не поворачивая головы, следовавшего за ним радиста:

— Кто звонил, товарищ Чайванов?

Тот секунду помолчал.

— Интересуются люди, как быть с партвзносами в период пребывания в оккупации.

— За время оккупации важно сохранить веру в партию, быть коммунистом не по ведомости, а...

— Точно. Я так и ориентировал,— ответил человек в тюбетейке.

— Все сожгли? — выходя на крыльцо, спросил Копыленко. — Пора уходить на базу.

— Успеем. В порядке бдительности еще бы разок проверить, не осталось ли чего важного...

Но Копыленко подошел к тачанке, запряженной парой лошадей, отвязал вожжи, сел на облучок.

— Проверять поздно. На станции немцы. Садись, давай.— И они шагом выехали из ворот.

По главной улице райцентра, прямо к райкому, мчались, строча из пулеметов, два немецких мотоциклиста,

а вслед за ними полз неуклюжий танк, иногда стреляя из короткорулой пушки. Снаряд разорвался где-то в саду, взметнув выше деревьев, черный хвост дыма и горелой бумаги.

— Замешкались, рохли,— зло сказал Копыленко и хлестнув коней кнутом, свернул в переулок.

Мотоциклисты сразгону пролетели дальше.

— Гони,— сказал, передавая вожжи радисту, Копыленко и приготовил гранату. Проскочив третий квартал, они нос к носу столкнулись с одним из мотоциклистов. Копыленко бросил гранату. Мотоцикл перевернулся на бок, завертелось в воздухе колесо. Испуганные взрывом, грохнувшим позади, лошади, уже не слушаясь повода, мчали галопом по предместью райцентра.

«Выскочить бы за первый пригорок! — думал Копыленко.— Доскакать до леса! Там и коней, в крайнем случае, бросим...» Лес, спасительный лес синел вдали, и Копа мысленным взором уже видел, как в глубине, в чаще, на берегу небольшого лесного ручейка его ждут товарищи. Ждут уже третий день.

3

И действительно, в глубине леса сидела группа людей. Виднелись даже наспех сложенные из жердей и переплетенные лозняком шалаши. На расчищенной площадке горел сложенный по-охотничьи из сухих сучьев костер. Он почти не дымил. Над костром, между двух рогатин, висело на жерди ведро. Вокруг валялись консервные банки, бумажки — все это чем-то напоминало мирную — либо охотничью, либо туристскую — привольную жизнь на привале. Людей было человек восемнадцать-двадцать. Одеты они были странно и явно не по сезону. У некоторых были новые полуавтоматические винтовки. У одного даже автомат, у большинства — простые берданки.

☉ Человек с пышными усами, в кирзовых сапогах и штатском костюме, подпоясанном поверх пиджака широким поясом со звездой на пряжке, — комиссар Кондратий Лесняк, стоял под сосной и, хмурясь, с украинским выговором инструктировал народ, словно читал доклад:

— Головна задача, товариши, в нашем заячем положении, перш за все — конспирация и еще раз конспирация, — строго оглядывая сидящих, убежденно говорил он.

Грузный мужчина с охотничьим патронташем, в высоких сапогах и брезентовых штанах с напуском на голенища, видимо, записной балагур, чихнул. Его сосед со смехом закрыл ему рот рукой и зашипел:

— Конспирация, туды твою душу!

Только Кондратий Лесняк, строго оглядев товарищей, хотел продолжать, как из-за кустов стремительно выбежал человек. Еле переводя дыхание, он бессильно опустился на землю, с трудом глотнул лесной воздух и зашипел угрюмо, не глядя на комиссара:

— Туши костер!..

Из-под шапки по лицу ползли струйки пота. Все напряженно ждали его слов. Кто-то протянул ему флягу с водой. Хватая воздух раскрытым ртом, он машинально хлебнул и, предостерегающе подняв руку, выкашлянул еще два слова:

— Фронт идет!

Лесняк опустился перед человеком на колени и, тревожно заглядывая ему в глаза, сказал:

— Докладывай, Грышко, да скорее...

Григорий, напившись и утерев рот рукавом, бессвязно заговорил, оглядываясь по сторонам:

— Герман прет, к райцентру подходит, техники — видимо-невидимо... Армия наша за Днепро отходит. В Заднепровске никого не заметил, товарищи...

Подняв с земли Григория и потрянув его за плечи, комиссар процедил сквозь зубы:

— Панику разводишь, директиву не выполняешь, туды твою бабушку... — И он почти насильно отвел его за ближайший куст. Люди замерли и настороженно смотрели, как два человека о чем-то крупно говорят. Но вот Кондратий Архипович, туже затянув ремень на своем пиджаке и надевая в рукава кожанку, наброшенную до сих пор на плечи, сказал, обращаясь к группе людей как-то совсем не по-военному:

— А собирайте-ка, хлопцы, вещички. Будем отходить в глубь леса. На базы. И быстро.

Через две минуты цепочка людей, стараясь не оставлять за собой заметных следов, уходила в глубь леса.

Граната, брошенная Копыленко, спасла положение. Оправдывалась в действии уже известная нашим людям истина — немецкие мотоциклисты нагло действуют до первого решительного отпора. Второй преследователь замешкался, и тачанке секретаря райкома удалось беспрепятственно выскочить в поле. Взмыленные кони уже понесли по шляху к логоу, уходящему к приднепровскому лесу. Оглянувшись, Копыленко увидел, как из райцентра, оглушительно треща моторами, вылетела еще одна группа немецких мотоциклистов. К счастью, они потеряли его след и, рассыпавшись веером, рыскали по окраинам Заднепровска. До спасительного леса оставалось около километра, когда переднее колесо тачанки наскочило на пень и слетело с оси. Упираясь ногами в передок повозки, радист едва успел осадить взбешенных коней.

— Руби постромки! — закричал Копыленко, выхватывая из тачанки тщательно запакованную в ковер рацию. — Верхами доскачем!

Через минуту два всадника, свернув с дороги, прямо по стерне мчались в сторону леса. Вдруг конь человека в тюбетейке упал, всадник перелетел через голову, но тут же вскочил на ноги. Копыленко осадил вздыбившегося коня.

— Хватайся за хвост! — пытаюсь приладить рацию впереди себя, крикнул он радисту. Но у того, видимо, была повреждена нога. Копыленко соскочил с коня, и, пока он подсаживал товарища, из-за поворота дороги показался немецкий мотоциклист. Длинная пулеметная очередь разрезала воздух, радист хлестнул коня нагайкой и взял с места в галоп. Копыленко не удержался в седле, но, сползая, успел схватить радиста за ногу. Несколько шагов он бежал рядом, держась за ногу всадника. Но, услышав вторую очередь, человек в тюбетейке вырвал стремя из рук Копыленко и, нахлестывая коня, скрылся в лесу.

Выбившийся из сил Копыленко свалился в высоком жнивье возле скирды соломы. Мотоциклист дал на ходу несколько очередей, а затем свернул со шляха и помчался полем. Машина его тряслась, прыгая по кочкам и лавируя между колешками соломы, а Копыленко думал

в отчаянии: «Эх, человека пожалел, а дело загубил. И жизнь, кажется, тоже...» Когда смешно подпрыгивающий мотоцикл с коляской приблизился к нему, Копыленко приподнялся на локте и пробормотал:

— Ну нет, шалишь! Коммунисты в плен не сдаются!..— и дернул за кольцо гранату.

Дымом взвихрившегося пожара заволокло все вокруг.

В то время пока Копа вел неравный бой, за Днепром стлалась пыль в степи, и, оставляя окопы, двигались к переправе остатки полка из дивизии Жемчужного. Заслон выполнил свою задачу и сейчас прорывался к переправе, чтобы отойти на другой берег и взорвать ее за собой. Несколько сот бойцов, одна противотанковая пушченка, к которой пристроился мичман Седых, и еще несколько командиров безо всякого строя, перемешавшись с солдатами, двигались к Днепру. Марлевая повязка на руке комдива почернела от пыли.

— Мы могли бы еще поддерживать вас стнем кораблей, да нас обошли,— словно извиняясь перед раненым комдивом, говорил мичман.

Думая о чем-то своем, комдив ответил:

— Фланги подвели. Вы тут ни при чем. Утром Северский шлях был свободен. Разведка выслана? — спросил он адъютанта.

— Так точно. С минуты на минуту ждем.

— Саперам минировать позади дороги,— все еще пытаясь руководить войсками, хотя от потери крови у него дьявольски кружилась голова, приказал комдив.

Когда прошли еще километр, колонну встретили разведчики.

— Райцентр занят противником,— доложил старший.

От возросшей опасности у комдива словно прояснилось в голове и прибавилось сил. Он поднес бинокль к глазам и, оглядев горизонт, скомандовал:

— Передать головному отряду — меняем направление. Прямо по азимуту — на переправу.

И колонна быстрым шагом стала удаляться влево от дороги. Северский шлях, отмеченный изгибом телеграфных проводов, уходил в сторону. Когда внизу заблестела серебряная лента Днепра и из-за прибрежных де-

ревью показались спасительная переправа, колонну накрыл шквал вражеского огня. Комдив снова был ранен. Адьютант и мичман Седых положили его на плащ-палатку. Кто-то из бойцов схватил под уздцы ошалевшего от стрельбы серого в яблоках коня, запряженного в повозку. Конь захрапел, задрав голову. Комдива уложили на повозку, и неизвестно откуда вынырнувшая медсестра стала быстро перевязывать его.

Теряя сознание, Жемчужный успел сказать связным: — Прорываться на переправу. Вести войска в плавни.

В это время километрах в двух в стороне от азимута группы Жемчужного показался дымок, который быстро рос: длинные очереди немецких пулеметов были прерваны глухим взрывом гранаты. Дым човалил сильнее. Бойцы и командиры Жемчужного не могли знать, что это вел свой предсмертный бой секретарь Заднепровского райкома товарищ Копыленко. Они и сами отчаянно отстреливались от наседавшего врага, рвавшегося к переправе. Отстреливались офицеры и бойцы, сопровождавшие повозку, запряженную серым конем. А вокруг рвались снаряды. Но еще один бросок — и крутой берег, уходящий вниз да к тому же покрытый лесом, изменил положение и как будто прибавил им сил. Бегом, держась за края повозки, человек двадцать стали спускаться к насыпи. В поредевшей цепи, прикрывавшей отход, появилась была надежда на спасение. Но в последний момент их опять настиг огневой вал артиллерии врага.

— Опять вилка, — скрипнув зубами, крикнул мичман Седых адъютанту. — Погоняй! Не оставляй комдива! — И, остановив противотанковую пушку, приказал развернуть ее к бою.

Разрыв вражеской мины оглушил его; не успев выстрелить из пушечки и трех раз, мичман Седых, еще раз оглянувшись, увидел, что серый в яблоках конь, запряженный в обозную тяжелую повозку, мелькнув между деревьями, исчез за высоким берегом, словно провалился в воду Днепра. Спокойно вздохнув, мичман брючным ремнем туго перетянул ногу выше раны и медленно пополз к садам райцентра, выходящим в степь.

Уже начало вечереть, когда на Днестре громынули один за другим три взрыва. И долго еще над тихим зеркалом вод, в спускавшихся с высокого загадного берега оврагах перекатывалось эхо, пока не заглохло вдали, в плавнях Левобережья. Это был взорван железнодорожный мост. Его фермы, как допотопные гиганты, пришедшие на водоной, уткнули свои хоботы в воду. Что случилось с переправой для гужевого транспорта, никто пока не знал.

На Северском шляху изредка вспыхивали короткие перестрелки, взлетали ракеты — это разрозненные группы наших бойцов пробивались к Днестру. Мимо разбитой тачанки Копы, крадучись, прошли трое раненых. Даже самые близкие товарищи с трудом узнали бы мичмана Александра Седых и танкиста из бессарабских колонистов Роберта Вольфа в этих оборванных и измученных людях. Они опирались на винтовки, как на костыли, и на плечо третьего. Этот был ранен легко и помогал товарищам. Он — единственный, пожалуй, не изменился. И если бы тут был комдив Жемчужный, он сразу бы узнал бесшабашного чернобрового моряка-минера, так лихо действовавшего под самым носом у немецких танков. Когда они подходили к окраине села, чернобровый, уставший больше, чем его раненые товарищи, прохрипел:

— Давай, братва, по разным хатам. Одного найдут — двое пришивают к какому ни на есть берегу или к юбке, на крайний случай...

И когда его товарищи уже шагнули в разные стороны, он сказал им вслед:

— Калашник моя фамилия. На всяк случай — если не встретимся более, может, запомните. Служил на Дальнем Востоке, шел ко дну на Днестре, а воевал под Одессой с моряками-пограничниками.

Мичман с трудом обернулся и взглянул на Калашника тем печально-запоминающим взглядом, которым прощаются с близкими при неизбежной разлуке, а таких на войне не перечесть, и, почти машинально махнув рукой, бросил вслед Калашнику:

— Прощай, кореш, голубая душа!.. — и медленно похромал к старому саду. Он сразу осел, не чувствуя больше могучего плеча моряка, и отдыхал почти под каждым деревом. Старые яблони и груши смыкали над

ним свои огромные папахи, отягощенные крупными плодами. И вдруг, неизвестно откуда, по саду ударили немецкие минометы. Первая мина разорвалась в кроне вековой груши. Градом посыпались на землю плоды, словно какой-то озорник тряс изо всех сил деревья. Сплошным ковром груш и яблок мигом устлало землю. Мичман ступил на этот ковер, поскользнулся, упал, хотел приподняться и, беспомощно помотав головой, пополз на четвереньках. Он не видел, как из-за угла дома глядят на него два черных глаза. Совсем молоденькая девушка, почти девочка, с испугом и беспомощным любопытством давно смотрела на раненого. Когда Седых сделал попытку подняться и снова упал, она подбежала к нему и, движимая жалостью и страхом, зашептала:

— Скорей, скорей... На селе фашисты.

— Фашисты? Живой не сдамся! — И мичман схватился за кобуру, но не удержался и упал навзничь, только лежа на спине, ему удалось вынуть из кобуры пистолет. Девушка, ничего не понимая, смотрела на окровавленного человека, который вдруг поднес свой пистолет к виску.

Откуда ей было знать, что в таком, казавшемся тогда безвыходным, положении наиболее горячие поступали именно так. Ведь им, молодым и неопытным, никто не говорил, что война не может быть сплошной цепью геройства и побед, что она густо замешана на крови поражений, не обходится без плена, окружения, разочарований. Что солдат не смеет переступить только один рубеж — стать предателем. Но юное, никогда до этого не видевшее насильственной смерти существо девушки запротестовало.

— Что вы! Я спрячу... тебя на сеновале, — прошептала она.

— Не надо. Найдут — всем будет худо. Я знаю, — немного отдышавшись после страшного порыва, проговорил Седых.

— И я знаю... — перебила его девушка.

— Вот видишь...

— Иди на сеновал. А как стемнеет, — уйдешь. — Она помогла ему подняться на ноги и, поддерживая, почти подволокла к сеновалу, нагнулась и подставила плечо. И он коленями, а затем тяжелыми сапогами встал

на круглые нежные девичьи плечи и уцепился за пере-
кладыны лесенки. После нескольких попыток ему, на-
конец, удалось подтянуться на руках, и он тяжелым меш-
ком упал в мягкую, пахучую тьму. Девушка быстро взо-
бралась вслед за ним, оттащила его вглубь, под застре-
ху, затем вернулась и втащила за собой лесенку. Мич-
ман уже сидел на сене в темноте, голый по пояс. Он
успел снять с себя бушлат и рвал тельняшку на широкие
полосы. Почти не видя девчушку, а слыша только ее
нежное дыхание, шепнул: «Отвернись» и стал перебин-
товывать ногу.

Когда он закончил перевязку, стало совсем темно.
Они долго сидели рядом, прислушиваясь к перестрелке и
молча наблюдая мерцающее сияние ракет.

— Тебя как звать? — спросил мичман.

— Галя, а фамилия Черкас. А тебя?

— Меня? Военная тайна... — с кривой улыбкой отве-
тил ей Седых, с ужасом вспомнив ощущение холодной
стали, недавно прикоснувшейся к его виску.

А в это время сапер Калашник стоял в другом саду
возле круглолицей дебелой молодницы, державшей в ру-
ках какую-то штатскую рвань, и как только он успел на-
тянуть ее поверх тельняшки, на улице послышались авто-
матные очереди и в сады вошла редкая немецкая цепь.

— Беги в погреб, — шепнула ему хозяйка. — Если най-
дут — я тебя и в глаза не увижу...

Криков «Хальт, хальт, рус сдавайс! Хенде хох!» ма-
трос уже не слышал.

Вражеская цепь, перекликаясь, приближалась к ло-
щине, в которой были разделаны огороды: узкие полоски
жнивья перемежались кукурузой и подсолнухом. Здесь,
в кукурузе, лежал Роберт Вольф. Его свалил обморок.
Сознание вернулось к нему в тот момент, когда цепь про-
ходила мимо. Слыша немецкую речь, он не сразу уяснил,
что происходит с ним, но инстинктивно прильнул к земле.
Когда голоса автоматчиков стали удаляться, он попробо-
вал приподняться, но застонал и снова погрузился в бес-
просветную тьму обморока. Нога его была перебита, он
не мог ни подняться, ни ползти.

Только на другой день, около полудня, когда раненый
уже почернел и начал тихо хрипеть, нашла его хозяй-
ка, Дарья Власьевна.

Словно в каком-то кошмаре прошли первые дни оккупации Заднепровского района. По дорогам сновали мотоциклисты, к Днепру подтягивались небольшие колонны грузовиков и артиллерии. Лишь лес был молчалив. Густая стена орешника скрывала все, что делалось там, в гушине. На опушке, над окружавшими его деревьями, раскинул свои ветви вековой дуб. Внимательно всмотревшись, можно было различить, что наверху, в кроне, сидят двое людей. Один из них почти не отрывал от глаз бинокля. А если и опускал бинокль, сидя, как в седле, верхом на толстой ветви, то закрывал глаза. Перед его мысленным взором пробегали знакомые картины: вот уступом на восток, к переправе, удаляются немецкие танки, вот разрушенные окопы и блиндажи, здание райкома, Северский шлях. Но как все изменилось! Земля изрыта морщинами окопов, сады побиты осколками мин и снарядов, а с оставшихся невредимыми деревьев начисто оборваны плоды. И всюду луга и поля изрыты воронками и гусеницами танков... Он уже видел это все вблизи, ночами выходя из леса к селу на разведку.

Однажды, когда часовой, замаскировавшийся справа в кустах, закричал птицей-пугачом, партизаны, сидевшие на дубе, насторожились. Но сколько глаз хватало, степь была пуста. Никакого движения. И в лесу было тихо. Только через полчаса разведчики привели в отряд усталого, оборванного человека. Он сильно хромал, оброс щетиной, отощал. За пояс у него была заткнута тубетейка. Когда из густых ветвей дуба спрыгнули два человека, радист узнал в одном из них комиссара Кондратия Лесняка и, быстро одев тубетейку, взял под козырек.

— Откуда? — узнав радиста, хмуро спросил комиссар.

— От товарища Копы, — многозначительно ответил тот.

Комиссар вздрогнул и, схватив его за локоть, быстро отвел в орешник. Оставшись наедине, он поглядел в лицо прибывшего радиста и спросил:

— Где же он?

Человек в тубетейке опустил голову и пожал плечами.

— Мабуть попал к немцам...

— Да ты что?.. А ну, подожди минуту...

Комиссар, резко повернувшись, пошел к дубу и вернулся вместе со своим «напарником». Они втроем сели на траву, и по требованию комиссара радист доложил о том, как их перехватили фашистские мотоциклисты.

— Накормить радиста,— крикнул комиссар бойцам-разведчикам. И повернулся к Кучерявому: — Тебе принимать команду, товарищ Кучерявый!

— Так я ж всего-навсего кооператор,— возразил тот, кого называли Кучерявым.

— Номенклатурный работник,— поправил его Лесняк.

— Та яка разница... Мое дело было в партизанах определено партией по хозлинии: базы наладить, людей кормить. Какой же я командир? — развел руками Кучерявый и, сдвинув кепку с наушниками на затылок, поскреб лысую голову.

— Ты же в районе работал, — не очень уверенно возразил ему комиссар.

— Так в кооперации ж, Кондратий Архипович. Да и то — начальником базара. Сам должен помнить.

Комиссар недовольно закрутил головой, словно его жалили осы, и махнул рукой. Смущенно разводя руками, Кучерявый сказал:

— Людей кормить и в мирное время и на войне — вот какое наше дело...

Видимо, не найдя более убедительных возражений, комиссар отрезал:

— А теперь будешь командовать. Точка!

Кучерявый постоял минуту молча, поглядел по сторонам и медленно пошел в лес.

Вскоре они вернулись, и бывший кооператор по приклоненной к дубу лестнице снова взобрался на наблюдательный пункт. За ним полез комиссар. И опять поднял бинокль к глазам кооператор.

— Еще раз решил поглядеть, товарищ Кучерявый?

— Теперь я по-другому смотрю. Тогда глядел как подчиненный, ожидая командования, а теперь другая мера ответственности.

— Это верно,— согласился комиссар.— Теперь отвечать тебе не только за себя да за продукты, но и за всех нас.

— Первым делом пошлем сегодня ночью с этим

новоприбывшим разведку. Может, найдем товарища Копу. Похоронить надо,— сказал Кучерявый. И комиссар подумал, что первое решение командира вполне резонное.

Кроме голой степи да тихого шелеста подсыхавших жестяных листьев дуба, они ничего не увидели и не услышали. Воронье кружило над тропой, по которой скакал и не доскакал к отряду товарищ Копа. Кругом белела сухая земля да виднелась куча золы на месте сгоревшей скирды.

Кучерявый первый легко спрыгнул на землю и, шагая в глубь леса по еле заметной тропе, заговорил:

— Вот, комиссар. У нас тридцать орлсв. Но хотя все честные коммунисты и комсомольцы, а партизанское дело для нас совсем как та двойная итальянская бухгалтерия.

— Верно, — согласился комиссар. — Мы ж эту штуку больше понаслышке знаем.

— По командиру и отряд, — буркнул Кучерявый и прибавил: — Это так. Но в бою никто никому легкие задачки не подбирал.

Несколько минут они шли молча. Оба размышляли, как им быть дальше. Вдруг командир резко остановился. Повернувшись к комиссару, он спросил:

— Какая была задача от товарища Копы?

— Выполнить директиву номер один.

— Не знаю я директив по номерам.

— Директива ЦК. Так мне Копа разъяснил. Он ее лично получил от товарища Мудрого.

— Расшифруй, — тихо сказал Кучерявый.

Оглянувшись по сторонам, словно в лесу их могли подслушать, Лесняк понизил голос:

— Первая наша обязанность — замаскироваться — уже выполнена. Затем фронт через себя незаметно пропустить. Поначалу сидеть тихо, не рыпаться.

— А дальше как действовать? — не дыша, спросил своего комиссара Кучерявый. — И товарищ Мудрый — это кто? *

— Действовать? — опустив глаза, неуверенно ответил комиссар. — Это уже по директиве номер два... А Мудрый — это наш первый секретарь ЦК.

— Ну, давай дальше, — не дождавшись больше ничего, нетерпеливо сказал Кучерявый. — Какая она — директива за номером вторым... А?

— Понимаешь в чем дело, директиву номер два товарищ Копа мне не расшифровал. «Выйдем на базы, замаскируемся, и там я все тебе выложу», — говорил.

— Так и сказал? — недоверчиво протянул Кучерявый и ожесточенно поскреб в затылке.

— Ну, не этими словами, а что-то вроде этого — «получишь дальнейшую инструкцию к исполнению...» Вот в чем вся заковыка... — виноватым голосом сказал комиссар.

— Выходит, нам своей мозгой ворочать надо.

— Конечно...

— Теперь наш район уже не фронтовая зона, а глубокий вражеский тыл. Значит, пора нам начинать свое партизанское дело! Так?

— Выходит, так. От райкома сигнала не будет. А дальше может дело и само покажет.

— Покажет? — повторил Кучерявый и задумался.

После грохота и грома борьбы за переправу, продолжавшейся несколько дней, наступила тишина. Но тишина эта была какая-то напряженная, словно ядовитый туман тяжело опускался на землю, убивая все живое. Замерли плесы Днепра. К воде не подходила ни одна душа. В селах и на хуторах не было заметно никакого движения. И в лесу было тихо, но как-то беспокойно.

Над плодородными землями Правобережья заиграло бабье лето. Шел к концу сентябрь. Три месяца громыла война. Прошла по Днепру бурною грозой и как бы затихла где-то на востоке. Только паутина, обильная, как и урожай в этом году, блестела на печальном осеннем солнце, напоминая провода полевых телефонов.

И вот однажды что-то с треском разорвало плену тумана. Над гористым берегом Правобережья раздался гулкий и какой-то веселый взрыв противотанковой мины. Кучерявый и Лесняк, только что вышедшие на опушку проверить посты, резко повернули головы и прислушались. Им казалось, что они первыми услышали его. А эхо взрыва, нарушившее гнетущую тишину, долго перекатывалось над лесами и деревнями. Встревоженный, сел

на сеновале Седых и заметался в полубреду на чердаке у Дарьи Власьевны Роберт Вольф. Никто из них не видел, как на широком тракте взлетела на воздух легковая машина и миной разметало в стороны ошметки эсэсовской амуниции. Но все же почувствовали какую-то радостную тревогу. Через полчаса на шлях выехала грузовая машина с солдатами. Пыльный хвост стлался за нею. Машина взяла курс прямо к лесу. Со своего наблюдательного пункта командир и комиссар партизанского отряда следили за ней в бинокль; поднятый по тревоге отряд расположился на опушке. Но они не знали, что чьи-то глаза зорко глядели из кустов на мчащуюся машину. Еще несколько секунд, и второй взрыв, еще более гулкий и веселый, разнесся над полями. Грузовик перевернулся вверх колесами. Побежали обратно, в райцентр, оглушенные, контуженные солдаты, копошились возле дымящегося грузовика раненые. И снова не разглядел в свой бинокль Кучерявый, как чуть раздвинулись кусты, показалось чернобровое лицо, и бывший старшина с монитора, сапер Калашник затаился цыгаркой, оглядел шлях и усмехнулся. Незаметно сошлись кусты. Только закачалась веточка.

-то Тишина.

Партизаны Кучерявого получили с утра приказание — копать землянки, готовиться к зиме. С одушевлением пошла работа. Сколько выдумки и изобретательности проявили люди, сооружая эти первые и, как им казалось, долговременные лесные жилища! Какие удобства были хитроумно предусмотрены: выструганы полочки, вырыты хранилища для гранат и патронов, сбиты из ровных жердей нары.

Наивные люди! Не думали они, что через неделю-другую им придется бросить эти уютные и казавшиеся даже комфортабельными лесные жилища. Но эта наивная вера спасла многих из партизан от безнадежности, помогла жить и воевать в тех условиях, в которые поставила их боевая судьба. Они выполняли задание, данное им партией, хотя сначала и не всегда представляли себе трудности, которые предстояло им перенести. Эта наивная вера в прочность своего положения закалила их и укрепила в мысли о разгроме оккупантов, о возможности

этого разгрома. В дальнейшем землянки, хотя и строились более опытными руками, никогда не сооружались так старательно, как эти первые, вырытые по приказу командира в глухой чаще леса.

А тем временем таинственные взрывы продолжались. Они эхом разнеслись там, где оккупанты начали наводить «новый порядок».

Оккупантам в райцентре стало ясно: кто-то объявил им войну. Коварную, хитроумную, невидимую, веселую, бесфронтную и бесфланговую.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Незаметно подкралась осень. Начались затяжные дожди, а там по утрам уже и легким морозцем прихватывало землю.

Вновь назначенный гебитскомиссар фон Зиммельпуфф рассвирепел. Через день после первых взрывов во всех селах было поставлено по виселице, а в райцентре — целых три. На шляху, возле остатков автомашин, на протяжении целой недели расстреливали всех без исключения, кто осмеливался подойти ближе чем на километр. Но, странное дело, ужас и оцепенение, овладевшие всеми оставшимися под оккупацией, теперь исчезли. Страх сменился каким-то злорадным любопытством и мрачной изворотливостью. Люди обходили стороной виселицы, но за оккупантами издали наблюдали сотни глаз — внешне покорных, но настороженных. Все пожимали — и безоружный народ, и до зубов вооруженные оккупанты — остроту развернувшейся опасной игры. Но никто не мог разгадать тайны взрывов. А они продолжались назло оккупантам. Особенно по утрам, на рассвете.

Рана Седых быстро заживала. Он уже перебрался с сеновала на чердак. Частенько по утрам его спасительница Галя Черкас сидела у слухового окна, поглядывая на дорогу. Верхушки деревьев осыпавшегося сада казались беспомощными костлявыми руками, в тихой молитве поднятыми к небу.

— Сегодня ночью опять рвалось на дорогах...

Седых утвердительно кивнул головой, но, размышляя о чем-то своем, глядел на верхушки деревьев.

— О чем ты все думаешь, Сашко? — спросила девушка.

Он молчал.

— Сашко, да отзовись же... — шепнула она, прикоснувшись пальцем к его лихо выщемуся чубу.

Он вздрогнул, но взгляд так и остался устремленным в потолок.

— «Сашко»... — ухмыльнулся он одними тонкими губами. — У нас в Сибири не зовут так.

Обрадованная, что он все же заговорил, она спросила живо:

— А как же тебя звали?

— Ну, звали больше Санькой — это на улице товарищи, в школе — Шуркой, а мать — Ляксандром.

— Сашком тебя моя мама прозвала. Как сына... — вырвалось у девушки, и она осеклась, замолчала, чего-то испугавшись.

Но мичман ничего не заметил, он снова устремил взгляд вверх, словно видел солнце сквозь стропила чердака. Острый профиль с бакенбардами чем-то напомнил ей рисунки Лермонтова из хрестоматии. Она тоже задумалась. Не заметил мичман, как девичий пальчик вновь коснулся его чуба. Она и сама не почувствовала, как жесткие мужские волосы обвились вокруг пальца. Так они сидели долго, пока мичман рывком, скривившись от боли, не поднялся на локтях. Потянулся к окну. Галя подошла к окну первая. Она приложила палец к губам и взглядом показала на улицу. К колодцу у их ворот за водой подошли две женщины. Одна из них — в разношенных мужских сапогах, на плечи накинута мужской пиджак; другая — в валенках, обшитых розово-кирпичной резиной от автомобильных покрышек. Первая, краснощекая, была та самая Малашка, которая выручила Калашника. Весело подмаргивая, она говорила тозарке:

— Горпыно, под вечер одевайся получше та заходь. Хлопцы гулять придут.

Глаза Горпыны блеснули злобным огнем.

— Полицаи? — сквозь зубы спросила она.

— А тебе какая разница? Хлопцы как хлопцы!

— Ой, Малашко! — вздохнула солдатка.

Малашка, отвернув лицо от ветра, насмешливо отозвалась:

— А что? Все своего ждешь? — И, пригнувшись почти к самому лицу женщины, торопливо заговорила: — Не жди. Фронт далеко ушел, может, за Москву. Говорила тебе, непутевой, шукай себе приймака. Дождаться не-

чего. Все равно нам теперь своих не увидеть. — И слезливо запричитала: — Лежат наши соколы побитые и порубанные, а какие и остались живыми — за колючкой за лагерной!

— Нет. Моего там нет! — резко сказала солдатка.

Малашка продолжала:

— Германь через старосту сообщили, что сеять будем каждый уже на своей земле. Трудно тебе придется без мужика.

Солдатка натянула на плечо сползающий пиджачишко и тихо, но многозначительно сказала:

— Сеять? Сей, сей. Что посеешь, то и пожнешь... Бог тебе судья, а я не пойду с полицаями таскаться. И в свою хату дезертира не пушу. — И, подняв коромысло с ведрами на плечо, торопливо, оскальзываясь, пошла к своей хате.

Малашка смотрела ей вслед с восхищением и завистью. Этой не надо носить две шкуры, как ей. Давая согласие на подпольную работу, которую она называла потайной, и приняв от Копы задание — для начала поскорее организовать шинок, она никогда не думала, что это будет так трудно. Нет, с маскировкой она справлялась легко и ловко. Полицая сразу стали охотно захаживать — выпить на даровщинку они были охотники. Пьющих мужиков, которых совершенно не интересовали ни власть, ни порядки, тоже было немало. Но женщины, даже бойкие и не особо устойчивые солдатки, все до одной стали обходить Малашку стороной. Вот, например, эта Горпына. Голая, как бубен, а чуть между глаз не плюнет. А без веселых баб затея с шинком — явочной квартирой, как, помнится, назвал это заведение товарищ Копя, что-то не получалась.

А тут новое осложнение. Чернобровый матрос, пережив первые двое суток оккупации в погребе за бочками с капустой, вскоре вылез и стал хозяйновать. Парень он был хваткий, в руках у него все горело. Хозяйство разведенки Малашки, понемногу обветшавшее в той части, где требовалась мужская рука, владеющая топором и рубанком, за несколько дней заблестело новыми тесаными латками на сарае и воротах. В самогонные ее дела он не вмешивался, и когда она принимала гостей, заблаговременно исчезал на чердаке, где за трубой состряпал что-то вроде потайного, незаметного снаружи мезонина,

который звал кубриком. Без спросу у хозяйки он устроил с тыльной стороны крыши лаз, врезав его в застреху. Ловко замаскированный старым камышом, он недели две оставался незамеченным самогонщицей. Однажды, обнаружив его, она спросила:

— Це що за лаз ты мне устроил? Я кого хочу и через двери впустить могу. Небось не мужняя жена...

Ничуть не растерявшись, нагло глядя ей в глаза, матрос ответил:

— Это, мадам, на случай, если придется открывать кингстоны. — И свистнул.

— Чего, чего? — не поняв, спросила грозно хозяйка, а сама даже охнула в душе: «Глазищи-то, глазищи! За такими на край света пойдешь, если поманит только...»

— Ну, срочно отдавать концы, — решив говорить всю правду, объяснил он.

Уловив смысл сказанного, Малашка упрекнула:

— А я, значит, должна буду погибать?

Но в голосе ее не было испуга.

— А как же? — развел руками матрос. — Как положено. Капитан сходит с тонущей посудыны последним.

— Ой, парубче, подведешь ты меня под монастырь... — игриво погрозила она.

— Ежели я вам лишний, — спасибо за хлеб, соль, отшвартуемся от вашего берега, — отозвался Калашник деловито.

— Нет, нет, живите, — поспешно сказала Малашка. — Только в моей хате щоб никаких от меня больше секретов.

— Идет! По рукам, товарищ командир самогонного корабля! — И Калашник так сжал маленькую, но крепкую руку, что Маланья тихо ойкнула и вдруг прижалась к его груди. Моряка даже обожгло это прикосновение женского тела, поспешно отстранившись, он буркнул:

— Договорились. Нейтралитет и — точка.

Действительно, сначала он не касался ее «домашних» дел, не пробовал содержимого бутылей и пол-литровок, заткнутых кукурузными кочанами. Но однажды, недели через три после первых таинственных взрывов, случай чуть-чуть не свел их ближе.

Дело было поздно вечером. Уже не раз Малашке приходилось потчевать новых хозяев — старосту и полиц-

мацов. Но: сегодня, по-видимому, пожаловали гости особые:

Малашка жарила на загнетке уже третью яичницу. Аппетитно пахло корчащееся на сковороде сало, звонко потрескивала сухая лучина, с вечера наколотая постояльцем. Полицейские сидели за столом, изредка поворачивая головы в сторону Малашки. А ее мысли были далеки и от яичницы и от заговорщицки сбившихся в кучу полицейских. Думала она о Калашнике: «Куда он ходит по ночам? Куда черт его носит?»

К печальной действительности ее вернул грубый окрик:

— Баба, тащи еще самогонки!

Староста поддержал полицейского:

— И огурцов добавь, — не видишь?

Третий, сидевший за столом, опрокинув в глотку стакан самогонки, смачно сплюнул на пол, обтер рукавом рот с мокрыми, неестественно красными губами и забормотал:

— И черт-те шо за самогонка — не береть...

У Малашки мелькнула шальная мысль: «И не возьмет! Не от хорошего гуляете, сволочи!» А сама напряженно прислушивалась: не прошелестит ли на чердаке в своем полузверинном логове моряк. В сердцах шваркнув на стол сковородку с яичницей и подняв за ввинченное кольцо половицу, она полезла в подполье за очередной бутылкой самогона. Потарахтез коробком, чиркнула спичкой, спотыкаясь о насыпанную к зиме картошку, достала из кадки четверть самогона и прислушалась к негромкому разговору, доносившемуся из-за стола. Мокрогубый, незнакомый Малашке, по всей видимости какой-то районный начальник, которому староста и полицейский в знак уважения уступили единственную поданную Малашкой вилку, дуя на кусок поджаренного сала, изучал полицейского:

— Выследить... Не спугнуть! Захватить на деле... и с личным доставить по назначению. За это полагается от герра гауптмана награда: хошь марками, хошь барахлом...

Малашка слушала, медленно вылезая из подполья и пытаясь по обрывкам разговора понять, о чем идет речь. Подошла к столу и, поставив самогон, непринужденно рассмеялась:

— Давайте, господа, я за вами поухаживаю. — И, аппетитно чмокнув кукурузным початком, которым была заткнута четверть, открыла бутылку и разлила самогонку по стаканам.

Староста, покосившись на мокрогубого, хмыкнул:

— Отойди от стола, баба. Не твоего ума...

Сложив руки под фартуком и махнув пренебрежительно подолом юбки, Малашка с независимым видом отошла от стола, кинув на ходу игриво:

— У, несытый дьявол... Може и мне марки по моему вдовьему положению не будут лишними... — И, подойдя к постели, присела в ногах, отвернув край пикейного одеяла.

Полицейский, дядько Федор, неизвестно откуда появившийся в селе с приходом немцев и занявший квартиру учителя, отступившего с армией, глядя на Малашку осоловелыми глазами, неуверенно махнул рукой, не то призывая ее за стол, не то отталкивая, и зашипел-захрипел, пуская слюни:

— Ядреная бабочка, с такой ночью побаловаться, — дорого стоит... Можно и марками...

И в этот момент над головой Малашки, мягко извиваясь в тусклом луче лампы, показалось чуть заметное облачко пыли, сыпавшейся с потолка.

Незаметно скосив глаза на эту чуть серебрившуюся пыль и громко зевнув, Малашка подошла к ходикам, подтянула кверху цепочку с подковой и старым, ржавым замком, прилаженными сапером вместо гири, и проговорила безразличным голосом:

— Пора, господа, и честь знать... опасно поздно возвращаться... Шалют по ночам в районе...

А сама подумала: «И куда его носит? Не завлекла ли какая? Так и останусь я при своем интересе, — как гадалка говорила». Незаметно сплюнув через плечо, чтобы не сглазить, Малашка подошла к постели. До ее слуха опять долетел обрывок разговора:

— Скоро евреев начнут сгонять, вот тогда и пожива будет, — мечтательно протянул приезжий, застегивая пояс с кобурой на тощем животе.

Повеселевшими глазами глядя на полицейских, Малашка развязно налила себе стакан самогона и, подняв его высоко над головой, произнесла:

— За спокойную ночь, господа полицейские! — Лихо

опрокинула его и, смачно крякнув, добавила, блестя глазами и зубами: — А будут евреев потрошить — и меня не забудьте!

Приезжий недоверчиво глянул на Малашку.

— Что за разглашение военной тайны? — нахмурился он на подчиненных.

Староста пренебрежительно махнул рукой:

— Не обращайтесь на нее внимания — сама не знает, что мелет... А нам — пора. — Он натянул на лохматую голову картуз с какой-то бляхой, и сразу сделался похож на пожарного.

Малашка выпроводила полицейских. Поискала глазами на столе — все съедено под метелочку. Отломил кусочек корки от краюхи и, круто посолив ее, прикусила. В голову ударил легкий хмель. Она прислушалась. Прогромыхали с крыльца сапогами полицманы. Остановились у калитки. В окно видно было, как, закурив, они растаяли в темноте. Маланья собрала на шесток посуду, поправила перед зеркалом платок на голове. В душе поднималась радость: «А может и не от бабы пришел голубь сизокрылый?» — подумала с хмельной нежностью про Калашника и, дунув на лампу, в темноте нашарила горлышко бутылки, наполовину опорожненной полицейскими. Чуть скрипнув дверью, Малашка вышла в сени. Остановилась, прислушиваясь. Ни звука не доносилось с чердака, где, она это знала, был матрос. Сбросив с ног шлепанцы и легко ступая голыми пятками, напряженно улыбаясь в полной темноте, прислушиваясь к глухим ударам громко стучащего сердца, Малашка встала на нижнюю ступеньку дробины, приставленной к лазу на чердак, и замерла, прислушиваясь. Тихий ночной воздух принес хриплый собачий лай. «В район подался — собака наемная, — определила Малашка про себя, думая о том, что она скажет Калашнику о своих гостях и о разговорах, услышанных в хате. — Нет, нет, — тут же отогнала она от себя эту мысль, — ничего такого я ему не скажу, а просто угощу самогонкой да поговорим о хозяйских делах...» И, быстро перебирая босыми ногами, крепко прижав к груди четверть, она поднялась на чердак.

Калашник услышал, как зашаркали босые ноги по настилу, и поднял голову, ожидая. Малашка окликнула его тихим голосом, улыбаясь в темноте:

— Спишь? Отзовись, непутевый полуношник! — Спог-

кнувшись о балку, она тихо охнула и почти повалилась на матроса. Он, инстинктивно приподнявшись, подхватил сильными руками Малашку и посадил возле себя на сено. Зачем понадобилось его отчаянной хозяйке притащиться к нему в такое глухое время? — подумал он.

Никому не доверяя, ни с кем не желая делиться своими мыслями и планами, Калашник не проронил ни звука, ожидая, когда Малашка сама скажет ему о цели своего посещения. А она, как-то сразу обессилев и растеряв все мысли, сидела молча, одной рукой опираясь о сено, а другой все так же крепко прижимая к груди четверть.

Успокоенный тишиной, наступившей на чердаке, завел свою беззаботную мирную песню потревоженный было сверчок. Этот звук настроил Малашку на мирный лад и она, нашарив руку постояльца, вложила в нее горлышко четверти, проговорив с насмешкой в голосе:

— Согрейся, бродяга! А то, вишь, руки, как ледышки...

Моряк послушно сжал рукой горло четверти и молча потянул ее из рук Малашки. Она услышала, как забулькало в его горле, и, окончательно осмелев, сунула к нему под старый кожух свои заочеченные ноги.

Совершенно неожиданно для них обоих в запыленное и затканное паутиной оконце заглянула луна, повисшая в морозном, затянутом тучами небе. Осветив на миг логово Калашника, небесное светило так же неожиданно, как и взошло, стыдливо скрылось за тучей. Но за этот миг Малашка разглядела на усталом, поросшем густой колючей щетиной лице моряка такую замкнутость и отчужденность, что теплая волна жалости к самой себе и ко всему на свете залила ее грудь, мягко сжав горло, подступила к глазам и наполнила их непролившейся слезой.

Калашник, откинувшись, молчал, а рука его, сильная, огрубевшая мужская рука со стальными пальцами, помимо его воли, нежно и крепко охватив обе Малашкины ноги за щиколотки, прижала их к своему теплему боку. Чуть подвинувшись, чтобы устроиться поудобнее и натягивая кожух на колени, Малашка воркующим голосом шепнула:

— Выпроводила...

— Молчи! — попросил, как приказал, моряк, ненавидя сейчас ее всей своей душой за ее поведение, за выпитый ею самогон, за то, что не прогнал ее сразу. Но что-то

более сильное, чем рассудок, не позволило ему сказать Малашке все, что он думает о ней и как он к ней относится. А она, наивная душа, на миг почувствовала в нем того человека, которому должна и могла бы открыть свое истинное лицо, истинные намерения. Открыть и доверчиво, с женской жаждой помощи, защиты и совета, прислониться к его широкому плечу. Но на уме вертелись только затащенные слова, которыми невозможно было высказать то, что волновало и вместе с тем связывало ее, те слова, которые ничего не могут сказать другому человеку, в душе которого не горит то же святое чувство доверия и нежности, переполнявшее Малашку. Она осталась совершенно одна без сочувствующего человека, среди отвернувшихся от нее подружек, под нахальными и липкими взглядами мужчин, потерявших совесть, честь и понятие долга. Теперь она лежала, затихшая, прижавшаяся к теплому телу молчащего мужчины, и закипавшие слезы не позволяли ей сказать слов, которые могли бы прозвучать сейчас фальшиво и спугнуть нарождавшееся доверие, которое было так необходимо ей. И они продолжали молчать, думая каждый о своем. Уже начало сереть чердачное окошко, а они все не находили в себе силы — один оттолкнуть от себя женщину, другая — раскрыть свою душу. И хотя женская интуиция подсказывала Малашке, что моряку можно и должно верить, но, вместе с тем, чувство долга и строгие наставления о глубочайшей конспирации не позволяли ей заговорить первой.

Грохот, заставивший их обоих на миг втянуть головы в плечи, разорвал тишину. Калашник молниеносным прыжком очутился за печной трубой, в руках его тускло блеснул вороненый пистолет. А Малашка, опомнившись, кубарем скатилась по шаткой дробине, чуть не сломав себе шею. Лишь поправя на голове сбившийся на бок платок и от этого делового жеста придя в себя, она чуть хриплым от волнения голосом воскликнула:

— Какого еще рожна, ни свет ни заря, ломаются! Угломону нет на людей... — И бесстрашно открыла дверь.

Перед дверью стоял с пустыми бутылками в руках знакомый полицман. Зло глянув на него, Малашка схватила посуду и, приперев перед носом полицейского двери, через несколько минут вынесла сулею с самогоном. Полицейский удовлетворенно завертел головой:

— Вот стерва баба, без слов знает, кому какое лекарство надо! — Засунув в пазуху кожиха четверть и бросив: — Запиши, расплачусь, — он растаял в холодном морозном воздухе, слегка покачиваясь на ходу.

С трудом отрывая по утрам голову от подушки, Машка только диву давалась, неизменно заставляя Калашника спать.

«Бугай здоровый, — думала она неприязненно, — дрыхнуть все они мастера. — Под «они» подразумевалась мужская половина рода человеческого. — Вот что значит заботушки никакой за душой нет». — И, подоив корову, выгоняла ее в стадо. Не затапливая, как семейные женщины, печи, она спешила обратно в кровать с высокой периной — добирать, как сама выражалась, минуток сто.

Калашник же, делавший теперь все более длительные ночные переходы, действительно храпел во всю носовую завертку и просыпался часто, когда дело шло к вечеру.

Быстротекущие дни разматывали неделю за неделей. Ведя двойную жизнь, он не замечал времени. Оно измерялось для него не днями, а все более длительными и рискованными ночными походами. Кое-что зная о мерах, принятых карателями, Калашник вынужден был расширять территорию действия. А раз территория больше, то и марши — длиннее. И с трудом забираясь на рассвете на свой чердак, Калашник еле передвигал ногами, налитыми свинцовой тяжестью.

Совсем другой меркой мерилось время у мичмана Седых. Пока не закрылась рана, он с надеждой прислушивался по ночам ко все удалявшимся звукам откатывающегося фронта, и не раз в его голове шевелилась шальная мысль: «А может, фронт тут недалеке станет, тогда при первой возможности догоню своих...» Но все реже доносились глухие ночные звуки больших боев. И вот уже много ночей напряженная, звенящая тишина не давала мичману уснуть. А потом появились эти редкие, гаинственные взрывы. Время для него тянулось мучительно медленно, и Галя совсем извелась, придумывая занятия, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей. Она с нарастающим страхом вспоминала их первую встречу и ворончье дуло пистолета. Седых сделался раздражительным и злым. Он нарисовал на листочке календарь и, зачеркивая

очередной день, иногда даже скрипел зубами от тоски и бессилия. Посоветовавшись с матерью, Галя переводила его на ночь в хату, думая, что он тяготится одиночеством. Но и это мало помогало.

Одна только Дарья Власьевна не знала тех тревог, от которых томились Малашка с Галей. Страдания ее были проще и страшнее. Единственной заботой ее было хоть как-то удержать часто покидающее Вольфа сознание. Он был ранен тяжело. Время, проведенное на солнцепеке под стеблями кукурузы, без первой необходимой помощи, давало себя знать. Власьевна принимала все советы, которые ей удавалось получить от соседей, не вызывая у них подозрения, и все свои ограниченные познания в медицине испытывала на Вольфе. Больше всего она боялась длительных, часто по нескольку суток, обмороков. И со страхом думала, что вот сейчас он спит и больше не проснется.

— Романэ, открой очи, ой, Романэ! — шепотом звала она, покачиваясь в такт его горячечному дыханию.

И когда в его глазах появлялся проблеск мысли, спрашивала:

— А знаешь, який сегодня день?

Он смотрел, не моргая, в потолок и отвечал:

— Понедельник...

Всплеснув руками, она говорила:

— Четверг, милок, четверг...

А после очередного забытья, когда он отвечал «четверг», а было воскресенье, она снова вела для него счет дней, не понимая, что дни, ночи, недели для человека, ведущего поединок со смертью, уже не имеют значения.

Измученная, обхватив колени, сидела Власьевна около Вольфа, слушая его бессвязное, тяжелое бормотанье. Сколько еще времени придется ей вот так, страдая от бессилия помочь ему, просидеть около человека, который не был ей ни сыном, ни братом? Сколько придется перестирать заскорузлых, дурно пахнувших бинтов? Сколько вшей собрать с этого исхудавшего, облитого потом тела? И никто не мог сказать Власьевне, когда это кончится. Не думала и она сама, отдавая все свое умение, все помыслы и тревогу этому чужому, больному и страдающему человеку, ни о какой награде за свои заботы о нем.

Сколько их, бескорыстных русских женщин-патриоток, рискующих не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи; а может и всего села, выхаживали и спасали оставленных на поле боя раненых, отбившихся от своих.

Солдат думает о победе, и это удесяттеряет его силы. И какой бы далекой она ни казалась в те черные, беспросветные дни, но все же где-то маячила вдали надежда на победу. А у таких вот юных девчушек, как Галя, вдовниц, как Власьевна, солдаток и разведеннок, как бесшабашная Малашка и строго соблюдавшая себя ее соседка Горпина, — не было и этой далекой, но спасительной звездочки надежды. Нет, не думали они в то время о будущем! Думали только о том, как облегчить страдания раненых, вдохнуть веру и мужество в сердца ослабевших или просто спасти от смерти, от фашистской пули и петли. Сотни и тысячи людей, волею войны оказавшихся на оккупированной территории, спасены ими.

Но то, что давало хоть какое-то облегчение солдатам, а в дальнейшем вознаградило их за перенесенные страдания, обошло этих патриоток. Женщины и девушки, матери и сестры наши не думали о награде, хотя не ожидали и бесчестья. А ведь куда правду девать — многим за их героический и часто никому не известный подвиг наградой было презрение, грязное слово в будущем, а в настоящем — постоянная опасность быть преданной и поруганной. И все же, если придется все это снова повторить, — она, сестра моя, снова, верю, пойдет по бескорыстной тропе страданий. Такова уж наша русская женщина.

2

Боевые действия отряд начал с разгрома постерунка, как стали называть в округе полицейский пост.

— Постерунок? — сказал Кучерявый, волею судеб ставший командиром отряда. — Ну и хрен с ним. Давай долбанем для разминки и постерунок!

Ночью, не очень организованно, с излишней пальбой, партизаны окружили здание бывшего сельсовета в Горячковке, подожгли, а полицейских перебили. Не имея боевого опыта, они даже не подобрали всего оружия, которое осталось от полицейских.

Этот налет встревожил всю округу. Нельзя сказать,

чтобы он особенно обеспокоил фашистскую верхушку района. Погибли ведь не арийцы, а два десятка каких-то болванов из вспомогательных полицейских сил. Сами виноваты.

Мокрогубому же начальнику полиции Ничипоренко невыгодно было раздувать эту историю. Это значило бы показать перед начальством нераспорядительность своих подчиненных, а перед населением — свою слабость. Но молва о таинственных партизанах всколыхнула народ.

Калашник прибежал на звуки боя в Горячковку, но опоздал. Партизан и след простыл. В сарае моряк нашел несколько коробок патронов, на огороде, куда бежали в темноте полицаи, две винтовки. Решив, что все это может при случае пригодиться для его ночных походов, он припрятал их в укромном месте.

После памятной ночи на чердаке Малашка и Калашник стеснялись и чуждались друг друга. Она, наблюдая исподтишка, как моряк безразлично реагировал на налет партизан, решила, что он больше всего смахивает на дезертира-окруженца, каких немало шлялось в то горькое время по селам. Во всяком случае, довериться ему она не решилась. Ее участие в подполье пока еще не вышло за пределы первой стадии, которую опытные деятели называют легализацией. Может быть, бойкая тетка и слова-то такого не слыхала, но суть она ухватила тонко и выполняла этот первый приказ райкома так, что лучше и не придумаешь. Теперь дело было за Копой. Но Копа не появлялся.

Для матроса же Малашка оставалась ловкой бабенкой, в дымной неразберихе войны ловко устраивавшей свои материальные делишки. Если бы она погуливала, тогда — черт с ней, мало ли солдаток пускалось во все тяжкие, но особенно противны были ему не самогонные дела и даже не ее подчеркнутая лояльность к оккупантам. Возмущала больше всего чисто женская ее чистоплотность. До появления партизан все это было терпимо — какое, мол, мне дело! Но сейчас матрос Калашник, человек тертый и опытный, понимал: мало ли что могло случиться? В общем, матрос, хоть и нехотя, но решил твердо: пора наострить лыжи. Партизанский отряд он пока не искал и связи с партизанами не добивался. Ему до сих пор больше импонировала деятельность партиза-

на-одиночки, начатая успешно. Запас мин был у него немалый. За время фронтовой борьбы за переправу он понатыкал их на предмостном укреплении не одну сотню. Слабый заслон Жемчужного в создавшемся трудном положении деятельно перекрывал минами все шляхи и даже полевые дороги, особенно когда его усилили минерами речной флотилии. А люди, которым довелось пройти фронтовыми дорогами, хорошо понимали, что не все поставленные мины рвутся. Главные дороги фашистские части разминировали, а остальные мины лежали в земле, сохраняя свои боевые свойства и грозя неосторожному путнику.

Совсем по-иному реагировал на партизанский налет бывший начальник корректировочного пункта мичман Александр Седых. Он стал собираться к партизанам, сам не понимая, как этим решением ранит сердце своей спасительницы. Веселый и простой, он по-братски относился к Гае, ласково называя ее — «моя сестренка». Она и сама поверила в свою сестринскую любовь к нему, любовь, скрепленную кровью. Одна лишь мать вначале с тревогой наблюдала за их отношениями. Но ближе узнав мичмана — парня чистого, наивного, как многие молодые моряки, — она успокоилась. Первые прочесывания, которые устраивали тыловые части, кончились, и у многих женщин и девчат объявились то двоюродные братья, то женихи, то приемные сыновья. Непосредственная опасность угона в плен миновала, но стали вербовать в Германию. Галя была очень молода — а в глазах матери совсем подросток — и по мирным временам еще года два-три ждать бы ей того времени, когда станет невестой. Но война перемешала понятия возраста и времени. Теперь бывали случаи, что заключали между собой браки почти дети — лишь бы не угнали в Германию. А мичман был парень видный и по всему видать — честный да и девушке, видимо, пришелся по сердцу. И вдруг с кандидатом в женихи такая перемена. Мать не сразу заметила, зато Галя ходила сама не своя. Заподозрив что-то неладное, мать сама начала как-то сердечную балачку с Сашком, как она его ласково называла на украинский манер. О чем они договорились, Галя толком так и не поняла. Только заметила в его глазах решимость и какое-то успокоение.

— Поди, поговори с ним, — сказала как-то перед вечером Катерина Черкас дочери, показав глазами на потолок. У девушки ёкнуло сердце. Через две минуты Галя сидела у слухового окна на чердаке. Рядом стоял мичман Седых и смотрел на верхушки сада.

— Ты спасла меня от смерти, сестренка... — сказал он и замолчал в нерешительности.

Но и эти слова вызвали в ее молодом, неопытном сердце бурю чувств, и она, глядя на него с нежностью, вспомнила, как они с матерью подобрали его, как спрятали в погребе, а ночью принесли постель и перевязали раны.

— Ну, прощай, Галя, — сказал мичман, — может быть еще свидимся...

— Сашко! — вырвалось у нее с испугом и мольбою.

— Ухожу, сестренка. Ухожу в партизаны.

Она долго молчала.

— Может, и я пойду в партизаны? — спросила она вдруг.

— Куда такая маленькая?

— А я скажу, что я твоя сестра...

— Эх, сестренка, кто оружие в руки взял, тот ни отца, ни матери, ни сестры, ни любим... — Он остановился. Галя вскинула на него глаза, и они оба вдруг зарделись, сами еще не понимая, что же такое происходит между ними. Так и стояли молча, потупившись.

Первая нарушила это неловкое и такое радостное для нее молчание Галя. Взглянув на верхушки обглоданных осенними холодными ветрами деревьев, она подумала почему-то, что они похожи на руки пленных матросов, связанные колючей проволокой и в гневе поднятые над головами.

— Вон там мы впервые увидели друг друга, — показала она на сад.

Он благодарно обнял ее. Галя грустно продолжала:

— Когда я подобрала тебя раненого и подумать не могла, что такое получится...

— Какое?

— Что тебя лечила, а сама захворала.

— От такой хворобы не умирают. А мне надо...

— А я не хочу...

— Не надо, Галочка... Мы уже условились, увидимся может... после победы...

Снизу, из люка, показалась голова матери.

— Тихо в селе, Сашко. Идем. Проведу я тебя к верным людям. С ними и выйдешь на лесные тропы.

Еще минута, и затихли скрипучие половицы дома, где в тяжелую минуту жизни спасался Александр Седых.

— Значит, артиллерист? — спрашивал Кучерявый моряка с бачками.

— Так точно, товарищ командир, — отвечал Седых. — Начальник «БЧ один» погибшей канонерской лодки «Верный».

— А в наших краях что делал?

— Поддерживали огнем пехоту на переправе. Командир корректировочного поста.

Шагнув вперед Кучерявый, наклонившись к уху мичмана, спросил:

— А минометное дело тоже знаешь?

Тот не очень уверенно ответил:

— Вроде, знаю.

Кучерявый взял его под руку и отвел в сторону.

— Понимаешь, какое дело, мины у нас есть, а минометов нет, как бы их приспособить?

— Какого же калибра?

Почесал затылок Кучерявый.

— Да здоровые, как поросята, вон они под сосной сложены.

Мичман постоял над штабелем и сказал задумчиво:

— Полкового миномета мины. Слышал, закопали несколько минометов здесь наши соседи-минометчики.

— Слушай, друг, — сказал Кучерявый, — это же до зарезу нам нужно! Сегодня ночью дам тебе ребят и пойдешь...

Но оба остановились, прислушиваясь, — эхо донесло далекий взрыв.

В селе вскинула голову из-за прялки женщина, тоже прислушалась к взрыву.

Замерли Кучерявый и мичман.

— Противотанковая сработала, — шепнул Седых.

— Может, фашисты на шляху, — отозвался Кучерявый, — а может, и корова наступила.

И снова раздался взрыв противотанковой мины.

— Нет, это не так просто, надо нам подразведать...

На следующий день мичман съездил за спрятанными минометами. Пока решили привезти только два. Оказалась эта штука довольно громоздкой по масштабам орудия.

Долго возился у штабелей с полковыми минами Седых, прилаживая на обыкновенной колхозной телеге огромную самоварную трубу полкового миномета. На другой повозке приладили круглую пята миномета.

— Ну, как, командир батареи, попадешь в цель? — спросил Кучерявый мичмана.

— Постараюсь, товарищ командир. Вот только с прицельным приспособлением туговато. Если бы мне пушечку противотанковую, пусть бы и без панорамы, я бы ее сквозь ствол навел, а эта самоварная труба без квадранта... В общем, постараемся, — и тут же изменил тему. — Да, насчет тех взрывов...

— Дознались? — оживился командир. — Нашли виновника этого дела?

— Говорят, есть там в селе окруженец один. Вроде, сапер. Лесняк, Кучерявый и мичман Седых долго совещались. Наконец, Кучерявый тоном заговорщика сказал:

— Надо вам, хлопцы, этого сапера украсть.

На этом и порешили.

А молва о действиях Калашника к этому времени пошла по всей округе, принимая самые разнообразные формы. Мины его после случая с полицаями перестали рваться возле Горячковки. После некоторого перерыва две машины и броневик были подорваны на самом выезде из райцентра, а одна мина сработала под окнами у гебитскомиссара Зиммельпуффа. Оккупанты неистовствовали. Они объявили сбор оружия, а из военнопленных сформировали команду смертников для разминирования дорог: фашисты, не имея планов минных полей, просто гнали по дорогам людей. Это была угроза для Калашника. Его запас мин кончался, на новые же, если поля будут разминированы, не придется рассчитывать.

Он стал подумывать — не махнуть ли ему на восток? Но удерживали холода и какая-то непонятная привязанность к своей хозяйке. Матрос стал примечать двойственность в ее поведении. Как она ни таилась, но от его зоркого глаза не скрылось, что к ней изредка наведывались какие-то странные люди, совсем не похожие на ее обычных клиентов. Да и сама она иногда исчезала на день, а то и на два, и возвращалась из своих «командировок» какая-то посветлевшая.

И все же, каждый из них, делая свое дело, скрывал его от другого. Листовки, которые появлялись на селе после малашкиного возвращения и попадали в руки Калашника, не производили на нее никакого впечатления.

— Пишут всякое. Брежут одни, брежут и другие, — отмахивалась она, когда квартирант показывал ей листовку, и норовила, не читая, скомкать и выбросить. Но никогда не сжигала. А когда матрос однажды хотел скрутить из дефицитной бумаги самокрутку, вырвала ее из его рук и сказала укоризненно:

— Может, люди за тот листочек жизни решаются, а он... — И вышла, хлопнув дверью.

Она все чаще исчезала на сутки, а то и более.

Печь одинокой бездетной женщине можно было не топить. Единственное, что связывало ее по рукам и ногам, — была корова. Однажды, подоив корову и процедив молоко, Малашка долго бесцельно ходила по хате, глубоко о чем-то задумавшись. Наконец она робко поднялась на чердак к Калашнику.

— Чуешь, нахлебник богоданный, хочу с тобой посоветоваться, — печально окликнула его Малашка, еще стоя на трапе, как научилась от квартиранта называть деревянную дробину.

— Давай, трави, что там у тебя? Трубка в чертовом агрегате распаялась? Или еще что? — недовольно отозвался из-за трубы Калашник, пряча что-то под подушку.

— Вот хочу я корову продать... — неуверенно начала Малашка, и крупные слезы закапали из ее глаз.

В понимании Калашника, крестьянской женщине нельзя было оставаться без коровы. Деревня в его представлении до сих пор была неразрывно связана с парным молоком.

— А что? — забеспокоился Калашник, — кормить нечем? — И вздохнул: — Обьедаю я тебя, хозяйюшка...

— Што ты, што ты... — замахала Малашка руками и опустилась рядом с Калашником на импровизированную постель. — Ты об этом не думай. Самогонка меня кормит. — И, боясь обидеть Калашника, искусственно бодрым голосом добавила: — И твой паек в моем хозяйстве есть. Русская же я... Пора бы догадаться...

— А чего же так с коровой-то сурово? — смутился матрос.

— Вяжет она меня по рукам и ногам. Тоже и у меня дела всякие... — неопределенно ответила Малашка.

— Ну, какие у тебя могут быть дела? — почесал в затылке Калашник. — Самогон гнать — так это и я могу помочь.

— Не надо мне твоей помощи. А корову я должна либо продать, либо зарезать — не могу я иначе... — И вдруг, спохватившись, Малашка замолчала.

Молчал и Калашник. В душе его боролись два противоположных чувства: «Вот, — думал он, невольно отодвигаясь от хозяйки, — пришла совета спросить. А кто я ей, в самом-то деле? А для нее корова — это, можно сказать, хлеб и воздух. Не может же она самогоном питаться...» Теплое и благодарное признание его мужских хозяйственных достоинств затронуло его. Но когда он понял это, поднялось в Калашнике другое, нехорошее чувство. «А на черта мне все это загнулось? Хоть так, хоть этак, а нам с ней не по дороге. Пускай режет, пускай продает — полицейская подстилка...» — уже с раздражением думал он, понимая, что возводит поклеп на женщину, которой многим обязан. До этого Калашник успешно оберегал свою «личную» жизнь от вторжений любопытной и бойкой хозяйки, давая ей всякий раз обдуманый и резкий отпор, когда она пыталась даже намеками узнать у него о его ночных отлучках. Раньше ему казалось, что Малашка ни о чем не догадывается, то есть, что думать-то она может как угодно, но обличающих его доказательств у нее быть не может. Но последнее время Малашка совершенно перестала проявлять повышенный интерес к занятиям и намерениям своего постояльца. А однажды, когда Калашник только что выпарился в печке, любезно вытопленной и предоставленной в полное его распоряжение

хозяйкой (парился он в печке по нужде — в баню на огороде, где обычно мылась Малашка в компании с соседками, ходить не рисковал), и сидел в хате за самоваром вдвоем с Малашкой, она вдруг ошарашила его.

— И чего ты, милок, от меня скрываешься? — пододвигая ему чашку с чаем одной рукой, а другой поправляя завернувшийся уголок байкового одеяла, висящего для маскировки на окне, и как будто не глядя на Калашника, спросила она.

Калашник опешил от изумления и растерянно протянул:

— Ду-у-ра-а...

Ничуть не обидевшись, Малашка ответила:

— Сам дура... — И разговор на этом оборвался.

Калашник, обжигаясь горячим чаем и нахмутив брови, не глядел на свою хозяйку и с возмущением думал про себя: «Вот ведь же народ — эти бабы... И помыться приготовила, и самовар поставила, и такой тихой прикидывалась, чтобы в распаренном состоянии мужика врасплох застукать. Самое подходящее время выбрала для вопросов, самогонщица чертова! Вот где домашний-то шпионаж — самый вредный. Как раз и сболтнешь ненароком...» Он сунул рывком чашку с недопитым чаем на середину стола. Малашка не трогалась с места. Губы ее кривились в насмешливой улыбке.

Калашник решительно поднялся, поблагодарил хозяйку за «удовольствия» — за пар, за чай да сахар. Говоря это, он вдруг подумал: «Вчера к ней какие-то свежие за самогонкой приходили — не иначе чего пронюхали. Надо тебе, матрос, отдавать концы на другую квартиру».

Но что-то горячо запротестовало внутри у Калашника от такой мысли, и, окончательно смутившись, он тихо открыл дверь и в темноте полез к себе на чердак, кляня и свою потерю бдительности, и Малашку, и весь белый свет.

А она поняла угрозу по-своему. «Не иначе, как про то, что я листовки эти таскаю, пронюхал. А ему они только на курево и годятся. Учили их учили, а вон какие... Эх, надо с ним держать ухо востро, а то враз пропадешь с этой самогонной фатерой...»

Так долго они остерегались друг друга. Малашка

рьяно изображала из себя самогонщицу, а Калашник ни слова не говорил ей о своих разнообразных способностях.

4

Секретарь подпольного райкома Копя не погиб в стычке с мотоциклистами. Раненый и обожженный, он уполз от горевшей скирды в плавни и забрался в омшаник колхозной пасеки. Несколько дней катался он там в бреду, пока среди пробивавшихся на тот берег Днепра окруженцев не нашелся хирург, который простой ножовкой, прокаленной на костре, ампутировал ему руку. Копыленко стало легче. Армейцы звали его через фронт, но он отказался. Его фронт был здесь. Тут ему нужно стоять насмерть. Через две недели он стал ходить и почувствовал себя легче. Налегке, сбросив килограммов пятнадцать мирного жирка, он думал было начать налаживать связи с оставленными в селах подпольщиками. Собирался уже пробираться к отряду, который пока никак не проявлял себя, но тут новая беда вывела Копю из строя. Поздней осенью в плавнях он подхватил жестокую лихорадку. Да еще вдобавок вспыхнул залеченный перед войной на Куяльнике радикулит. Рана, неудачи и болезни так вымучили его, что человек, — то скрипя зубами от болей в пояснице, то трясясь в ознобе, уже только автоматически продолжал выполнять свою работу организатора подполья.

Говорят, на фронте всякие мирные болезни, вроде ишиаса, порока сердца или даже туберкулеза, отскакивают от человека, как мяч от стенки. Возможность погибнуть от искареженного взрывом куска железа или маленькой пульки весом в несколько граммов — словно делает эти болезни лишними, и они, стыдливо прячась, оставляют человеку куда более эффективные способы сокращения жизни, придуманные им же самим. Но в подполье или в окружении этот психологический закон, видимо, действовал мало. Простуда есть простуда и вылезает она страшными чирьями, мучает болью в пояснице, изводит зверской трясучкой. Все это выпало на долю Копы.

Прибежавший на рассвете в омшаник запыхавшийся мальчишка предупредил, что пасечник, спрятавшийся

его, ушел в лес с «якимись дядьками» и что ему, «окруженцу побитому», треба быть настороже, «бо вночи була якась стрельба и завируха». Сначала Копа не сообразил, куда ему направиться, но потом решил добираться в соседнее село, где жил проверенный человек, оставленный хозяином «квартиры» в первые дни войны. Все прибавляя шагу, Копа с чувством глубокого удовлетворения думал о том, что вот пасечник не сказал мальчишке о нем ничего определенного, а назвал его «побитым окруженцем». Как это правильно! И еще думал Копа с надеждой и щемящей нежностью о том человеке, к которому он направлялся.

Много разных мыслей бродило у него в голове. На оккупированной территории все же остались верные люди. Они не дадут ему пропасть, не выполнив партийного долга. Копа выбирал дорогу поглуше, хотя и удлинял этим свой путь. Вряд ли кто из жителей, если бы такие и попались ему по дороге, мог признать в изможденном и заросшем человеке секретаря райкома. Ведь даже пасечник не знал толком, кто у него скрывается.

Ночью, крадучись, дошел Копа до села резидента. Это был свой, проверенный товарищ, часто помогавший райкому в борьбе с врагами народа. Копыленко сам не раз подписывал ему положительные характеристики.

Со всевозможными предосторожностями подошел Копа к дому этого человека, полумертвый от усталости, но зная, что вот сейчас наступит отдых. Еще думал он о том, что, оказывается, выносливость человека зависит не только от его сил, а от того, что предстоит совершить ему в жизни. Вот ему надо было идти, и он прошел эти несколько километров, хотя еще на рассвете не в состоянии был самостоятельно двигаться по омшанику. Зато скоро, скоро он отдохнет. Он постучал условным стуком в окно и привалился к стене на ставших вдруг ватными ногах.

Дверь открылась сразу. Копа протянул руку для приветствия, боясь шевельнуться, чтобы не упасть.

Наконец-то!

И вдруг он понял: слова пароля вылетели у него из головы. Хозяин хаты стоял на крыльце с непроницаемым лицом и холодными глазами смотрел на Копу. И мучительно напрягая память, стараясь вспомнить па-

роль, на который должен был отозваться этот человек, Копа с надеждой и тоской произнес:

— Узнал?.. Копыленко я...

Хозяин хаты торопливо шагнул к Копе и, холодно и отчужденно отчеканивая слова, проговорил:

— Идите себе своей дорогой, товарищ начальник, и благодарите бога, что я не предатель... Шляются тут всякие...

Еще ничего не поняв, Копа вспомнил, наконец, те слова, которые он должен был произнести первыми.

Но хозяин не дал ему сказать.

— Вы, гражданин Канашевский, от меня топайте. Да попроворнее... А кто там вы были при большевицкой власти, я и знать не хочу. Понятно? Нету уже той власти и нету моей памяти.

Тогда Копа уже механически произнес первую фразу пароля:

— Днепровские кручи крутые в этих местах?

И взглянул, все еще ожидая, не услышит ли ответ: «Смотря какой тропой добираться!»

Но тот нетерпеливо отрезал:

— Сказано, уходи! У меня семья большая и рисковать за вас нема дурных... Каратели живо красного петуха пустят... Сказано, благодари бога, что на честного человека напал. А надо бы... — Он замялся, подыскивая подходящие слова, но, не найдя их, махнул рукой. — Видать я не видал и слышать не слыхал, а то еще по комендатурам затаскают. — И тихо прикрыл за собою дверь.

Только спустя несколько страшных минут Копа с ужасом понял смысл сказанного. Он с трудом оторвался от мокрой, раскисшей стены. Густая, тяжелая злость плеснула по сердцу, гневно блеснули глаза.

— Прощай! — с трудом сдерживая себя, проговорил Копа, понимая, что в его положении рискованно дразнить этого человека. Но не удержался и добавил с уверенностью и силой: — Днепровские кручи крутые! — Он повернул за угол хаты и, свернув на боковую тропку, огибавшую огороды, зашагал, упрямо нагнув голову, в сторону леса. По щекам его катились крупные слезы горечи и обиды, но он не замечал их. В сердце крепла уверенность, что это один из немногих подлецов, которых не раскусили при мирной жизни, и

что все-таки он найдет и кров и приют у настоящих, советских людей. Занятый этими мыслями, Копа и сам не заметил, как добрел до хаты Малашки, наспех завербованной им перед самым приходом фашистов в Заднепровский район.

5

Уже два дня Малашка жила с холодным ужасом в душе. В субботнюю ночь она выскочила на крыльцо от робкого стука в окно и подхватила под руки прислонившегося к стене человека, который чем-то неуловимым напомнил ей Копу, несмотря на то, что исхудал, оброс бородой, оборвался. С тех пор Малашка потеряла представление о дне и ночи. Наскоро устроив Копу в подполье и стащив ему туда перину и кожух, она часами сидела неподвижно, прислушиваясь то к шороху на чердаке, то к глухим долгим стонам, доносившимся из подполья. Но чем больше терзал ее страх, тем веселее казалась она окружающим. Чтобы избавиться от любителей самогонки, она всем твердила:

— Заварила, поставила, старую выпили, а новой не накурила. Приходите на неделе. — Так она покупала себе хоть ненадежную, временную передышку.

Во время ночных отлучек Калашника, ненадолго спускаясь в подполье, Малашка с жалостью смотрела на Копу и лихорадочно искала выход из создавшегося положения. Ничего подходящего не приходило ей в голову, и на третью ночь она прямо сказала Копе:

— Товарищ начальник, ненадежно у меня в хате. Может, надо вам подыскать что подальше от проезжего шляху. Частенько рвут у нас мины на дорогах. И мой квартирант пропадает... — И рассказала о своих наблюдениях и сомнениях.

Копа заинтересовался Калашником. Но совсем не потому, что тот показался ему страшным человеком.

— Такие чудеса творят люди! И народ не знает?

— Народ знает, — затараторила Малашка. — На базаре все шепчутся...

— Шепчутся, шепчутся, — перебил ее Копа. — Надо, чтобы о таких гремело все вокруг. Чтобы эти подвиги подымали новых героев. И подумал: «Надо вам специальную листовку выпустить, как на фронте...

Снайпер такой-то имеет на боевом счету...» — Сколько же эти орлы подорвали?

— А хоба ж я знаю, сколько у него на боевом счету тех танков та машин? Може еще то не вин... а те, что полицейский постерунок разбили.

— Эх ты, тоже мне, подпольщица! — вырвалось у Копы.

— Так вы ж сами мне говорили, самое главное — язычок прикусить, секрет держать, соблюдать ту самую, как ее — спирацию... Так я никому ни слова, аж у грудях спирает от нее.

Коп горько задумался. За несколько дней эта баба многому научила его. Самым главным он считал скрытность и хитроумную секретность порученного ему дела. Так и учил своих соратников по подполью и будущему отряду. Но первый же день оккупации, трагический день, чуть не стоивший ему жизни, научил его чему-то новому. Старый пасечник помог ему в первые дни после ранения, люди в селах кормили его, прятали, сообщали о враге, выводили на спасительные лесные тропы. Это и был народ. Правда, был и тот трус, так распинавшийся перед властью, так активно кричавший о врагах народа и так подло отвернувшийся в трудную минуту.

«Когда же мы научимся верить своему народу?» — думал он с горечью. В преданности многих людей, подозреваемых во всех смертных грехах, он убедился за эти месяцы. Были и ошибки — например радист Чайванов. Вот никогда бы не подумал! Человек ведь проверенный, через многочисленные сита анкет пропущенный, а в критическую минуту каблуком норовил в морду заехать.

А этот неизвестный моряк, черт его знает, с какой он там биографией, вон какие чудеса вытворяет! А, впрочем... ведь все это догадки хозяйки явочной квартиры. Кто их разберет, этих женщин. Бабенка, правда, ловкая, да кто ее знает. И опять ловил себя на недоверии. Сомнения не оставляли его так же, как и болезни. Может, просто по женскому мягкосердечию она его превозносит. А может... Парень видный, как будто.

Ловкачка-то она ловкачка, да и на таких ловких находятя ловкачи... Нет, конечно, излишняя конспирация много затруднений создала, но все же я жив и дело, порученное мне партией, как горный ручеек, журчит,

к реке пробираясь. А если бы без осторожности... давно болтался бы на виселице. Держи, брат Копа, ушки торчком. Дело твое пока заячье, молодое, и хотя сам еле живой, но все же ты подпольщик».

— Он, ей-богу, он самый, товарищ секретарь, — доносился до него торопливый голос Малашки. — Я давно замечаю...

«...И что она так радуется, словно до победы дожидается?» — сквозь густую пелену боли, уже не раз кидавшей его в предобморочную муть, думал Копа. Но когда приступ прошел от предложенного хозяйкой мутного, но очень ароматного первака, настоянного на степном полынке, у него вдруг снова прояснилось в голове и стало даже повеселей жить на свете. «Но все же надо проверить. А как? Вызвать, спросить документы?» Копа даже улыбнулся этой несуразной мысли.

— Знаешь что? Попробуй-ка, похвали при нем фашистов.

Малашка, холодея от ужаса, посмотрела на Копу.

— Та хйба ж я немецкая изменщица... — прошептала она.

— Надо нам этого человека прояснить. И для дела, и для тебя. Вот сегодня и сделай это. А пока дай мне бумаги, — и Копа весь вечер что-то писал, примостившись под узенькой полоской света, падающей через щель в половице.

Калашник и сам давно собирался поговорить с хозяйкой начистоту. Да как-то не получалось все... И вышло так, что краснощекая Малашка опередила его. Собрав ужин и поставив на стол литровый штоф с самогонном, она заговорила заискивающе.

— Видишь, и при немцах жить можно. Харч есть и самогонку гоним перзый сорт. А если и победят наши, то что ж... Не по своей вине ты в окружение попал, значит, в этом ничего нет зазорного. Правда?

Калашник угрюмо молчал.

— Ну чем ты повинен, — подливала масла в огонь самогонщица. — Что генералы да полковники фронт проиграли? А?

— Чего это ты, Малашка, в стратегию ударилась, гуды твою в печенку?.. — скрипнул зубами матрос.

В глазах у подпольщицы сверкнул озорной огонек, но, скрывая торжество, она стала истово креститься на передний угол с большой, явно не домашнего обихода, иконой.

— Господи, прости! Какой неблагодарный мужик пошел, — затараторила она. — Я ж тебя от смерти увела, от раны выходила. Самогону не жалею, кормлю.

— Кормлю, кормлю, — оборвал окруженец, подняв на нее ненавидящий взгляд. — Меня тошнит и от твоей еды и от твоих разговоров! — И он направился к двери.

— Ну, ну, иди, прогуляйся, никуда не денешься, — деланно смеясь, кинула ему вслед самогонщица.

Калашник круто повернулся.

— Вот как ты думаешь, полицейская снабженка? Ну, нет, не будет по-твоему, Маланья.

— Что, лучше меня найдешь? — вызывающе упервшись кулаками в бока, спросила она.

— А я и искать не стану. Я под это логово мину подложить готов!

Она деланно всплеснула руками и даже присела, словно от неожиданности.

— Господи Исусе! Так може это ты мины подкладывал под германа? — «догадываясь» и стараясь этим облегчить ему признание, вскрикнула она.

Ничего не понимая, разгневанный, он обернулся к ней и спросил с угрожающим видом:

— Побежишь с доносом?

— А какая мне польза от этого? — тоже с вызовом спросила она.

— Только польза? Пользы нет — промолчишь, а будет польза — донесешь?! Тьфу! — и моряк направился к двери.

Малашка ласковыми глазами смотрела ему вслед. Как ей хотелось сказать: «Конечно, будет польза, для нашего дела польза дурачок...» Словно догадавшись о ее мыслях, он обернулся; тогда она подошла к нему и уже просто, по-человечески, сказала:

— Ой, Иванэ, ничего ты не знаешь... Лучше вот шо, пойди, прогуляйся, а потом приходи. Все ж таки самогоночку ты любишь. А я для тебя еще кое-что припасла. Ладно?

Он молча кивнул головой и вышел.

Уже не скрывая радости, Малашка ласковыми глазами смотрела ему вслед. Затем подошла к подполью и, предупредив условным стуком, подняла люк. Из люка показалась сначала голова Копыленко, а затем и весь он, в гимнастерке с пустым рукавом, в накинутой на плечи широкой крестьянской свитке.

— Слыхал? Я так и знала, что он наш, — радостно зашептала Малашка. — Вот потайной! И мне не говорил ничего, а?

Но Копя молчал, зябко кутаясь в свою свитку, которая скрывала его исхудавшее, сгорбившееся тело. Он в последние дни не то что упал духом, а смертельно физически устал от телесных недугов. Но издавна выработанная на партийной работе жила поднимать стоящего человека, давать ему ход, помочь расправить крылья заговорила в нем.

Отдавая Малашке исписанный листок, он сказал:

— Поручение тебе, хозяйюшка, очень прошу выполнить...

Малашка насторожилась. А Копя, доверительно приклонив к ее уху обметанные болячками губы, наставлял:

— Надо, чтобы народ знал о своих героях. Я листовку написал, как на фронте, о твоём постояльце. Назвал я его товарищ К. Вот с твоих слов, если ты не прибрежала, я все боевые действия описал и названия населенных пунктов точно перечислил. Будет народ знать, что все это в нашем районе совершается. Ты вот одну ему подбрось. Понаблюдай, как он будет на это... А? Ведь сама говоришь — не уверена...

И он сжал ее руку с листовкой, как бы прощаясь и вручая ей ее судьбу.

Думая лишь о том, куда денется Копя, Малашка согласно кивала головой, вытирая слезы жалости и досады.

Малашка никогда не призналась бы самой себе, что не страх провала тревожил ее, а беспокоила судьба моряка, его бесконечные отлучки, его замкнутость и недоверчивость. У него научилась она скрывать свое настроение и свои намерения. За себя она почему-то была уверена, что выкрутится. Видела она вокруг себя так часто скотские, пьяные лица местного начальства, что просто привыкла. Движимая чувством жалости и без-

отчетным высоким жертвенным горением, толкающим людей на подвиги, она схватила руки Копы и, сжимая их горячо, обещала выполнить все его поручения.

И Копа ушел. Малашка долго ждала Калашника, но он так и не вернулся до рассвета.

6

Копа появился на другой день еще более усталый. Не глядя на Малашку запавшими глазами, спросил:

— Читал он про подвиги этого неуловимого партизана?

— А как же! Дуже интересовался... Аж, глаза заблестели, як у морського черта.

— А сказал что?

— Так из него хоба вырвешь слово? Очи горять, такой довольный — аж зубами клацает, а потом губы скривив и через силу цедит: «Брехня, конечно. Но здорово придумано...» Но бумагу не хотел скурить — отдал, говорит: «Девай куда хочешь». И как его выследить?

Копа сидел, крепко задумавшись. Проверая матроса, он проверял самого себя.

Как в здоровом организме, одолеваяющем болезнь, наступает перелом, именуемый кризисом, после которого все силы жизни берут перевес и быстро справляются с силами смерти, — так в его понимании всего происходящего вокруг, в этом темном и непонятном, вдруг появился проблеск. И он, этот луч, осветил людей и его, Копыленко, страшные промахи.

Он старательно и со знанием дела выполнил директиву номер один. И успел даже в последний момент сообщить об этом секретарю ЦК. Отряд был организован, подполье налажено. Фронт прошел, и он собирался приступить к выполнению директивы номер два. Но тут все пошло вверх тормашками, бешено завертелось, как спицы того мотоцикла, который перевернулся от взрыва брошенной им гранаты. Ранение, болезни, омшаник колхозного пасечника, скитания... А ведь он искренне стремился и верил в свою способность выполнить любое задание партии. Ради партии он физически страдал все эти страшные недели. Если бы не трагическая случайность, задержка на каких-нибудь полчаса, —

он бы давно приступил к выполнению директивы номер два. Он вспоминал заученные наизусть слова: «Сплачивать, объединять, организовывать людей, оставшихся на временно захваченной врагом территории, способных на сопротивление. Создавать невыносимые условия... Объединять людей, способных жертвовать собой...» Холодный пот выступил у него на спине. «Как же ты плачивал, объединял, организовывал их, товарищ Копа?» — словно спросил его голос, услышанный им, когда на станции уже были фашисты. — «Научил скрываться, прятаться друг от друга?! Даже директиву номер два умудрился спрятать от партизан, коммунистов, своего комиссара Лесняка?» — «Но я же не знал, что мы не увидимся, — оправдывался он перед самим собой, — я не мог предвидеть, что не успею выйти на базу. Там первым делом собрал бы секретное совещание коммунистов...» «А что они сейчас, люди, даже не знающие этой директивы, все проверяют друг друга, все конспирируют?.. Вот рядом живут среди врагов два человека. Преданные нашему делу. Ходят на краю смерти. А чем ты им помог, чему научил, товарищ Копа? Вот они, молодые, здоровые, может быть, влюбленные друг в друга, может, уже и делят супружеское ложе, — вон как она за него дрожит, — а дело, которому отдают страсть и помыслы, они прячут, скрывают, секретничают друг от друга. Ты на нее, эту чудесную молодуху, свою конспирацию одел, как петлю на шею. Чему научил тех, что, бросив семьи, жилища, детей, ушли в лес? Сидеть и ожидать тебя, пока ты привезешь им указания? Связал по рукам, а потом будешь упрекать, что не дрались кулаками. Эх, Копа, Копа, неужели тебе непременно была нужна война, чтобы научиться узнавать, кто свой, а кто чужой?» — горько думал секретарь райкома, только что обманутый и разочарованный «проверенным человеком».

— Давай, тащи сюда своего матроса с погибшего корабля, — мрачно пошутил он.

— Да кто же его знает, куда он забежал! — бойко затараторила Малашка, быстро накинув на плечи кожух. Она вернулась нескоро.

Подталкивая в спину Калашника, Малашка говорила громко и радостно:

— Иди, иди, полуношник. Добрые люди пытаются...

— Откуда тебе знать, чудилка, кто мне добрый, а кто... — И он приставил ладонь к глазам, глядя против света на хилого, согнувшегося Копу.

— Ну, вот что, товарищ, — начал тот решительно. — Хватит нам между своими, преданными советской власти людьми в кошки-мышки играть. Я — секретарь здешнего, Заднепровского райкома партии. Подпольного райкома, — подчеркнул Копа. — Этим пока все сказано. А ты, товарищ хороший, кто будешь? — спросил он Калашника в упор.

Тот посмотрел на Копу исподлобья, а затем перевел взгляд на хозяйку. Она утвердительно закивала головой.

— Вам как, товарищ секретарь, всю анкету выкладывать? Значит, так: фамилия — Калашник. Зовут Иваном, по батьке Сергеевич.

В этих хмуровато сказанных словах Копа еще не различил скрытой издевки и спросил:

— А дальше?

Калашник продолжал:

— ... Год рождения шестнадцатый. Родственников за границей пока нету. Что вам еще требуется?

— Этого пока хватит, — сказал простодушно Копа.

— А как воевал — таких вопросов в анкете нет! — вдруг взорвался матрос. — Вот и чесанули через Днепр, с анкетами... Небось уже до Дона или до Волги добегают...

— Ну, ну, что ты? Не ершись, человек хороший. Как воевал — не спрашиваю. И так видно... — попытался урезонить его Копа.

— Ничего не видно! Я просто везучий, у меня на теле ни одной царапины нет. Кончится война и похвалиться будет нечем. Не то, что некоторые из окруженцев... еще и за дело не взялись, а уже в чиряках...

Малашка беспокойно поглядела на спорщиков и решила, что пора ей прибегнуть к спасительному средству.

— Чуете, мужики? Хватит вам про тую войну... Еще набалакаетесь. Выпейте-ка первака моего. Не полицаев же им потчевать.

После того, как выпили по стакану мутной жидкости, Копа рассказал удивленному Калашнику, что никакой он не окруженец и вообще не собирался эвакуироваться.

— Это дело... Значит, остались сами, по доброй воле... — еще больше похмурил Калашник.

— По партийному заданию, — поправил Копа.

Калашник долго думал, а затем сказал тихо:

— А мне никакого задания нет. Командиры перебиты, канонерка затоплена. Эх, прямым попаданием авиабомбы наш «Верный» на дно пущен. — И добавил совсем ласково: — А до этого я на катерах служил. Пограничником...

Так состоялось их первое знакомство. Поговорив о де-

— Хлопцы того лысого из лесу. За старшого у них — моряк. Теперь они с нашим, мабуть, дотолкуются.

Они прислушались к голосам за дверью, неожиданно до них донесся энергичный басок Калашника.

— А мне и тут неплохо, — говорил он упрямо.

— Ты уверена, что это партизаны? — шепнул Копа хозяйке.

— А кто их знает? Знаю только, что полицаев они у нас в селе пококали.

Копа решительно рванул дверь и шагнул через порог. Мичман оглянулся на громко скрипнувшую дверь.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Копа.

Мичман молчал, вопросительно глядя на Калашника. Тот хмыкнул.

— Вот вам охотник, ежели для вашего отряда так люди нужны.

— Мины ставить умеете, товарищ? — спросил Копу мичман.

Тот отрицательно покачал головой.

— Нам не всякие люди нужны, — обернулся к Калашнику мичман, — а такие, что знают подрывное дело. Диверсанты нужны, понимаешь?

Услыхав слово «диверсант», Копа насторожился. Слово это он тысячу раз слышал, сотни раз повторял сам только в одном, отрицательном, смысле и значении. Оно было словом антисоветским, враждебным, и, услышанное впервые в ином значении, интуитивно вызвало настороженность.

Мичман почувствовал это.

— Нет, товарищи, диверсанты — это подрывники. Нам надо подрывать тылы оккупантов. Понятно? Не пистолетом же их подрывать? Нужны мастера взрывчатки. Чтобы гром гремел... И чтоб от фрицев только ошметки летели....

У Калашника блеснули глаза.

— Словом, чтобы, как товарищ К., действовать?

— А кто такой товарищ К.? — спросил мичман.

— Да вы зайдите в хату, — сказала самогонщица, высунувшись из двери.

Мичман кивнул второму партизану, и тот отошел к воротам. Копа, Седых и Калашник вошли в хату.

— А ну, хозяйка, есть у тебя тот листочек? — спросил Калашник. И когда она достала из-за божницы листовку,

сочиненную Копой, моряк с затаенной гордостью протянул ее другому моряку. Седых с деланным безразличием пробежал ее глазами.

— Ну, вот, видишь, как люди действуют? — сказал он Калашнику. — Теперь тебе понятно, что такое организованная партизанская борьба? А ты сидишь тут, как кустарь-одиночка.

Копе понравилось, как мичман говорил об организованной партизанской борьбе, и, забывая, что он сам писал эту листовку про дела партизана-кустаря, тоном, не допускающим возражения, сказал:

— Решено! Сколько километров до вашего отряда?

Мичман пропустил вопрос мимо ушей. Он выжидательно смотрел на Калашника. Тот оглядел всех присутствующих: мичмана, ждавшего его последнего слова, хозяйку, которая с тревогой поглядывала на него, Копу, уверенного в своем праве давать указания, и сказал:

— Ладно. Поглядим, шо вы за партизаны. Пошли, товарищ секретарь...

— Шагай, шагай... — перебил его мичман.

Группа людей, миновав крайнюю хату, растаяла в темноте. Напряженная тишина накрыла село.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

На рассвете они пришли в отряд. Калашник с любопытством разглядывал заросших щетиной людей.

— Дайте, хлопцы, побриться перво-наперво, — вдруг сказал он и вынул из кармана кисет, в котором оказалась бритва-самобрейка, помазок и обломок зеркала.

Копа в это время сел на пенек, прислонился к стенке землянки и задремал. Мичман пошел доложить начальству.

Калашник уже побрился, когда появились командиры. Он встал — молодой высокий, с независимым видом поджидая, когда заговорят с ним.

— Это и есть тот сапер? — спросил грозно, но с лукавой искоркой в глазах Кучерявый.

— Ну, допустим, я, — ответил моряк.

— Фамилия? — еще громче спросил Кучерявый.

— Бесфамильный. На букву К. Может, слышали? —

И он мигнул в сторону Копы, который никем не замеченный сидел на пеньке.

— Ну, ладно,— примирительно сказал Кучерявый, меняя тактику.— Нам твоя фамилия ни к чему. Подрывное дело знаешь?

— Это я знаю.

— Ну вот и будешь с сегодняшнего дня партизаном,— сказал дед Щербина.

— Эге-ге, дедок, я раньше вашего партизаном стал,— весело ответил Калашник.— Я есть партизан-одиночка. Попросту матрос. Пять подорванных немецких танков на своей совести имею. Да машин легковых столько же. А грузовых и не сосчитать.

— То-то, гляжу, тельняшечка рябит на тебе. Значит, матрос-альбатрос, скиталец морей. На каких окоянах плавал?

— Военной Пинско-Днепровской флотилии старшина...

— Из рекаков, значит... — начал было простоватый кооператор и онемел под свирепым взглядом Калашника. Ссориться с человеком, знающим секреты минно-подрывного дела, не входило в его планы.

Наступило неловкое молчание.

Копы так бы и просидел на пеньке не замеченный никем, но комиссар Лесняк давно приглядывался к нему, вспоминая, где он мог видеть этого однорукого изможденного человека.

Копы усмехнулся: «Плохо мое дело,— подумал он,— если даже комиссар не признал. А может, и лучше для дела...» и промолвил тихо:

— Товарищ Лесняк... Отойдем в сторонку. Поговорить надо...

Когда они отошли в лес, Копы прислонился к дереву и укоризненно посмотрел комиссару в глаза.

— Неужели не узнал?

— Да вы кто будете, гражданин? — спросил Лесняк.— Поскорей выкладывайте...

— Гражданин я буду Канашевский, настоящая фамилия Копыленко, а по-партийному....

— Товарищ Копы! — изумленно воскликнул Лесняк. — Ну, брат, и разделали тебя... Где же ты пропадал?

— Пропадал, да не пропал.

Их руки сплелись в горячем рукопожатии. Три руки. Лесняк долго тряс обеими руками единственную руку секретаря. Затем они подозвали Кучерявого и Щербину.

Порешили на том, что пока все остается по-старому. Копе нужна поправка. А пока, чтоб не бросалось в глаза его особое положение, он займется хозяйственными делами.

— Пока. Для виду, конечно, товарищ Копа.

— Вот и поменялись мы местами, товарищ Кучерявый, — сказал Копа. — Теперь ты командир, а я твой помпохоз.

И они вернулись обратно к землянке, где разведчики вместе с Калашником стояли, окруженные группой партизан.

— Я сколько танков подорвал, а они говорят: «Примем тебя в партизаны!» Это еще кто кого принимать должен, — говорил хлопцам Калашник.

Подошедший первым Щербина примирительно сказал:

— Ладно, ты не обижайся. Мы же тоже не обижаемся. Вот ты говоришь, что раньше нас стал партизанивать. А я, брат, еще Григория Ивановича Котовского знаю. Вместе воевали. Каково же мне от такого сопляка, как ты, подобные слова слышать?

Моряк разинул рот от удивления.

— Ну, если котовец... — смущенно забормотал он.

— Берите его под свою команду, товарищ Кучерявый, — улыбнулся Щербина.

Кучерявый подозвал сапера к себе. Тот подошел, четко щелкнул каблуком.

— Так вот, товарищ на букву К...

— Подольский я. Калашник моя фамилия.

— Фамилию в штабе запишут. А знать народ тебя будет по твоим делам, товарищ Калашник.

Одобрительно загудели партизаны: «Калашников, Калашников...»

— А скажи, товарищ Калашник, под эшелон ты можешь мину соорудить, как под машину или танк?

— А какая разница! — ответил Калашник.

— Вот это я понимаю, вот так Калашников! — сказал Сенька Щур. Захохотали партизаны.

Калашник подошел к Копе.

— Ну, раз такое дело — пишите листовку, товарищ секретарь.

— И полную подпись? — спросил Копа, взглянув на моряка.

— Как положено!

Копа попытался улыбнуться, но Калашнику показалось, что он морщится от боли.

Спустя некоторое время Копа подозвал Калашника и подал ему листок.

Тот долго вчитывался в неразборчивые строчки.

— Понимаешь, не очень-то наловчился я одной рукой орудовать, — словно оправдывался секретарь, наблюдая за Калашником. — Левой рукой и ложку держать, и цыгарку крутить, и листовки писать... Все сразу не освоишь...

Калашник молча обдумывал что-то.

— Нет, почему же? Листовка хорошая. Но я бы попросил вас, товарищ секретарь, — еще одну написать.

Он присел на пенек и долго сидел в раздумье. Затем довольно быстро нацарапал несколько строк и протянул их Копе.

Тот прочитал раз, другой и снова скривился, словно от зубной боли.

Только сейчас моряк понял, что так выглядит на изможденном лице секретаря улыбка.

«Вроде нравится ему... а может, и не очень...» — подумал он. Но Копа взял у Калашника первый листочек и скомкал своей единственной рукой.

— Так и будет. Коротко и ясно. Как князь Святослав: «Иду на вы!».

Странная листовка появилась через два дня в Заднепровском районе.

«Сегодня я вышел из подполья. Прошу меня уважать!
Калашников».

А через неделю грохот взрывов понесся над лесами, над полями и широкими трактами. Часто вместе с минами хлопцы подкладывали листовки Копы. Народ узнал, как расшифровать таинственное обозначение: «Товарищ К.». И вскоре Калашник стал народной легендой.

Взлетала на воздух немецкая машина, и над полями словно гудело: «Калашников!»; подрывался одинокий танк, и снова: «Калашников!»; взрывались небольшие

мосты на проселочных дорогах: «Калашников!» Мчится по высокой насыпи эшелон, в теплушках, свесив ноги, галдят песни немецкие солдаты. На платформах, укрытых брезентом,— орудия. Грохот взрыва, и летят под откос, и лезут один на другой вагоны, эхом по округе — «Калашнико-о-о-в!»

2

У Чайванова помутнело в глазах и мелко-мелко затряслись колени, когда в изможденном одноруком человеке он узнал секретаря райкома Копыленко. «Тюбетейка» стал, как вкопанный. А затем, боком, боясь упасть, прислонился к большой сосне, словно желая срастись с ней, укрыться от неизбежного. Заметив, что никто не обращает на него внимания, он попятился в кусты, а затем бросился бежать. Он мчался через бурелом все быстрее и быстрее, подгоняемый своей нечистой совестью. Он пробирался через чащу, ветки хлестали его по лицу. Он не разбирал направления, а просто бежал куда глаза глядят, через поляны и кустарник, через бурелом, по лесным тропинкам, тяжело дыша и всхрапывая, как загнанная лошадь. Чайванов мог бы в зверином страхе загнать себя, если бы вдруг с разбега не остановился на опушке леса. Дальше бежать было некуда, перед ним лежало поле. Но оно еще больше, чем чаща леса, испугало Чайванова. Он остановился, прижавшись грудью к крайнему дереву, за которым началась степь, и, тяжело дыша, сполз в полуобмороке на землю. Сколько он пролежал, ему было трудно потом вспомнить. Но тишина полей и тихий, убаюкивающий шум ветвей над головою успокоили его, а загнанная мысль уже спокойнее металась в трусливом мозгу. Куда бежать дальше? Там, за этим полем, тоже враг. Страшный, непонятный. И вдруг блеснула молнией мысль. От мести партизан его могли спасти только немцы! Но как убедить их, что он не партизанский разведчик, а откровенный враг этих беспокойных и безрассудных людей? Надо что-то сделать. Что-то такое, чтобы они поверили ему. Поверили, что он не по своей охоте стал радистом партизанского отряда, что все это ему чуждо, и он готов на любую услугу. Чайванов стал вспоминать, что он знает такого, в чем нуждались бы фашисты? Какими све-

дениями можно купить жизнь? Он знает командира и комиссара, фамилии многих бойцов, знает расположение отряда, знает, что в отряде появился этот страшный Копя, который давно уже должен быть мертв. Но он жив, и пока он жив, Чайванову нет покоя.

Так он просидел на опушке леса больше часа, пока тишина и безмолвие пустынных окрестностей не успокоили его окончательно. И он решился. Как слепой отрывается от спасительной стены, которая помогает ему двигаться вперед, так и он шагнул в чистое поле. Озираясь по сторонам, уходил все дальше и дальше от леса, и, когда оглянулся, лес уже тоненькой синеватой линией чернел вдаль,— страшный партизанский лес, из которого он сам выбрался всего несколько часов назад. Он обошел два-три села, попавшихся ему на дороге, затем вошел в Заднепровск и со смелостью отчаявшегося человека подошел к бывшему зданию райисполкома, где, по сведениям партизанских разведчиков, разместился гебитскомиссариат.

Гебитскомиссар Зиммельпупф словно ждал его. Но это показалось изменнику только со страху, на самом деле гебитскомиссар и его подручный гестаповец гауптман Шульц очень мало интересовались персоной Чайванова. Сведения, которые он выложил, для них не представляли особого интереса, так как они и без него знали фамилии командира и комиссара отряда. Единственная новость заключалась в том, что Копя все же вернулся в строй, хотя и без одной руки. Но этот проклятый перебежчик не смог объяснить немецкому руководству, где находился секретарь райкома до сих пор. Отвечая отрицательно на их вопрос о скрытой конспиративной квартире страшного для них Копы, Чайванов с отчаянием думал о том, как рассказать им о бегстве от Копы в тот первый, страшный день, когда он предал секретаря райкома. Набравшись храбрости, он все же рассказал, как скакал вместе с Копой, как столкнул его с коня. И в ответ услышал брезгливое:

— Дурак! Руссишен швайн! — Поднявшись во весь рост, Шульц подошел к нему и с размаху ударил Чайванова в переносицу.

— Где находится радиостанция?

— Я закопал ее.

— Дурак! — прорычал Зиммельпупф. И, обращаясь

к гауптману, сказал по-немецки:— Если бы радиостанция работала, мы могли бы послать этого идиота в отряд и он оттуда сообщал бы нам все последние новости. Спросите его, с ним ли шифры и сможет ли он работать на другой рации.

Чайванов угодливо закивал головой и, скинув тубетейку, достал шифр.

А дальше началась вербовка. Жестокая и рассчитанная только на страх, по методу немецкой контрразведки школы полковника Николаи и фрау Доктор. Его больше не били, а только довольно внушительно убеждали в том, что теперь ему никуда не скрыться, что немецкой контрразведке все известно и будет известен каждый его шаг и помысел и только одно ему остается: дисциплина и подчинение. И чем точнее он будет выполнять приказы, чем добросовестнее слушать своих новых хозяев, тем лучше будет ему, тем больше продуктов и папирос он получит. И кто знает, какие радужные перспективы ожидают его впереди! Но только при одном условии: подчиняться и выполнять. А пока он получит первый приказ: вернуться обратно в партизанский отряд. У «Тубетейки» глаза полезли на лоб, когда он это услышал, но ему не дали и рта раскрыть. Сегодня же, сейчас же вернуться. Его отвезут на машине, на двух машинах, на броневике, черт возьми, они подъедут к самой опушке леса, обстреляют лес и высадят его.

— Не лучше ли устроить побег? — спросил гебитско-миссара гауптман Шульц.

— Можно и это,— кивнул тот головой.

3

Копа с трудом поправлялся после болезней. Он старался выполнять деятельно и энергично свои обязанности хозяйственника, кое-что ему даже удалось сделать. Комиссар не раз говорил ему:

— Брось, товарищ секретарь, прибедняться. Бери командование в руки. Что ты болен,— всем видно.

— Нет, подождем еще. Да и приглядеться надо.

Однажды на собрании коммунистов Кучерявый сказал в порядке прений:

— Ну и перегнули мы на-первах с этой конспирацией,— и засмеялся.— Это ж смехота была — своей собственной тени пугались.

— Верно,— подтвердил Копа.— Я сам из-за этого чуть не погиб.

И он подробно рассказал о своем походе к резиденту и беседах с Малашкой и Калашником.

— Вот какие промахи мы совершали... Это все по неопытности, товарищи,— заключил Копа.

— Да и сейчас продолжаем дуть в ту же дудку. Ну, зачем ты среди своих прячешься? Опять та же игра в кошки-мышки? — сказал Кучерявый.

Копа помолчал. Затем тихо сказал:

— Исправлять перегиб это не значит обязательно перегибать в другую сторону. Конспирация в нашем деле все же нужна. Ой, как нужна!

— Но только от врага конспирируйтесь! — пробурчал Кучерявый.

— Правильно. А мы такое накрутили, что чуть дело не погубили и жизни не лишились. Правильно, товарищ командир отряда. Но я все же прошу вас некоторое время меня всему личному составу не открывать... Есть соображения, которые я не могу всем...

Кучерявый покачал головой.

— Ладно, товарищ помпохоз. Можем такое одолжение сделать. Играйтесь, если еще не наигрались.

И Копа продолжал рьяно выполнять свои хозяйственные функции: взялся за организацию выпечки свежего хлеба для отряда.

Было решено, что на разведку в Заднепровск, а от туда в Киев пойдет Щербина. Последний вечер старик проводил в партизанской землянке. И хотя он собирался двинуться на рассвете, чтобы к ночи подойти к самому Днепру и успеть договориться с бакенщиками или с рыбаками насчет переправы, но разведчикам не спалось.

Дед Щербина сидел у огня и подбивал подметки, вырезанные из приводного ремня молотилки, к своим стоптанным сапогам. Мичман Седых раскуривал трубку, Калашник, вернувшийся недавно из дальнего путешествия, угрюмо лежал на нарах, а молодой разведчик-лейтенант, как старушка,— пасьянс, раскладывал на коленях огрызки топографической карты, бережно сохранявшейся у него в планшете, и допытывался у Щербины, каким путем пойдет он к Днепру. Он должен был составить та-

кой маршрут, чтобы старик шел по карте, а не вслепую. Щербина молча выслушивал его вопросы, бросал косые взгляды и с еще большим остервенением загонял гвозди в подметку. Кончив работу и зажав сапог между колен, он еще несколько минут обрабатывал рашпилем, затем бережно и гордо подержал его на вытянутой руке, с удовольствием разглядывая подошву дальнозоркими глазами. Прежде чем взяться за другой сапог, Щербина полез за кисетом и скрутил сигарку. Выпустив дым, он сказал молодому разведчику:

— В нашем с тобой положении, браток, не по картам ходят, а по русской земле. Сховай ты свои бумаги, вытащишь их тогда, когда меня убьют. А пока я живой, они тебе ни к чему.

Калашник круто повернулся на нарах, вскинул голову, подпер ее ладонями и посмотрел на Щербину, всего окутанного дымом самосада.

— Вот это по-нашему, старик,— сказал он.— Правда, товарищ мичман? Так и мы ходили.

Седых усмехнулся.

— Не скажи, товарищ Калашник. Наше морское дело без карт никуда. Конечно, у нас они морские с глубинами и берегами, а на Днепре тут совсем другое дело — больше пехотными орудовали да артиллерийскими, но тоже...

— Карты, они на море нужны,— вставил свое слово Щербина.— Вот взять, к примеру, наши Алешки... Из тех Алешек не один добрый капитан дальнего плавания да боцман вышел!..

— Из Алешек?— переспросил Калашник.

— А то как же! — ответил старик, прилаживая подметку к сапогу.— Сам действительную на Черном море ломал, а потом в гражданскую на бронепоездах и в кавалерии товарища Котовского.

Сенька Щур сказал тихо Калашнику:

— Тут, пока еще тебя не было, нам товарищ Щербина про походы Котовского не раз выкладывал.

Калашник задумался, что-то припоминая.

— Значит, из Алешек будете?

Щербина молча кивнул головой.

— А старшина первой статьи Александр Силыч Щербина вам не свояк ли?

Рука старика дрогнула, молоток упал на землю.

— Сынок... Может, служили вместе?

— Воевали разом. От самой Пины, от Мозыря и Могилева... Отважный был моряк старшина первой статьи Щербина. Его все Силычем звали.

— Когда сына видал последний раз? — шепотом спросил старик.

— До самого конца видались, до гибели, значит, «Верного», где он служил.

— А сын?

— Погибли они вместе. Лодка канонерская от прямого попадания авиабомбы и сынок ваш. Вон мичман Седых знает.

— Сам видал?

— Так точно. Я на шлюпке на берег ходил связь устанавливать, когда пикировщиков целая туча налетела. Уж очень не давали мы фашисту житья. Вот он авиацию и бросил.

В землянке воцарилась тишина. Партизаны с участием смотрели на старика, голова которого опускалась все ниже и ниже. Калашник сел совсем рядом и, полюбив старого котовца за плечи, сказал:

— Отважный был моряк ваш сынок, папаша. Это же на всю флотилию удивление, когда он под прямым огнем противника орудовал. Это еще раньше, недели за три до гибели было. В бою под Чернобылем монитор потерял ход, решили мы брать его на буксир. Подошли близко. Сынок ваш на секторе руля. А с берегов фашист пулеметный огонь ведет, из минометов стал пристреливаться. И вот наш Силыч, то есть старшина первой статьи Щербина, лежа, принял конец и выбрал буксирный трос. Но не успел закрепить, как на палубе мина разорвалась. Ушел буксир в воду. Второй буксир завели. Дали тихий ход, набираем скорость, буксируем. Снаряды кругом рвутся. Хода нет настоящего. И вот течение, сама стремнина то есть, разворачивает корабли носом против течения. Якорь-цепь застряла в клюзе.

— Вот незадача, — вздохнул мичман Седых.

— Но из-под прицельного огня противника покамест вышли... Выбирается на бушприт старшина первой статьи боцман Щербина. Пытается якорь-цепь привести в порядок. А тут наше носовое орудие — товсь! Огонь! Из главного калибра! Все-таки воздушная волна порядочная. Вот и снесло его с бушприта. На полном лету наш

отважный моряк за левый борт зацепился. Подтянулся обратно на палубу к бушприту и выбрал-таки якорь.

— Правильно,— подтвердил мичман Седых.— Весь отряд кораблей видел ловкость и бесстрашие моряка... Только я не знал тогда, что это и есть боцман Щербина.

— А через несколько недель потопили нас,— сказал Калашник.

— Прямое попадание авиабомбы.

Долго молчали партизаны. Старый Щербина встал и неверной, шаткой походкой направился к выходу из землянки. А Калашник, обращаясь просительно к мичману, сказал:

— Может, вы, товарищ мичман, проводите деда? Расскажите ему про славные дела нашей Днепровской флотилии, все-таки старику легче станет.

Когда мичман вышел, Калашник долго сидел у печурки, затем взял не оконченный стариком Щербиной сапог, осмотрел его внимательно, приладил меж колен, поднял молоток и стал аккуратно вколачивать в подметку деревянные гвозди.

А когда забрезжил синеватый рассвет, Сила Иванович Щербина уже был готов к трудному походу. Он стоял на поляне с клюкой и мешком за плечами, в сапогах с новыми подметками,— попрощался с партизанами. А затем решительно зашагал днепровскими плавнями по одному ему ведомым тропам.

Вернулся он через неделю хмурый, почерневший весь. Доложил разведанные командованию ровным, бесстрастным голосом. Только в конце рассказал о гибели пленных моряков Днепровской флотилии.

— Свояченица из Заднепровска вместе с соседкой живет в Киеве, так рассказывали. Вони своими глазами видели, как в осеннюю стужу мимо Сенного базара вели на казнь полураздетых, окровавленных моряков. А вони идут и спивают тую моряцкую писню про «Варяга»,— говорил Щербина, вытирая мокрые от слез глаза.

Мичман Седых сильно призадумался. Вполне возможно, что это последняя весть об экипаже погибшей канонерской лодки «Верный», где он служил командиром БЧ-1. Или это морская пехота из полуэкипажа майора Добржанского, чекиста, с честью пережившего черный год незадолго до войны и павшего смертью героя где-то под Броварами. А может, и остатки экипажей мони-

торов, потопленных в неравных боях при сдаче Киева.

Никак не могли понять партизаны суровую задумчивость которая охватила молодого мичмана после того, как старик Щербина принес весть о трагическом шествии моряков вдоль развалин Крещатика.

Не знали они, что стоило ему закрыть глаза, как в ушах возникал знакомый голос боцмана «Верного» — Силыча, как звали старшину Щербину молодые матросы. Седых стискивал зубы, но сильный, словно сигнальная труба, голос звучал в его ушах.

Наверх, вы, товарищи! Все по местам.

Последний парад наступает!

Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

Пощады никто не желает...

Мичман Седых хорошо знал, что геройского боцмана уже нет в живых. Он погиб от прямого попадания авиабомбы, от которой и «Верный» пошел ко дну, но знакомые голоса матросов настойчиво звали его из лесов к Днепру, к морю.

Но ни мичман Седых, ни Калашник, ни другие партизаны не знали, что Щербина принес из Киева не только плохие новости.

Долго ходили Щербина с Копой по лесным тропам, а затем вместе с Кучерявым и Лесняком совещались. После второго похода старого котовца под Киев в отряде появилась радистка Катя. Никто, кроме командования, так и не узнал, что Щербине по паролю Копы удалось связаться с подпольным центром, и только один Копа знал, что этим центром руководит товарищ Демьян.

«Тюбетейка» благополучно вернулся в отряд. Партизанские посты, правда, заметили две немецких бронемашины, которые, ныряя на ухабах полевой дороги, приблизились к лесу и открыли огонь. Но постовым не было видно, как из одной бронемшины выскочил человек и бросился в лес. Гауптман Шульц подождал несколько минут и лично послал ему вдогонку очередь из пулемета. Разрывные пули шелкали вокруг «Тюбетейки» где-то в вышине. А он бежал, бежал обратно

в отряд. И думал лишь о том, как убедить Кучеряво-го и Копу в том, что перед расстрелом он думал лишь о том, как перед смертью крикнет: «За Родину! За Сталина!» Но в последний момент, когда фашисты зазевались, он бросился бежать и вот спасся. А если начнут допрашивать, как попал к немцам, отвечу: схватили на окраине Горячковки, куда ходил за самогонкой. Дадут плетей и похвалят за храбрость.

Но все как будто обошлось для Чайванова благополучно. Он словно оттаивал от ледящего страха, который не оставлял его давно. Иногда он замирал на миг и вытирал липкую испарину. Но наглость — следствие безнаказанности — все больше и больше овладевала им. И он явился к немцам на первую явку.

— Итак, первая задача агента заключается в том, чтобы получить возможность работать на партизанской радиостанции вместе с девушкой по имени Катя. Если надо будет, мы отремонтируем закопанную рацию, а затем вернем ее обратно командиру отряда Кучерявому и вашему замечательному руководителю, партийгеноссе товарищу Коле, — заржал, представив себе эту картину, гебитскомиссар Зиммельпuff.

Тюбетейке выдали шнапса и пообещали сразу же после того, как он выдаст Кучерявого и Копу, послать в Берлин, где он сможет жить припеваючи.

4

Глухой осенней ночью тетку Марию, солдатку, проводившую на войну двух сыновей и мужа, разбудил шум на улице. «Это не немцы», — решила она, соскакивая с печи, и неосторожно загремела пустыми чугунами и горшками, стоявшими на лавке у припечки. Небрежно сунув давно не бывшие в употреблении горшки под лавку, чтобы, упаси бог, и этого не побили, хозяйка прильнула к подслеповатому окошку, затянутому несмывающимися радужными разводами. «Кой черт их носит по ночам, — думала солдатка, наблюдая за движением на темной ночной улице, — И куда от них скрываться? В подполье или бежать через двор в такой же пустой и холодный погреб?» Вдруг в окно тихо стукнули,

— Свят, свят, свят... Кто ж такие будут? — прижавшись к дверям, закрестилась солдатка.

Ночные гости не были похожи на вновь пришедшую немецкую часть. Судя по осторожному стуку в окно, это не были и каратели, заскакивающие, как ураган, ночным временем в село. Осторожный стук раздался теперь у дверей. «Будь, что будет,— подумала Мария,— братъ у меня нечего, в неметчину — стара и слаба стала...» А в голове мелькнула мысль, горячей волной отозвавшаяся во всем теле: «Не сыночек ли который, а может, и сам хозяин? Может, на старости судьба смилостивилась надо мной...» Ступая босыми ногами по холодному глиняному полу сеней, она дрожащей рукой взялась за клямку. Стук в дверь повторился, такой же робкий и осторожный. Сцепив на груди пальцы, ждала солдатка, не в силах от волнения подать голос. За дверью кто-то стоял.

Мария имела основания так думать: у многих поприходили сыновья и мужья. Но вылетело из закружившейся головы, что приходили хоть и так же, ночью, но по одиночке, не гремели по подмерзшей земле повозки, запряженные конями, не расхаживали по ночам, пусть осторожно, но группами люди. «Не каратели ли это?» И, решившись, она повернула немудрящий вертушок, неплотно прижимавший дверь сеней. С крылечка, чиркнув сапогами по высокому порожку, в темноту шагнул, низко пригнувшись, высокий человек и, тихо проговорив: «Здравствуйте», остановился, ожидая ответа. Голос был незнакомый, простуженный, чужой. Махнув рукой, солдатка рванула дверь в хату, первая перешагнула порог и остановилась у печи. Непонятное безразличие охватило ее, и, обессилев от пережитых и несбывшихся надежд, солдатка опустилась на лавку. Человек, вошедший в хату вслед за ней, чиркнул спичкой, поискал глазами каганчик и, не найдя ничего, тем же тихим и хриплым голосом попросил прощения за ночное беспокойство.

— Какое уж спокойствие,— перебила его солдатка.— Забыли, когда и спали, как люди.— И грубо спросила:— А чего вам надо-то, ночной гость?

— Мы, мать,— советские люди...

Горько усмехнувшись, солдатка ответила нелюбезно:

— Слышу по разговору, что не немецкие... А советские все на войне. Тут одни оккупированные да пленные остались. Гитлеру проданные на веки вечные в неволю.

Присаживаясь на лавку и чиркнув еще раз спичкой, человек, уже немного осердившись, перебил солдатку:

— Партизаны мы, мать. Народные мстители — может, слышала? Надо нам хлеба за ночь напечь.

И по тому, как были сказаны эти слова — без похвальбы и без обещаний, она поняла. Что-то подняло солдатку с лавки, заставило нашарить в печурке припрятанную ею немецкую, похожую на баночку гуталина, коптилку и поднести к ней спичку. Когда огонек разгорелся, она взглянула на сидевшего рядом с ней человека — усталого, заросшего жесткой щетиной, и всплеснула руками:

— Откуда же я вам хлебов напеку? Ни муки, ни соли. Дз и дров охапочка!

В сенях послышался шорох, потом что-то загремело, и в хату вошли два здоровых румяных парня, неся за углы, как резаного кабана за уши, мешок с мукой. Крякнув, они бросили его у двери, и один из парней, оглядевшись, заметил:

— Бедно живете, хозяйка...— И, взглянув на того, что сидел на лавке, добродушно прищурившись, добавил: — Две печки успеете к рассвету? А остатки муки — за работу.

Другой молча подошел к столу, так же молча высыпал из кармана горсточку соли.

— Товарищ старшина, мы пошли! Осталось еще на три хаты.— И хлопнули дверь.

Обоняние солдатки ласково щекотал запах свежей муки, легким инеем осевшей на полу вокруг мешка. Глаза ее потеплели, и, глянув на молчаливого, видимо, очень уставшего ночного гостя, солдатка схватила ведро и кинулась к печке. Она тихо и смущенно засмеялась, словно извиняясь.

— Я уже забыла, когда и печь топила как надо. Сварю себе на шестке затирку и — вся еда... Ох и воды теплой нема. Вам к какому часу хлебы нужны, паны-товарищи?

Подняв голову, сидевший на лавке просительно сказал:

— К рассвету, мать, если успеете.

Солдатка поставила на стол баночку-каганец и, как бы что-то соображая, остановилась посреди хаты. Поняв это как нерешительность, человек медленно заговорил:

— Если вам трудно, мать, то не беспокойтесь, Пере-

дадим другой хате. Я крикну ребятам,— и начал с трудом приподниматься.

Женщина мягко нажала ладонями ему на плечи и, усадив обратно на лавку, проговорила:

— Управляюсь, не турбуйте. Отдышитесь трошки, а я сейчас,— и вышла из комнаты.

Она сразу ощутила пальцами, что одно плечо у него ниже, и произвольно провела ладонью по пустому рукаву; но не ойкнула, не задала никакого вопроса. Только не могла подавить тяжелого жалостливого вздоха.

Через минуту солдатка вернулась в хату, неся охапку сухих дров, и, бережно опустив их у печки, проговорила:

— Вы разделись бы. А муки мне вашей не нужно. Одна я осталась. Много ли надо одной душе? Я две дежи успею расчинить...— И, загремев заслонкой, ловко сложила в устье печи небольшой костер. Когда весело затрещали сухие мелкие дрова, хозяйка, ловко поддев рогачом, засунула глубоко в печь весь костер и сверху положила крупные, тяжелые плахи — для угля и жару.

В хате стало светло. Удивительный уют и покой создавала ярко горящая печь. Дрова стреляли веселыми искорками, радужные блики играли на подслеповатых окошках. Давно уже не видел Копа этого семейного уюта; леса, овраги, землянки, омшанник вот уже около полугода были его домом.

Все так же неторопливо, но ловко достала солдатка из-под лавки дочиста выскобленную дежу. Видно было, что в этой деже ставились когда-то хлеба на большую крестьянскую семью. На дне лежал маленький кусочек закваски, прикрытый тряпицей. И, судя по тому, как тщательно повязала женщина голову косынкой и только после этого начала расчинять хлеба, понял Копа, что была она хорошей хозяйкой и умела ценить хлеб и труд. С усилием поднявшись, он спросил, не надо ли чем помочь и когда можно будет прислать ребят за готовыми хлебами.

— Пока печь топится, я поставила чугуны с водой, может, надо постирать чего... Пусть приходят, кому нужно.— И, усмехнувшись, прибавила:— Скажите хоть как вас величать-то по имени-отчеству, товарищ народный мститель?

Стоявший около дверей обернулся и ответил неохотно:

— Спросите, если будет нужда во мне, старшину хозввода. Любой партизан вам покажет...

— А скажите, товарищ старшина хозввода,— птицей кинулась к нему солдатка и прислонилась к стене у самой двери, как бы загораживая ему выход,— а скажите, будьте ласковы, нет ли у вас военных в отряде?

О чем-то подумав, партизан махнул рукой и ответил, как отрезал:

— Нет. Нема...

Ответил он так не потому, что в отряде не было кадровых военных,— уже появились вставшие в строй после ранения окруженцы,— а просто подумал про себя: зачем знать об этом женщине, сегодня на рассвете опять остающейся без защиты и без помощи? Кто встанет у нее на постой, может быть, еще не раз до конца войны, кто и как разбудит ее среди ночи и с какими вопросами будет приступать? Поэтому-то так твердо ответил «старшина хозввода» — «нет». Но, взглянув на ее помрачневшее лицо, невольно спросил:

— А у вас, мать, есть кто на фронте?

Солдатка с трудом оторвалась от стены и вернулась к столу. Сухими скрюченными пальцами она принялась раскатывать тесто. Ласково прилепывая кусок сырого, ползущего из рук теста, как малого ребенка, и укладывая его на посыпанную мукой столешницу, вяло ответила:

— Все трое моих на войне... А где та война идет — неизвестно.

Старшине захотелось утешить солдатку.

— Фронт далеко ушел, а мы пока фронт замещаем...

— А, господи, всю жизнь прожили, во всем себе отказывали, все оборону строили... Армию в хромовые сапожки обували, белым хлебом кормили, а хлопцы мои погодки ще малыми все песни спивали про свою землю, что не отдадут ни шагу...

— Ни пяди, мать,— машинально поправил старшина и торжественно проговорил:— Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим... А что? Все равно, мать, правильные слова...

— Да где же правильные, товарищ старшина хозввода?— вскинулась солдатка.— Вот, недалеко ходить,

вам, к примеру, уже пора на покой, а не с винтовкой по ночам по чужим хатам таскаться, хлеб пекти.

— Все верно, мать, все верно,— думая о чем-то своем, ответил Копа, глядя на ловкие руки, непрерывно делавшие свое извечное женское дело.— Да вот она война какая пришла на нашу землю, что и вам в ночи спать не дала... Вы уж простите за беспокойство. Это мне соседи к вам посоветовали обратиться, говорят, одинокая и хлебы замечательные печет...— И вышел из хаты, тяжело ступая.

На рассвете в хате Марии по всем лавкам были разложены румяные караваи, покрытые чистыми холстами. В хате стоял тот мирный, теплый и обнадеживающий запах, который всегда держится в избе после хлебопечения.

На столе лежала груда перепечек, обсыпанных мукой, и чисто выстиранный и высушенный мешок, в котором хлопцы принесли муку, а сама хозяйка, уморившись от ночной работы, примостилась у окошка и глядела на улицу, напряженно ожидая чего-то.

5

Чайванову удалось втереться в доверие командования. Командир и комиссар были не против иметь резервного радиста, поэтому оберегали его от всяческих военных случайностей, не пускали даже в разведку. Сами того не подозревая, они лишали его возможности связаться со своими хозяевами. Тюбетейке без свидетелей из лагеря выйти было трудно — надо связываться по радио. Все надежды пока он возлагал на аппарат Катюши. Но и тут ему не везло. Катя ему явно не доверяла и никак не хотела допустить его к своей рации. То ли он испортил с ней отношения чересчур явным ухаживанием, то ли просто интуитивно девушка чувствовала к нему отвращение. Тогда Тюбетейка пошел ва-банк и пожаловался на нее комиссару. Лесняк вызвал к себе радистку и долго уговаривал ее, пока она вдруг не ударилась в слезы.

— Что хотите со мной делайте, а рацию такому не доверю! — размазывая слезы, говорила Катя.

— Да чем же он «такой»? — насторожился комиссар.

— Липнет, как репей к собачьему хвосту...

— Ну, это не причина нашему радисту не доверять. И мотив твой, я бы сказал, с дефектом,— настаивал комиссар.

— Хоть стреляйте — не доверю,— стояла на своем Катя.

— Ты, голубушка, личные мотивы в солдатское дело не путай! — рассердился комиссар. — Мало ли чья вывеска тебе не понравилась! — И в шутку добавил: — Чем он тебе не жених? При его военной специальности он, наверняка, живым с войны вернется... Определенно жених перспективный. А?

Слезы на Катиных глазах мгновенно высохли, и она перешла в контратаку:

— Я — солдат! Я вам не кисейная барышня. Мне сам товарищ Демьян задачу ставил! Я комсомольский билет ему лично в руки сдавала. И присягу принимала. А в школе радистов нас бдительности учили и конспирации. Не доверю свое личное оружие, то есть рацию, никому! Комиссар сначала опешил от такого напора. А затем смотрел на нее даже с восхищением.

Чтобы как-то замять неприятный разговор, радистка закончила:

— А что касается женихов, то я еще не перестарок, будет у меня время для этого и после победы!

— Скажите, какая идейная радистка! Она меня еще будет конспирации учить,— развел руками комиссар. — Мы, Катерина, всю эту конспирацию на собственной шкуре испробовали. Уж как законспирировались — совсем без связи остались. Все узелки, пароли и концы у одного человека в руках были. Думали, погиб — и все оборвалось. И сидели мы, голубушка, с этой конспирацией, как коты в мешке. А ну, как и с тобой какая случайность?! Пуля, она дура, да еще и шальная, а человек — он создание хрупкое и ему девять грамм с избытком хватает на дорогу в рай. Так-то, дорогая ты наша радисточка, наши глазки и уши!

И Тюбетейку прикомандировали к радиовзводу.

В хате у стола, над картой, сидел задумавшись командир. На подоконнике, пристроившись поближе к свету, одним пальцем тюкал из машинке мужчина с лихим

чубом. Вторя стуку машинки, из-за печки цвиркал сверчок. Дверь широко распахнулась, и вслед за облаком холодного воздуха в хату вошел Калашник. Он был в аккуратно подшитых валенках и полушубке. На боку висел маузер.

— По вашему приказанию явился, товарищ командир! — вытянувшись и приложив руку к ушанке, отрапортовал он Кучерявому.

— Проходи, садись, гостем будешь, — положив руку ему на плечо и подталкивая к столу, пригласил командир.

Калашник снял шапку и, приглаживая пушистый чуб, сел к столу.

Почесывая затылок и немного отчего-то смущаясь, командир обратился к тому, что тюкал на машинке:

— Ну, как, готов список?

— Сейчас, — ответил тот, не оборачиваясь, продолжая тюкать и шуршать бумагой.

— Вот что, морячок, а по совместительству сапер. Просьба-команда тебе от командования отряда, — начал Кучерявый. — Подобрали мы по спискам ребят помоложе и пограмотней, надо тебе, друг, научить их минам. Научить по всем правилам.

— Слушаюсь, товарищ командир, — поднимаясь с лавки, ответил Калашник. — Только матрос я...

— Матросские твои доблести при тебе останутся, а ты нам сейчас нужен как спец по минно-подрывному делу. До зарезу нужен! Вот тебе список. А ежели, которые неспособные, — докладывай... Ну, желаю...

Калашник молча взял под козырек и, повернувшись, хлопнул дверью.

Через несколько дней к вечеру Копа обходил хуторок, беседовал с крестьянами.

В одной хате, куда он зашел, стол был выдвинут на середину. На столе стояла лампа-молния. Вокруг гесно сидели молодые хлопцы и, щурясь на яркий огонь, напряженно следили за руками Калашника.

На столе были разложены мины, капсюли, взрыватели. Ловко собирая мину, матрос пояснял.

— А это сюда... А вот эту штуку — вот так... Всем видно? И вот она, голубушка, готова... На этом, товарищи, теоретическая часть наших уроков закончилась.

Одно прошу помнить: сапер, так сказать, ошибается один раз... Все!

Молоденький, напряженно слушавший несложные объяснения парнишка потянулся к mine, лежавшей на столе. Удержав его руку, Калашник сказал:

— А ты, Сашок, пойдешь сегодня со мной на задание. Практически, так сказать, будешь изучать...

Парнишка с готовностью вытянулся, преданно глядя в глаза матросу.

Ночь. Тишина. На высокую насыпь выползают двое. На ярко освещенной луной дороге отчетливо видны их тени. Это Калашник и Сашок. В крутой выемке скрывается мощеная булыжником, присыпанная снегом дорога.

Группа, от которой отделились эти двое, заняв удобное для наблюдения место, осталась метрах в двухстах от дороги. Сашко с Калашником выползли на насыпь.

Калашник снял бушлат и, ловко орудуя лопатой и помогая себе руками, приговаривал:

— Гляди, теперь эту — сюда... А сейчас вот так, — он уложил мину и засыпал ее землей и снежком. — А теперь — назад.

Пятясь, тихо поползли хлопцы, но Калашник вдруг остановился.

— Проверить надо. — И рванулся к mine, от которой они отползли уже метров на пять. Парнишка схватил Калашника за ногу и залепетал:

— Не ходи, не ходи! Все как надо, я помню...

Повернув к парнишке неожиданно злое лицо и сильно ударив его по плечу ногой, сапер, оскалив зубы, прошипел:

— Путаются тут под руками! Сейчас проверю клеммы...

Быстро пополз вниз парнишка. Так же быстро вверх по насыпи дороги вскарабкался Калашник. Протянул руку к тому месту, где была замаскирована мина, но раздумал. Посмотрел вниз, под насыпь, где угадывалась фигура его напарника.

По рельсам прошла словно какая-то дрожь. Раздалось легкое потрескивание. Калашник зло хмыкнул и, не дотронувшись до мины, быстро скатился с насыпи. По рельсам уже шел гул.

— Поздно. Поезд приближается, — вздохнул он. Оба вскочили и отбежали шагов на двести.

Когда поезд приблизился к заминированному месту, молодой минер даже зажмурился. Но грохот поезда уже стал затихать, а взрыва все не было. Когда им обоим стало ясно, что мина не сработала, Калашник сел на землю и, накрывшись с головой кожухом, закурил:

— Да-а, — протянул он, затягиваясь. — Выходит, что минер ошибается не один раз. Так, что ли? Ну, пошли...

Это была хотя и первая, но, к несчастью, не единственная и не самая худшая из ошибок. Все же, несмотря на промахи новичков, Калашник обучил восемь партизан подрывному делу. Теперь все загремело вокруг. Только одно было плохо — приходилось уходить на диверсии за сто километров. На каждое дело с дорогой туда и обратно нужно было не менее недели.

Как-то Калашник с хлопцами добрались в расположение отряда к вечеру. Тридцатикилометровый марш по галой дороге измучил хлопцев. У передовой заставы они подтянулись, приладили на себе трофейное оружие и выстроились перед землянкой Кучерявого такие бравые, что поглядеть — сам черт им не брат. Изю всех землянок высыпали бойцы. Ласково-насмешливые и откровенно-завистливые возгласы были слышны вокруг.

— Трофейщики!.. — цокая языком и приплясывая, кричал один.

— Барахольщики! — поддерживал его другой с сожалением в голосе.

— Правильные робятки, — почесывая заросшие щетиной щеки, с уважением покрывал голоса галдящих третий.

Из землянки, застегивая ремень, вышел Кучерявый. Четко стукнув каблуками, Калашник вытянулся в струнку и отрапортовал.

— Товарищ командир, задание выполнено! — и кинул взгляд на своих хлопцев-диверсантов.

Сенька Щур, не дождавшись продолжения рапорта, нерешительно добавил:

— Потерь нет...

Кучерявый, сощурившись, осматривал ребят. В гла-

за настойчиво лез висевший прямо на пупке у Сеньки Щура немецкий парабеллум — надежного боя пистолет. На почерневших от усталости и холодного ветра лицах бойцов блестели веселые, довольные глаза.

— Командование объявляет вам благодарность,— начал Кучерявый.

Спеша закончить, так сказать, официальную часть, минеры дружно гаркнули: «Служу Советскому Союзу!» Но Калашник успел перехватить взгляд Кучерявого и, сломав строй, вразвалку подошел к Сеньке. Бесцеремонно отстегнув трофейный пистолет, он на ладони протянул его Кучерявому.

Тот, не имея сил отказаться, обеими руками принял дорогой подарок, крепко пожал руку Калашнику и отвернулся, прилаживая пистолет на пояс.

Губы Сеньки обиженно дрожали. Калашник обнял его за плечи, повернул лицом к кухне, откуда доносился аппетитный запах похлебки, и сказал негромко:

— Гуляйте, мальчики, до тети Фени... Пока варево горячее...

— Ты мне рапорт об операции по всей форме подай — в письменном виде и немедленно,— сказал вслед уходящему Калашнику командир отряда, не отрывая глаз от пистолета.

— Есть — по форме! — не оборачиваясь, почти крикнул Калашник, уводя Сеньку Щура от землянки командования.

На врытый в землю стол тетя Феня, отрядная повариха, уже ставила с грохотом миски. Чуть поколебавшись, нырнула головой в кусты, торжественно выудила пол-литра мутно-белесой самогонки и, повернувшись к подходящим хлопцам, ласково запела-запричитала:

— Идите, детки, идите, дорогие... — и, без всякого перехода замахнувшись поварешкой на окружавших минеров партизан, заорала: — Дайте детям покушать! Спокою им надо — не толпитесь около... Лежебоки и лодыри — во вторую смену...

Калашник примостился рядом с Сенькой Щуром. Доставая из-за голенища ложку, он примирительно сказал:

— Будет тебе, Семен, не маленький... Я сам тебе добуду...

Сенька отвернул лицо и, обжигаясь огненной похлеб-

кой, забурчал, но так, чтобы не слышали стоявшие не-
вдалеке хлопцы:

— Уж, кажется, и не из трусливого я десятка, а в
этот раз полные штаны наклал, пока этого фрица сва-
лил. Даже думал, что конец мне... И просто обидно, что
ты не предупредил заранее, дескать парабеллу эту,
мол, командиру отдать придется... Я бы, эх! — И поднес
к губам «партизанскую норму».

Тетя Феня в это время налила стакан Калашнику.

— Так получилось, сам не думал, — отстраняя от
себя самогонку и передвигая ее по столу к Сеньке,
оправдывался Калашник.

— Брось, Семен, не расстраивайся. Раз надо, зна-
чит надо... Комвзвода знает, что делает...

К столу подскочил Сашок и, почтительно приложив
руку к кубанке с яркой ленточкой, доложил:

— Товарищи диверсанты! Товарищ «бригадир» ди-
версионный! Нары к вашим услугам, печка — как дом-
на, покой полный обеспечить возложено на меня! — И,
стрельнув глазами, широким, приглашающим жестом
показал на землянку.

Даже не взглянув на Сашка, Калашник направился
к приготовленной землянке, на ходу расстегивая план-
шет и доставая листок бумаги для «рапорта по всей
форме».

Катя работала на ключе. Тюбетейка сидел верхом
на седле, похожем на велосипедное, и крутил солдат-
мотор. Крупные капли пота сползали по его лицу. По-
явился вездесущий Сенька Щур, насмешливо посмотрел
на Тюбетейку.

— Хитра штука — лисапет, — подморгнул он девуш-
ке. — Ну, как помощник, — соответствует? На одну эту,
как его, — он почесал затылок и лукаво посмотрел на
радикку, — конячью силу — тянет?

Катя засмеялась. Вместе с ней захохотал и Щур. Тю-
бетейка угрожающе посмотрел на Сеньку.

Не получалось у него с этой упрямой девушкой. «К
рации не подходи — и все тут», — строго приказала она
и даже один раз схватилась за пистолет. А время шло.

Больше всего боялся Чайванов угрозы гауптмана
Шульца: «Если будешь вилять, мы выдадим тебя пар-

тизанам...» При одной мысли об этом Тюбетейка заморгал от ужаса. Надо было во что бы то ни стало дать о себе знать в гестапо. Но дело осложнилось тем, что командование отряда решило переменить базу. Из плавней отряд перекинулся в Заднепровские леса.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В эти весенние дни, когда по окрестностям уже гремела слава о действиях партизан и все больше и больше разносилось грозное для фашистов и их прихвостней имя Калашникова, Роберт Вольф почти поправился. Дарья Власьевна так привязалась к нему, что почти не отходила от раненого, хотя прямой нужды в сиделке уже не было. Она помогала ему вставать и передвигаться по хате. Квартирант шагал, тяжело опираясь на палку, и морщился от боли. Иной раз, ступив на больную ногу и скрипнув зубами, он крепко обнимал ее за шею и останавливался передохнуть.

Но рана заживала медленно, а время шло. Власьевна стала даже по-матерински ласково звать его на свой манер: Романом. Он напоминал ей сына. Но однажды, сразу после ловкой операции Калашника, всполошившей всю область, Вольф заявил, что завтра на рассвете уходит к партизанам. Это известие как громом поразило хозяйку. Она готовилась к этому, но ей казалось, что будет это не так скоро, а может быть, и вовсе обойдется.

Роберт ходил, угрюмо глядя себе под ноги. Изредка бросал взгляд на сидевшую у самой двери заплаканную хозяйку.

Это была та, что поила его в кукурузе водой из тыквы. Та, что рисковала своей жизнью ради неизвестного ей, умирающего человека. Понимая, что обязан ей жизнью и видя ее привязанность, он невольно раздражался:

— Я, наконец, не имею права!— уже не замечая и не скрывая своей хромоты, пристукивал он костылем по полу. Подошел к окну и выглянул в степь.

— Все равно, сынку, не уходи,— зашептала упрямо Власьевна.

Роберт присел на лавку рядом с хозяйкой. Ласково заглянул в глаза:

— Матинко моя, поймите! Я танкист, я немецкий язык знаю. Генерал говорил: для разведки нашей я — клад. Скрываться дальше? Да это же предательство! Я присягу давал, не могу я иначе...

Долго убеждал ее Вольф, и она все понимала, но твердила свое:

— Я ж не хочу людям зла, Я сына отдала. Не плакала. Теперь тебя выходила — как на свет народила. За что ж я должна и это счастье отдать? Я же его из рук у смерти вырвала!

Танкист молчал, не зная, что ответить. Смотрел в окно.

— Чуешь, Романэ? — всхлипнула Власьевна.

— Счастье тогда хорошо, когда оно достается нам не за счет чужого горя, — упрямо ответил Роберт.

И Власьевна вдруг сдалась.

Тяжелое у них вышло прощание. На следующее утро, на рассвете, Дарья Власьевна подала своему Роману сумку с харчами.

Вольф молча поцеловал ее и, хромая, зашагал по дороге.

Широкая, бескрайняя степь. Только лощинки да овраги с крошечными лесочками. По степи шел человек, останавливался, прислушивался, оглядывался. Когда замечал издали проходящие немецкие машины, — прятался в лощинах.

Пережидал и снова шел по степи человек. Свернул с дороги в сторону, спустился в овражек, присел, наблюдая за молчаливым безлюдным лесом.

Он устал. В мешке уже давно ничего нет. Съедены последние крошки. Прислонился к кривому дубку, выросшему около большого трухлявого пня, и сам не заметил, как уснул.

Проснулся он от резких выкриков и шума. Вокруг него человек шесть — глаза в упор.

— Ты кто?

— Окруженец.

— Все мы окруженцы.. Зараз ты кто?

— Никто.

Шепот через плечо командира:

— Товарищ командир, двое суток мы его выслеживали, чего человеку надо? Что он вынюхивает, этот шакал хромой? .

Вольф понял — он нашел то, что искал, и громко сказал:

— Партизан ищу.

— И Эрих Кох, и полицаи, и Степан Бандера — все они тоже партизан ищут...

Вольф встал. Партизан с одной рукой кивнул ему головой, а командир отошел в сторону и зашагал назад — вперед.

Кучерявый, всегда очень осторожно относящийся к приему в отряд новичков, отошел с задержанным в сторону от своих, позвал только однорукого

— Садись, потолкуем. Значит, в партизаны хочешь? Чем же ты нам можешь быть полезен? Нога-то у тебя как?

— Нога срослась. Ходить могу.

— Ну, допустим. А еще чем?

— Я танкист. Машины знаю, мотоциклы... И немецкую технику.

— И немецкую? — удивился Кучерявый. — Откуда?

— Я много литературы ихней — инструкции, технические наставления — читал.

— По-немецки знаешь?

— Говорю свободно.

— Постой, постой. Да ты не из колонистов случайно? Фамилия?

— Вольф, Роберт Вольф... Александрович.

— Вот это да! — проговорил про себя Кучерявый и отошел в сторону, кивнув бойцам, чтобы присмотрели.

Они о чем-то долго совещались в кустах с комиссаром и одноруким.

— Вот что, товарищ, — сказал Кучерявый, возвращаясь к Вольфу, — принять тебя в отряд не можем...

Копа увидел, как изменился в лице человек.

— Гляди, как из петли вынутый, — шепнул он комиссару. Затем подошел к Вольфу и неловко взял хромого окруженца за локоть. — Не можем принять, — тихо сказал он — Понимаешь, отряд маленький, рисковать не имеем права. Но все же задание тебе даю... Выполнишь — тогда другое дело.

Отошел с ним в степь, Тихо, чтобы никто не слышал, заговорил:

— Поступай на службу к фашистам, раз ты их язык хорошо знаешь. Вот тут, в райцентре, и поступай. Ну, скажем, в МТС,— сам говоришь — технику их знаешь. Договорились? Мы тебе пароль, явочную дадим. Понятно?

2

Шло время. Партизаны привыкли ко многим неудобствам своего заячьего положения. Несли караулы, ходили в разведку, просились с Калашником на диверсионные задания. Время от времени меняли место стоянки — «из стратегических соображений», как любил выражаться Кучерявый: когда на базе оставалась одна мороженная картошка, перебирались на новую. Балагурили у костров длинными темными вечерами, негромко пели песни, все подряд, какие знали. Только с боеприпасами становилось все труднее и труднее. Каждый патрон и особенно мина были на строгом учете. Добывать мины становилось все труднее. Выискивали где только можно снаряды, с риском для жизни топили из них тол.

Как-то сидели хлопцы около костра, ворошили рогульками поспевающую картошку и вели разговоры о жизни.

Отворачивая лицо от жара, напрягая голос, чтобы быть услышанным всеми, Тюбетейка говорил:

— От человека, братцы, осталось в нас немного... Жрем картошку в мундире, спим в землянках на еловых сучьях, а помыться и разговоров нет... Словом, каменный век,— зверье!...

Что-то оскорбительное было в его тоне. Наступило молчание. Каждый пытался разобраться — прав ли он. Ни для кого не было откровением его замечание. Действительно, вшей выжаривали на костре, мылись от случая к случаю и то больше разведчики, а из котла нередко доставали полусырую конину — и ничего, не жаловались. Притихли ребята, но тягостное молчание разорвал голос Кучерявого:

— Перинку ба! Да нянюшку помоложе, а так какая

же война без няньки?! Самим, небось, непривычно вшей выжаривать. Маникурщицу бы еще... — и, отстегнув от пояса финку, протянул Тюбетейке. — А когти ты великолепно сам можешь вот этим прибором срезать...

Задумавшийся Калашник, не считая нужным свести разговор на шутку, серьезно спросил радиста:

— А в чем заключается главное человеческое достоинство?— и, помолчав, ответил.— Главное достоинство человека заключается в борьбе. И пока мы фрицу будем в печенки вгрызаться, до тех пор и останемся мы настоящими людьми...

— Ты еще мало чего понимаешь в жизни,— поддержал Калашника Копа, перекатывая с ладони на ладонь горячую картофелину.— Поживи да повоюй с нами и все тебе, молодозелено, станет понятно. Ты приглядишься-ка к той жизни, которой живут партизаны. Как дружно живут, как заботятся о раненых! И заметь себе — без всякого приказа. Никто еще не съел добытый кусок сала, а принес и отдал в общий котел, отдал добровольно, не ожидая похвал и наград.

— Да что сало? Салу только повариха радуется — есть чем болтушку заправить, и то не для себя, а потому, что ее «мальчикам» будет сытнее,— отозвался Кучерявый.

— Зверье?— неожиданно взорвался Калашник.— Это мои-то товарищи — не люди? Да каждый из сидящих перед тобой — герой, если хочешь знать...— И добавил длинное ругательство.— Вот что взрывчатки мало, это ты не успел разглядеть, а вшей увидал.— И по какой-то своеобразной логике, с сожалением и горечью добавил:— Эх, мало я учился! Язык бы мне немецкий знать... Я бы показал арийцам хваленым, где раки зимуют... Только за это я и недовольный своей судьбой, что учился мало, и главное, языка не знаю в самый нужный момент в моей жизни!

Это искреннее сожаление Калашника заставило переглянуться между собой Копу и Кучерявого, как будто им одновременно пришла в голову одна и та же мысль.

Поднимаясь с земли, Копа тихо шепнул Калашнику:

— Погоди, будет тебе язык на двух ногах. Хороший, настоящий язык — проверенный!

Постепенно собирался и рос отряд Кучерявого. Приходили сюда разные люди. Тут были и старики, как Щербина, была и молодежь призывного возраста, и мальчишки, и женщины, и пожилые ответработники.

Но это первое, что бросалось в глаза. А главное заключалось в разнообразии профессий и характеров: колхозники, трактористы, районные руководящие работники, кадровые военные, моряки. Большая часть отряда сидела в лесу, на базе, вела разведку в ближайших селах и райцентрах. Зато вокруг Калашника сколотилось надежное ядро, человек семь-восемь — как говорил старик Щербина — отчайдушных ребят.

Калашник со своими помощниками держался несколько в стороне. Он сам ставил своей группе задания, а иногда просто уходил из отряда как будто без определенной цели. Предупреждал только командира Кучерявого: пошел на дело! И пропадал два-три дня, а иногда и неделю. Возвращаясь, докладывал: совершил налет на районную жандармерию, уничтожил полицейский пост или грузовую машину, доверху набитую разными необходимыми для партизанской жизни товарами — папиросами, спичками, сахаром, солью, а то и украинской колбасой. Это и был его рапорт командованию о выполнении задания. В отряде ценили моряка-минера, хотя главная его забота заключалась не в этой, как он презрительно называл ее, бакалее. Попутно со «снабженческими операциями» он ставил мины на песчаных широких шляхах, о чем всегда скрупулезно, но немного небрежно докладывал Кучерявому и Лесняку. Единственный человек, которому он беспрекословно подчинялся, был Копа. Копа все еще болел, и хотя постепенно выздоравливал, но командование на себя не брал. Они часто о чем-то подолгу говорили с Калашником, пока однажды отчаянный матрос, пропав на неделю, не принес Копе радостную весть: установлена связь с отрядом Сиворона. А через него обещали с Конько и со Скирдой связь дать.

— Вот теперь наш подпольный райком, пожалуй, объединит три отряда. Создадим партизанское соединение.— И Копа протянул матросу свою единственную руку.

Но большой радости в глазах моряка он не увидел.

— Ты чего?— встревожился секретарь.

— Дармоедов штабных больше будет, товарищ Копа. Эх, не знаю я языка немецкого! Если бы мне язык, я бы по райцентрам шастал. Попробовал бы и до Киева добраться. Может, там или еще где наша братва из полуэкипажа живая осталась. Мне бы этих ребят десятков. Вот пошло бы дело!

Копа молчал. Но однажды в ответ на эти сетования он кивнул Калашнику подбородком, и тот, поняв, подсел совсем близко на пенек.

— Был у нас немец.

— Ну да?

— Говорит, из бессарабских колонистов, военнослужащий, где-то в райцентре спасался.

— Танкист?— спросил вдруг Калашник.

— Вот насчет этого не знаю.

— Так это же наш с мичманом кореш!— воскликнул Калашник.— Вместе последний бой вели, вместе раненые выползали. Только он крепко ранен был, а мы, моряки, полегче. Где же он?

— Не решился товарищ Кучерявый немца к себе в отряд взять.

— Прогнали?— нахмурился Калашник.

— Нет, почему ж? Я его завербовал. Дали задание в район на работу к немцам устроиться.

— Шпионством заниматься?— презрительно спросил моряк.

— Да, вроде того. Разведкой агентурной, — отвечал Копа твердо. — В подполье...

— Эхе-хе! Ну что ж, тоже дело. Вы меня с ним не спаруете? Мне бы поговорить с ним по душам надо.

— Да ведь тебя в отряде почти никогда нет.

— Тоже верно,— согласился моряк.

Он долго ходил, хмуясь, прикидывая что-то в уме, потом подошел к Копе, наблюдавшему за ним с любопытством.

— Тогда вот что, ежели это действительно тот танкист, вы ему от меня моряцкий привёт передайте.

— А как же я узнаю, тот или не тот?— спросил Копа.

— Приметина такая: из последнего боя я их с мичманом вдвоем на себе вытаскивал, а перед самыми огородами разошлись, решив по-одному спастись — кому ка-

кая судьба. И передайте, ежели тот окажется: если уж судьба нас и тут свела, видать, нам и дальше одна дорога. Уж очень нам нужен он, раз немецкий язык знает. А пока что ему подарочек...

Калашник спустился в землянку и вернулся с охотничьей двустволкой.

— Передайте танкисту от меня. Да не просто, а со значением. Пусть он до нашей встречи охотой займется. С разрешения своего немецкого начальства, — и, ухмыльнувшись на недоуменный взгляд Копы, добавил: — Нет, нет, самой настоящей охотой. Утки-кряквы, зайцы или дичь какая перелетная. Пусть стреляет на здоровье да немцев своих угощает. Договорились?

Копы утвердительно закивал головой.

— Это мы сделаем, товарищ моряк!

4

Через некоторое время Вольф, как условились, явился на явку к партизанской заставе. О нем уже были даны указания.

— Пришел точно. Это хорошо, — сказал Кучерявый.

— Мы, немцы, народ пунктуальный, — ответил Вольф хмуро.

— Оно и видно. Ну, как дела, устроился? — подсел к нему Копы.

— Работаю в МТС. Механиком назначили.

— Начальство доверяет?

— С самим гебитскомиссаром и румынским префектом в карты играю, — отвечал Вольф, еще больше хмурясь.

— Ну и чем все же ты недоволен? — спросил Копы.

— Две шкуры ношу и обе просвечивают. Надоело.

— Гм.. надоело? Опасно, значит?

— Да какая там опасность! Просто безделье.

— Понимаем, но надо, — сказал Копы. — Потерпи, друг. Раз уж ты так устроился, поручим тебе работу подпольщика и агентурного разведчика нашего отряда.

Вспыхнули радостью глаза Вольфа.

— Даем тебе новое задание: охотником стать, — И Копы протянул ему двустволку.

Вольф снова нахмурился.

— Приказ!— сказал Кучерявый.

Вольф развел руками в недоумении и сказал:

— Не ясно, как выполнять этот приказ.

— Приказ есть приказ,— сказал Копа.— А выполнять его будешь так. Для начала хлопцы дадут тебе зайчишек, куропаток. И постарайся, чтобы у тебя была хоть какая-нибудь автомашина.

Глаза Вольфа засветились. Он начинал понимать.

— У меня как у главного механика есть там одна чмыхалка, вроде примуса. Дребезжит, но колеса крутятся.

Засмеялись.

— Можно и эту,— поддержал Кучерявый.

— Так даже лучше, чтобы в глаза не бросалось. Но чтобы ездить можно было... на охоту.— И Копа прижмурил многозначительно один глаз.

Так началась агентурная работа механика МТС, разведчика Роберта Вольфа.

Два или три раза Вольф приходил в условленное место, и партизанские разведчики вручали ему ягдташи с дичью.

— Понравилась гебитскомиссару дичь партизанская?— спросил однажды Копа,— не беспокоится, что ты почти сутками пропадаешь с машиной?

— Охочусь и все,— безразлично ответил Вольф.

Они спустились в лощину. Подошли к полуторке, стоявшей на обочине дороги. Долго ходили, разговаривая о чем-то. Подъехали верхами Кучерявый и Калашник. Матрос спешил и отошел в сторону, издали поглядывая на Вольфа.

— Договорились?— спросил Копу Кучерявый.

Копа только утвердительно кивнул головой. Кучерявый, не слезая с коня, подозвал к себе Вольфа и, склонившись с седла, тихо проговорил:

— Тебе задание: отгарабанишь на машине человек десять километров за полста. А то и больше.

— Можно,— ответил Вольф.

— Два часа хлопцы поработают и доставишь обратно.

— Понятно.

— О времени и месте встречи договорись с морячком.

И Кучерявый с места пустил коня вскачь.

— Здорово, танкист, — хлопнул Вольфа по плечу подошедший Калашник.

Вольф обернулся пораженный. Перед ним стоял тот самый моряк, который тащил его на своем плече до памятной на всю жизнь полоски кукурузы. И они крепко, по-фронтovому, обнялись.

— Так вот о каком «языке» толковал мне товарищ Копа! — сказал Калашник, похлопывая Вольфа по спине. — С этим «языком» я и до Берлина дотопаю.

Они долго сидели в тени полуторки, отогнанной в кусты. Затем, условившись о времени и месте новой встречи, разъехались.

Через два дня к ночи Вольф на своей дребезжащей полуторке появился возле заросшего орешником оврага. Откуда-то, как из-под земли, вынырнуло десятка два партизан с рюкзаками за плечами и автоматами на случай нежелательных встреч. Хлопцы быстро залезли в кузов. Калашник сел в кабину рядом с Вольфом. Вольф включил газ, мотор затарахтел, машина с натугой поползла в гору. В открытую степь вышли почти ночью, фар не зажигали. А к полуночи впереди замерцала огнями семафоров железнодорожная станция. Машина остановилась в полукилометре. Калашник со своими диверсантами направился к полотну. Вольф остался один. Два человека с минами быстро всползли на насыпь. Справа и слева часовые прикрывали работу минеров. Через полчаса эти двое, ради которых сюда ехала вся группа, кубарем скатились с насыпи. И когда партизаны разместились в кузове, Калашник по-хозяйски осмотрел, словно пересчитал всех, подошел к кабине и тихо сказал Вольфу:

— Давай задний ход!

Вольф медленно, стараясь, чтобы машина не скрежетала и не тарахтела, спустил ее в маленькую лошину. Хлопцы в кузове прислонились друг к другу, словно греясь. Только один Калашник взобрался на кабину и поднес бинокль к глазам. Вскоре он услышал гудок паровоза и перестук колес, шум быстро приближался. И через минуту — взрыв, скрежет налетающих друг на друга вагонов, стоны, выстрелы...

Минут через пятнадцать Калашник втиснулся в ка-

бину к Вольфу, посидел немного, закрыв глаза, затем спрятал голову под шиток, закурил, затянулся и сказал:
— Вот тебе и зайцы, и утки-кряквы. Газуй! До утра надо тебе и нас доставить и к гебитскомиссару явиться. Доставишь им наш партизанский паек.

5

Тюбетейка не очень торопился выполнить задание Зиммельпuffа и гауптмана Шульца. Иногда ему казалось, что все случившееся в тот памятный день в Заднепровске, это только тяжелый сон. Но каждый раз, проходя мимо угрюмого Копы или являясь по вызову к Кучерявому и комиссару Лесняку, он вздрагивал и ожидал всяких неожиданностей. Уходя от командиров, Чайванов успокаивался и бодро шагал обратно к своей землянке. А через день, когда возвращалась разведка и сообщала о новых приготовлениях карателей или о том, что где-то под Киевом сожгли село, он начинал дрожать. Слова Шульца о том, что гестапо все знает и будет знать о нем, запали глубоко в его трусливую душу, и он давал себе слово при любом удобном случае выйти на связь...

...Как-то в перерыве между диверсиями, после того как Калашник с Вольфом пустили под откос свыше десятка эшелонов, Копа с Кучерявым решили устроить небольшой перерыв.

— А чтобы морячок наш передохнул, я его на несколько дней займу — сказал Копа Кучерявому. — Покажу наше хозяйство.

— На пчельнике? — спросил Кучерявый.

Копа утвердительно кивнул головой.

На следующий день они вместе с Калашником подъезжали к пчельнику. Ульи стояли рядами. Из омшаника, еле заметный, поднимался дымок. Каково же было удивление Калашника, когда навстречу им через перелаз, блеснув на солнце икрами голых ног, появилась Малашка. Она прошла по краю пчельника, направляясь к омшанику. Ей навстречу вышла старуха с сеткой на голове. Они о чем-то поговорили, старуха скрылась, а Малашка приложила ладонь ко рту и закуковала ку-

кушкой. И лишь тогда, оставив охрану на опушке, всадники подъехали к омшанику. Соскочив, с коней, они вошли в узкую дверь. Навстречу им поднялась девушка, сидевшая возле наборной кассы. Она набирала листовку, а где-то в глубине, за камышовой перегородкой, хлопала железным диском ручная печатная машина. Копа подошел и склонился над листовкой. Калашник с интересом оглядывался. Его удивляла вся эта таинственность, хотя он слышал не раз о подпольщиках. Он вспомнил, как быстро отпечатали вторую листовку, в которой он требовал от оккупантов уважения, и ему вдруг захотелось, чтобы результаты его «охоты», которой он занимался вместе с Вольфом вот уже два месяца, также стали известны народу. Но волновало его совсем другое.

«Неужели не ошибся? Неужели это она, Малашка? Моя хозяйка бравая? Ну, конечно же, она! Даже платок тот же, — с нежностью и восхищением подумал матрос. — Вот чертова баба, а ведь какой самогонщицей прикидывалась. Я из-за того, что ее за фашистскую прислужницу принимал, только и держался...»

Что-то такое увидел Копа на лице моряка, в его светящихся растерянностью и нежностью глазах, что толкнул его плечом и сказал:

— Иди, прогуляйся. Там, за пчельником, может, тебя ждет кто...

Калашник выскочил из омшаника, хлопнув дверью. За перелазом у орешника действительно стояла его бывшая хозяйка. Она посмотрела ему прямо в глаза и шепнула:

— Здорово, морячок! Здравствуй, мой приймак! — И вдруг, тихо охнув, склонилась головой на его тельняшку. Калашник обнял ее за плечи своей широкой рукой. И только через минуту, придя в себя, он грубовато, по-мужски, спросил:

— Что ж ты, чертова баба, сразу не признавалась? Я ж какую муку вытерпел, думал, ты в самом деле немецкая овчарка...

Прижимаясь ухом и щекой к его плечу, она подняла голову:

— Так и у нас присяга, товарищ моряк. Разве ж я могла? Товарищ Копа со своей конспирацией мне голову совсем заморочил.

— Ну, если конспирация — тогда другое дело! — рас-

смеялся Калашник. — Вот уж не думал, что встречу тебя тут. Не жизнь — сказка!.. — И он молча обхватил ее обеими руками, словно боясь снова потерять.

— Тише ты, медведь косолапый — черт морской! Ребра поломаешь...

Но он уже не слушал ее и, подхватив на руки, понес в чашу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Плавно и неудержимо несет свои струи полноводный Днепр. Сбегают к нему выше Кьева лесные реки — Березина и Сож, Припять и Десна.

К началу второй военной зимы там, в белорусских лесах и на севере Украины, запылало большое партизанское движение.

Доходили о нем слухи и сюда, в степные края. Где-то из брянских лесов по путям Щорса прошли целые партизанские полки Ковпака и Сабурова, за Десной, ближе к Белоруссии, бушевал генерал Орленко, а под новый год, в самый разгар крещенских морозов, по степям Харьковщины и Полтавщины буйным кавалерийским рейдом прошла конница Наумова. Он так стремительно двигался на юг, что связные Кучерявого, вышедшие ему навстречу, увидели только дымный след подорванных танков, догоравшие на шоссе автомашины да задравшие колеса на склонах насыпей паровозы. Правда, Калашник со своими диверсантами твердо решил перехватить лихую партизанскую кавалерию на Правобережье, но она повернула на юг, а ниже Кременчуга перемахнула по льду через Днепр. Следы затерялись где-то в Знаменских и Пятихатских лесах, где Калашник вместе с Вольфом устанавливал связь с партизанским подпольщиком юга, знаменитым Скирдой.

Куда пошел Наумов: в бессарабские ли степи или в Карпаты? Или где-то на Буге загнул к северу подкову своего лихого рейда по степям Украины? Этого степняки так тогда и не узнали.

Копя понял, что настало время держать связь не только с востоком и севером. Где-то под Ровно объявил-

ся чекист, полковник Медведев. А у него, говорила партизанская молва, действуют ребята не хуже Вольфа.

— Калашник с Вольфом ладно сработались. Их теперь водой не разольешь, — с завистью говаривал Копе Кучерявый.

Разведчики добыли штабную немецкую машину и сейчас газовали по всей округе, наводя страх на оккупантов: то налетят на жандармерию, то на полицейскую комендатуру, то вывезут какой-нибудь районный склад.

Шли месяцы. Второй раз морозом сковало плесы Днепра, заковало и стречневое течение, легче стало партизанам мотаться в Заднепровск. А там побежали ручьи. Половодье. Ледоход.

И снова застучала морзянка.

Зазеленели хлеба. По оврагам и шоссе шныряли партизанские разведчики. Подбирались к железным дорогам.

Фронт приближался к Днепру... По донесениям разведчиков советские штурмовики бомбили скопления поездов. На аэродроме маскировались фашистские самолеты, а в траве скрыто ползли партизанские разведчики. Схватили вражеского пилота. При помощи Вольфа допросили его в партизанском штабе. А через двое суток взрыв горючего на вражеском аэродроме потряс воздух. Клубы жирного дыма закрыли горизонт.

Фашисты устраивали прочесы, вырубали просеки. Лаяли овчарки, отстреливались наугад неизвестно от кого эсэсовцы.

Вольфу теперь хватало работы. Нужно было все чаще и чаще уезжать «на охоту», а тут гебитскомиссар Зиммельпуфф и его жена пристрастились к игре в карты. Тоскливо жилось им на оккупированной Украине. Первое время они объедались жирной пищей, и скоро разжирели. Но теперь жизнь оборачивалась к ним не особенно приятной стороной. Каждый день — десятки донесений о появлении «проклятых бандитов» в лесах, селах, на дорогах. Оставалась одна радость — штосс, преферанс и старинный джокер.

Вольф часто сидел в кругу этой семейки, как на углях, пока не приспособил в партнеры Зиммельпуффу адъютанта.

— Скоро, фольксдойч, на охоту? — спрашивал Зиммельпуфф.

— Если угодно господину гебитскомиссару — могу сегодня, — угодливо отвечал Вольф. — Разрешите идти?

Игроки, поглядывая в окно, видели, как быстро перебежал площадь Вольф.

— Исполнительный фольксдойч, — одобрительно отзывался Зиммельпуфф, и его жена согласно кивала головой.

И снова на своей грузовой чмыхалке выезжал Роберт Вольф к лесу. Там он быстро пересаживался за руль штабной машины.

Огненные языки полосовали ночное небо Приднепровья. Зарницами полыхали пожары. Рыскали по степи карательные отряды эсэсовцев. Стрельба из пулеметов и мелкокалиберных пушек тревожила мирную когда-то степь.

2.

Однажды, когда к зданию Заднепровского гебитскомиссариата подъехало несколько машин, Роберт Вольф появился со своим неизменным охотничьим ружьем и дичью. С парадного входа его не пустили. Понимая, что все происходящее сейчас в здании имеет прямое отношение к его делу и жизни, а также к жизни его товарищей-партизан, он решился на рискованный шаг. Войдя во двор, передал дичь денщику гебитскомиссара и попросил немедленно доложить о нем фрау. Фрау не вышла, так как была занята, но денщик поманил Вольфа пальцем.

— Иди пока, фольксдойч, посиди на кухне. — И когда Вольф проходил мимо, шепнул: — Там большие чины. Ох, влетело от них гауптману Шульцу... Сейчас ждут обеда. Ты очень кстати со своей дичью.

Сидя на кухне и слушая болтовню денщика-баварца, Вольф напрягал слух, но до него доносились только отрывки фраз. Когда денщик вышел, Вольф приоткрыл дверь и бросил под нее домашнюю туфлю, которая якобы помешала двери закрыться. Разговаривали в третьей комнате. Но через соседнюю с кухней, позвякивая шпорами, иногда шагал взад-вперед седой генерал времен вильгельмовского вермахта, как потом узнал Вольф, генерал Ильген, фамилия его собеседника была Гелен.

— Вообще война идет совсем иначе, нежели она была задумана, — ворчал генерал, задумчиво остановившись возле самой кухонной двери. Он, звякнув шпорами, повернулся к тому, кто сидел в соседней комнате, и какая-то тупая безнадежность послышалась Вольфу в его голосе.

— Откуда поднимается партизанская лавина в этой проклятой стране?

— Да, генерал, — послышался скрипучий голос из за соседней двери. — Таинственная Россия пугает наших соратников. Вот и эти партизанские генералы Коваль, Орленко и тот молодой и опасный пограничник... Что им нужно? Они воюют совсем не по правилам. Рейхскомиссар в таком раздражении, в каком мы не видели его еще со времен бунта Рема. А чего стоит этот маленький отряд на Днепре?! Эти украинские казаки неуловимы. Фюрер требует взять одного из здешних вождей живьем...

— Живьем? Пусть сам попробует... наш богоданный фюрер, — проворчал Ильген. — Вы слышали? Говорят, он моряк...

— Этого еще не доставало! У этих русских все шиворот навыворот. Женщины, вместо того чтобы рожать детей и ходить в кирху, — летают на самолетах. А моряки воюют на суше. Черт знает, что за народ!

— Да, да. Вокруг этой партизанской банды на Днепре намотался целый клубок. У них был наш агент. Но связь с ним оборвалась..

— Интересно... Что ж он? Погиб? Разоблачен?

— Пока ничего не известно... о его судьбе.

— Если этот агент провалился, то надо нам нового найти, — сказал Ильген, — но только другого типа. У них прославился некий Калашников, а мы выпустим своего Калашникова. И создадим ему славу. О, русские очень падки на славу. Они к нему потянутся и попадутся, как рыбки на крючок!

— Го-го-го! — захохотал его собеседник. — Это гениально! Нам тогда только, как опытным рыбакам, за удочку дергать! Отличная затея! Го-го-го!..

Теперь Вольф знал, что у фашистов есть агент. Но кто он? Находится ли он в партизанском отряде? Или выследил подпольную сеть товарища Копы, о деятельности которого Вольф лишь догадывался? Или, может

быть, он действует через других лиц? Все это нужно было немедленно сообщить Кучерявому или хотя бы Калашнику.

Но ближайшая встреча назначена только через три дня. А за три дня немцы могут не только стянуть карательные войска, но и нанести удар. Надо было действовать немедленно. Захватив пустой ягдташ, сунув разобранную двустволку в чехол, Вольф выбежал на улицу. Он отошел уже квартала два, когда на противоположной стороне ему бросилось в глаза знакомое лицо. Человек шел быстро, не озираясь по сторонам. Приглядевшись, Вольф убедился, что видел этого человека в партизанском отряде Кучерявого. Он пошел за ним следом и увидел, что партизан смело подошел к гебитс-комиссариату. Часовой так же, как Вольфа, не пустил его с парадного хода, но тот вынул что-то из кармана (Вольфу показалось, что это была записка), показал часовому, и тот пропустил его.

Сомнений не было: это или сам агент или, скорее всего, связной.

«Если агент действует в отряде и имеет связного, значит он не может часто отлучаться, — подумал Вольф... — Если это сам агент — ему трудно будет сразу же вернуться в отряд... Так или иначе его надо уничтожить. Если убрать связного, агент некоторое время будет лишен связи и обречен на бездействие...»

Раздумывая так, Вольф ходил по следующему кварталу, откуда просматривался вход и выход из гебитс-комиссариата. Прошло около часа пока снова не показался предатель. Теперь Вольф узнал его — в отряде он носил тюбетейку, а сейчас был в шапке-ушанке.

Идя по противоположной стороне улицы чуть-чуть позади, Вольф не спускал взгляда со знакомой и уже ненавистной ему спины в теплом ватнике. Еще раньше, до появления Тюбетейки, он зашел в общественную уборную на базаре и, быстро вынув из ружья гильзы с дробью на зайцев, вставил в оба ствола гильзы, заряженные жаканами. Несколько таких зарядов, которые могли бы свалить и медведя, он всегда носил в патрон-таше на всякий случай. И этот случай представился. Человек, шедший впереди, все убыстрял шаг, и вдруг оглянулся. Заметив, что сзади кто-то идет, он пошел вдруг вихляющей походкой прогуливающегося, словно

перед ним не стояла серьезная цель. Но Вольфу нужно было подойти поближе к конторе МТС. Там только что оставленный им после далекой поездки, с еще не остывшим мотором, стоял его старый друг, разбитый «газик». Приблизясь к МТС, незнакомец, изображавший из себя праздного гуляку, вдруг свернул в ворота. Вольф остановился: «Что он еще задумал?» Надо было что-то делать. Обойдя ворота с другой стороны, он незаметно скользнул в калитку и подошел сзади к навесу, где стояла машина. Незнакомец умолял шофера:

— Слушай, товарищ, помоги, немцы меня ищут.

— Какой я тебе товарищ? — оглядываясь по сторонам, прохрипел шофер. — Ты знаешь за это...

— Только к лесу подбрось меня, друг, — молил незнакомец. — Партизан я.

— Партиз-а-а-н? — прохрипел простуженный шофер и закашлялся. Он вышел из-под навеса, оглянулся по сторонам. — Механик у нас немец, с самим гебитскомиссаром в карты играет. Если что — голова долой.

— Ну, будь человеком, а не то... — И незнакомец вдруг вытащил из бокового кармана пистолет.

— Ну, нет, приятель, — сказал шофер (Вольф знал, что он из окруженцев, бывший танкист, здесь живет в приймаках после ранения), — меня страхом не возьмешь. А если по-хорошему, — садись, докачу до отряда, а ты за меня поручишься. Так, что ли? — вдруг решившись, лихо сказал он.

— Так, так, конечно, — подтвердил Тюбетейка, заходя с другой стороны машины. — Заводи!

И они оба — шофер и немецкий агент (в этом Вольф уже был убежден) — завозились возле старой машины. Шофер ручкой завел мотор и сел за баранку. В тот момент, когда, круто разворачиваясь, машина выходила из-под навеса, Вольф, прихрамывая, подбежал сзади к кузову и вскочил в него. Так он, незамеченный, доехал вместе с беглецами почти до самого леса. Вдруг в кабине грянул выстрел, машина свернула в кювет, правая дверца открылась, и Тюбетейка выскочил. Он обежал машину, открыл противоположную дверцу, и оттуда вывалилось безжизненное тело танкиста. Оттолкнув его ногою, Тюбетейка продул ствол пистолета, сунул его за пазуху, сел в кабину и попытался вывести машину из кювета. Но колеса буксовали. Тогда, приоткрыв дверцу и

оставив правую ногу на газе, а одной рукой держась за руль, Тюбетейка попытался раскачать машину. Он стоял на подножке, глядя на задние колеса, но вдруг, скользнув взглядом по кузову машины, заметил там человека. Чайванов инстинктивно схватился за грудь, но не успел вытащить пистолет. Вольф выстрелил сразу из обоих стволов. Два медвежьих жакана разнесли голову предателя вдребзги.

3

В большом блиндаже армейского образца в углу были завешаны плащ-палаткой нары. По стенам стояли табуретки, лавы, в середине большой стол на кольях, врытых в землю, накрытый бархатной скатертью с кистями. На столе яркая аккумуляторная лампа. На небольшой карте, испещренной красными и синими карандашными значками, обозначающими вражеские полки, батареи и танки, пунктирами были намечены будущие маршруты партизан к Днепру. Рядом лежали листочки разведывательных донесений. Представитель ЦК КП(б)У товарищ Демьян, одетый в полувоенную форму, изредка заглядывая в маленькую стопочку шифровок, набрасывал план.

Усталое лицо его с мешками под глазами изредка оживлялось, когда он поднимался навстречу входящему и, откладывая в сторону написанное, давал задания командирам разных партизанских отрядов, собравшимся на совещание. Некоторым он передавал запечатанные пакеты.

— Вот в этом пакете все, о чем договорились.

Сбоку за столом сидели подавленный и немного растерянный Кучерявый, рядом с ним Копа и Калашник. Они давно проектировали несколько смелых дел: взрыв немецкой переправы через Днепр, налет на Заднепровск, комбинированное минирование всех железных дорог на Полтавско-Харьковском направлении. Об этом они собирались доложить представителю ЦК. Но перед самым выездом на север, в леса, где происходило совещание, из штаба фронта за подписью члена Военного Совета была получена непонятная шифровка: «Временно прекратить боевые действия. Отряду сосредоточиться в плавнях ожидания указаний».

Теперь у представителя ЦК тоже не нашлось време-

ни потолковать с ними. Это обескуражило и Копу и Кучерявого.

— Теперь выясним детали. Вопросы есть? — спросил товарищ Демьян.

Калашник, давно порывавшийся спросить о чем-то, попытался поднять руку. Копа незаметно удержал его и шепнул:

— Не лезь поперед батька, слухай! Учись.

Когда все поднялись из-за стола и, оживленно пересмеиваясь, закурили товарищ Демьян взглянул в сторону Копы и его соратников и улыбнулся.

— Кучерявый!? С вами у меня особый разговор. На вашем участке немцы усилили агентурную работу. Они даже пустили в ход подставного Калашникова. Надо быть бдительными.. Ну, докладывайте.

Кучерявый был обескуражен.

Копа вытащил откуда-то из потайного кармана и положил перед собой отчет о подпольной работе. Кучерявый развернул список личного состава отряда. Демьян сел рядом с ним и тихо сказал:

— Вам, товарищ командир,— задание особое. Ваш отряд как наиболее малочисленный командование решило нацелить на разведку и только на разведку. Боевые возможности вашего отряда, чего греха таить, не велики. Но в разведке вы многое сможете. Итак, замаскироваться, не обнаруживать себя.

— Но мы уже много диверсий совершили,— похвастал Калашник. Копа утвердительно кивнул головой. Но товарищ Демьян словно пропустил это мимо ушей и продолжал:

— Товарищ секретарь подпольного райкома, вы должны гордиться, что одному из ваших отрядов отводится такая важная роль — быть глазами и ушами армий фронта. Оттого, что вы взорвете эшелон, или разгоните отряд полицейских, или лихо ограбите интендантский склад, ничего особенного не случится. По теперешним временам это не велика заслуга. Этим будут заниматься другие,— он кивнул на кутивших командиров.— И покрупнее вас и кто более приспособлен для боевых операций. Понятно? Вам же надо обеспечивать бесперебойную связь, — он наклонился и шепнул только для них троих,— с товарищем Вольфом... И вот с вами, това-

рищ морячок. Вы же с Вольфом на пару работаете? Своевременно сообщайте на Большую землю обо всем. Об изменении в поведении противника, о фактах, даже догадках. Это важно. А диверсии мы вам категорически запрещаем. Отряд должен быть чистым во всех смыслах. Каратели должны потерять ваш след. Провал — недопустим. Ограничьте прием в отряд. Вам поручен очень важный стратегический объект — переправа. За ней надо установить непрерывное наблюдение.

И, потянув к себе карту, товарищ Демьян кружочком отметил переправу на Днепре. Кинул издали взгляд на карту седой сухошавый командир отряда Коваль, уже получивший задание на рейд в глубокий тыл врага. Он вмешался в разговор:

— Товарищ Демьян, поручите эту переправу мне. Хлопцы рванут... А отряд товарища Кучерявого... пушай хлопцы промнутся, порастрясут жирок, га? — и засмеялся завистливо и даже немного зло. — А мы уж рванем, так рванем, будьте уверочки!

Калашника не очень устраивала такая перспектива. Кучерявый все помалкивал, поглядывая на товарища Демьяна. У Копы заиграли желваки на худом изможденном лице. Товарищ Демьян поднял руку ладонью вперед.

— Видите ли, товарищ Коваль, рвануть легко, навести трудно... — и, желая ободрить Кучерявого и его товарищей, добавил: — Перед вами, Кучерявый, ставится важная и почетная задача — вести регулярные наблюдения за переправой и не дать ее взорвать. Ни своим чрезмерно шустрым воякам, ни противнику...

Мигом смекнув что-то, сообразительный Коваль сдвинул высоченную папаху на ухо и, бросив только одно слово: «Понятно», ретировался подальше от стола. И уже в углу скрутил здоровенную сигарку. Кучерявый озадаченно посмотрел на Демьяна, затем перевел взгляд на Копу и Калашника. Моряк лихо отвечал:

— Есть не спускать глаз! Точненько все разведем... И сколько машин, и сколько пехоты, и какое вооружение.

Обрадованный Кучерявый подхватил:

— И Вольфа своего пошлем...

Но товарищ Демьян охладил его пыл:

— Товарища Вольфа — беречь! Задача ясна?

— Ясно, — ответил Кучерявый.

— Держать бесперебойную связь с командованием фронта и со мной.

— Есть, Разрешите передать вам партийные документы.

Товарищ Демьян пробежал глазами тощенькую папочку, переданную ему секретарем подпольного райкома, а Лесняк пояснял:

— Этот из окруженцев, этот проверенный — из-за проволоки бежал. Этот был с товарищем Копой, а этот местный колхозник... семью фашисты сожгли. Этот разведчик — куда хошь пройдет...

Демьян слушал внимательно, а перед глазами Копы вставали улыбающиеся, серьезные, хмурые, веселые и тоскливые лица людей, написавших в самый трудный момент жизни заявления в партию.

Комиссар Лесняк докладывал:

— На партийном собрании заявления разобрали, приняли единогласно. Теперь райком их утвердил.

Товарищ Демьян бережно сложил материалы в полевую сумку.

— И последний вопрос, товарищи, — сказал он, задерживая поднявшихся Кучерявого и Калашника. — Перед вылетом в тыл врага поднял я все документы. По документам выходит, должен быть в районе действий еще один наш товарищ.

Кучерявый пожал плечами.

— Наши все в лесу, товарищ Демьян.

— А кто же он есть, — словно о чем-то догадываясь, вмешался нетерпеливый Калашник, — мужик или баба?

Почти все командиры уже вышли из блиндажа. Демьян достал малюсенькую книжку с алфавитом, перелистал ее и, взглянув на закорючки, понятные только ему одному, сказал:

— Женщина, товарищ моряк, 25 или 26 лет. Разведенная, бездетная, Мария... Федоровна... Сенина... По мужу Полищук.

Вопросительно смотрит товарищ Демьян на Калашника, тот молчит, а Кучерявый трет лысину, качает головой:

— Мабуть в Германию угнали, если не догадалась какого приймачка залучить. Мы про такую не слышали.

— Подпольная ее кличка «Милашка», — уточнил товарищ Демьян. — У нее задание — войти в доверие, под-

готовить явочную квартиру, завести широкие знакомства.

— Ишь ты, «Милашка», — насмешливо протянул Кучерявый.

Калашника как током ударило:

— Знаю, товарищ Демьян! Знаю, только не «милашка», а Малашка она. Она у товарища Копы...

— Разрешите доложить наедине, товарищ Демьян, — сказал Копя. И когда все отошли, он, снизив голос, сказал:

— Замечательная подпольщица, она до этого времени шинок держала, конспиративную квартиру. Затем в лесу в подпольной типографии работала, но сейчас вроде вышла из строя.

— Ранена? — озабоченно спросил Демьян.

— Нет, — успокоил его Копя. — Но любовь у нее с этим матросом. Давнее дело, еще с окружения. Так вот пришло время по ихнему женскому положению...

— Понятно. Первым же самолетом отправить в тыл. В госпиталь... К профессору Дудко. Вот ему записка от меня.

Демьян склонился над блокнотом и с шумом оторвал страницу.

4

В ясный солнечный день по холмистой лесостепи двигалась рысью колонна партизан. Последние повозки уже скрылись в перелеске, когда вслед за ними по дороге проехала, трясясь и дребезжа, одинокая машина. В машине — два человека, один из них Роберт Вольф в мундире немецкого офицера. Машина уже догоняла колонну.

— Это же наши, — крикнул Кучерявый. — Эй, сюда! — Несколько партизан спрыгнули с последней повозки и криками приветствовали машину. Полетели в воздух партизанские разнокалиберные шапки.

— Я думал, всамделишный немец, — удивленно сказал усатый партизан ездовым. — Думал, из Германии к нам фриц пожаловал.

— Почти угадал. Я и есть немец, — ответил подошедший Роберт Вольф. — Только не с Эльбы, не с Рейна, а с Днестра.

На рысях, обгоняя остановившуюся колонну, проскочил верхом Кучерявый с конными ординарцами и Копой.

— Давай, не задерживайся!

— Что ж ты, товарищ Кучерявый, чудак ты человек, морячку своему хвоста не прикрутил? — говорил Копа. — Вот теперь какую подпольщицу мы теряем. Улетает от нас Малашка. Первым же самолетом. И ничего не попишешь. Никакое указание подпольного комитета не подействует. Пожрать и родить нельзя погодить.

Все рассмеялись. Комиссар Лесняк покачал головой:

— Холостежь, и что они себе думают? А сколько им еще опасных заданий предстоит!

Когда колонна тронулась, Вольф кивнул Калашнику, и они вернулись к автомобилю.

— Машину оберста тоже пригнали?

— В плавнях спрятана — высший класс, — показал большой палец матрос.

— Ну, действуй быстро, морячок.

Когда отряд двинулся дальше, Вольф повозился в моторе, Калашник чиркнул спичкой и отскочил за толстую сосну. Раздался взрыв, машина запылала. Они лесной тропой догнали идущую шагом колонну, на ходу повалились прямо на сидящих в повозке партизан, и дымом от догорающей машины прикрыло след колонны.

На следующий день по левому берегу Днепра по шоссе мчалась машина новейшей марки «Опель-адмирал». За рулем сидел одетый в немецкое обмундирование Калашник. Сзади важно восседал немецкий «оберст». Мундир, ордена, планшет, бинокль, пистолет в кобуре. А на новенькой блестящей коже — серебряное факсимиле самого Гудериана.

Когда машина выехала на насыпь, оберст стеком прикоснулся к плечу Калашника. Тот остановил машину. Оберст — это был Вольф — вышел из машины, поднес к глазам бинокль. Посмотрел в сторону переправы, а затем, ведя окулярами по горизонту, повернулся к востоку. Там тянулись сплошные дымы. Оберст поднял руку и пролаял своему рослому шоферу-фельдфебелю:

— Выключить мотор!

Замолкло урчание машины. Сквозь степную тишину, которую ранее нарушал лишь свист ветра в стеблях ковыля, издали донесся гул далекой канонады.

Вольф подошел к Калашнику.

— Танковый бой. Наши к Днепру рвутся. Газуй на переправу, — и легко вскочил на заднее сиденье машины.

— Может, свяжемся? — спросил Калашник.

— Рано! Выясним — доложим. Попросим указаний.

Машина на ходу выскочила на широкий грейдер. По уходившей в гору дороге, подымаясь от Днепра, непрерывно двигалась колонна отступающих немецких войск. На песчаном восточном берегу она возникала из пыли и дыма. «Оппель-адмирал», почти не сбавляя хода, врезался в колонну и на небольшом газу въехал на мост. Оберст сидел на заднем сиденье открытой машины с каменным лицом. Только глаза его настороженно поглядывали по сторонам. Изредка он небрежно поднимал руку, двумя пальцами козыряя офицерам и охране, стоявшей на переправе. Вот уже колеса «Оппель-адмирала» съехали с дощатого настила. Калашник дал газ, и «Оппель-адмирал», обгоняя солдат и технику, непрерывно гудя, взлетел на крутой правый берег Днепра. Поворот на Киевское шоссе — и машина скрылась из глаз.

В кабинет командующего фронтом, где уже сидел член Военного Совета, быстро вошел полковник, начальник разведотдела.

— С днепровской переправы. Радиограмма.

— Давайте, — протянул руку генерал армии, командующий фронтом. Он пробежал текст и склонился к члену Военного Совета, показывая ему шифровку.

«Переправа мощная, но заминирована. Войска идут непрерывно. Отмечены моменты паники. Проходят и тяжелые танки. Комендант переправы имеет приказ взорвать мост при первом появлении русских войск». Подпись — Копа. Командующий фронтом вторично уже вполголоса прочел текст и внимательно взглянул на полковника. Тот пожал плечами.

— Вам известен? — спросил генерал члена Военного Совета.

Начальник разведотдела нагнулся почтительно:

— За достоверность ручаться не могу. Полевые условия...

Резко повернулся к нему член Военного Совета,

— А за самого себя вы ручаться можете?

Полковник пожал плечами,

— Номер рации известен? — спросил полковника командующий.

Полковник почтительно щелкнул каблуками, нагнулся и карандашом поставил на шифровке какой-то номер. Командующий снова показал шифровку члену Военного Совета, склонился над чистым бланком. Что-то написал размашисто, поставил подпись и показал члену Военного Совета. Тот одобрительно кивнул головой.

— Пора, — тихо сказал он.

5

В пойме Днепра, в двух-трех километрах от переправы, в верболозе ловко замаскировался отряд Кучерявого. Возле двух повозок столпились партизанские разведчики. Некоторые из них одеты в немецкую форму. Только шапки разные и все с ленточками, — по ним можно узнать в этих «эсэсовцах» партизан.

На самом краю верболоза вырыт ловко замаскированный блиндаж, к которому тянется неглубокий ход сообщения. Уже давно не спускают глаз с переправы два разведчика: Годзенко и Сенька Щур, по очереди глядящие в бинокль.

— Сидим в плавнях, словно лиса перед стадом гусей, — ворчит недовольно Годзенко.

— Гуси на лугу пасутся. А лиса хвост поджала и вся дрожит, чтобы раньше времени не сорваться, — отозвался Сенька Щур.

В это время где-то позади зарослей ивняка раздались два длинных и один короткий гундосый сигнал автомашины.

Все — и разведчики, и командование отряда — насторожились. Через минуту к отряду Кучерявого подошел «оберст» Вольф в сопровождении Калашника. Поздоровался с Кучерявым. Тот протягивает ему шифровку и, словно забыв, что оберст прекрасно знает по-русски, читает ему вслух текст: «...Помешать противнику взорвать переправу. Продержать в своих руках несколько часов. Передовым танковым батальонам дан приказ прорываться к Днепру. Два батальона танков вышли в рейд. Бесперывно держите связь...»

— Вот для чего, оказывается, наш отряд заморозили,— сказал задумчиво комиссар Лесняк.

Кучерявый спросил:

— На переправе были?

— Проехали на правый берег, проверяли зенитки, — лихо отрапортовал Калашник.

— А обратно? — спросил комиссар Лесняк.

— Тем же макаром.

— Всем отрядом, если поднять в атаку, может, захватим? — спросил Кучерявый.

— Ни в коем случае,— запротестовал Калашник.

Кучерявый взглянул вопросительно на Вольфа. Оберст, стиснув зубы, процедил:

— Сволочь фашистская, оберлейтенант, командир переправы сам сидит с машинкой... только крутнет — все полетит в воздух.

— Да-а-а, вот так камфует, — поморщился Кучерявый.— И в атаку, значит, нельзя.

— Теперь вам главное — не обнаружить себя, не спугнуть...— твердо сказал Калашник.

— А приказ? — показал на шифровку Кучерявый.

— Вдвоем попробуем? — шепнул Вольфу Калашник.

Все задумались.

— Это пока единственная возможность, — сказал Копа.

Через несколько минут, условившись о паролях и сигнализации, оберст и его верный шофер направились к машине.

На лугу Вольф подошел к дверце машины, которую услужливо и почтительно открыл перед ним шофер, поставил ногу на подножку, ловко подбросил монокль, поймал его глазом и повернулся к верболозу, где были еле видны Кучерявый и Лесняк. Только что они в кустах смотрели друг на друга. Кучерявый крепко обнял и поцеловал немецкого оберста. Калашник же так часто отбывал из отряда, что они с ним не прощались.

Высоко в небе прошла тройка советских истребителей. Вольф поднял голову, следя взглядом за ними, а затем решительно захлопнул дверцу машины. Круто развернув «Оппель-адмирал», Калашник вывел его в степь. По ней в одном направлении — к переправе—сплошным потоком шли измученные, оборванные и небритые немецкие солдаты — артиллеристы, обозники, пехота. Изред-

ка, как жуки, проползали в этом сплошном месиве войск танки и самоходные орудия с крестами. «Оппель-адмирал» снова въехал на мост и остановился. Поток войск, обтекая с обеих сторон машину, продолжал двигаться дальше.

К оберсту подошел часовой:

— Коменданта переправы сюда! — небрежно приказал оберст. — Передать: вызывает оберст генерального штаба.

Щелкнул каблуками, безукоризненно повернувшись через левое плечо, часовой отошел на пять шагов и дальше взял рысью.

Не долго ждали Калашник за рулем, а оберст, прогуливаясь вдоль перил моста. Подбежал оберлейтенант, щелкнул каблуками. Долго и внимательно осматривал его «оберст генерального штаба», сверля глазами. Рука оберлейтенанта у козырька чуть дрожала.

— На переправе замечен беспорядок! — словно выплюнул Вольф.

Оберлейтенант еще больше вытянулся и открыл рот для почтительного вопроса, но оберст не дал ему сказать.

— Где посты? Почему зенитки на левом берегу? Вы знакомы с инструкцией фюрера о готовности отразить любые атаки русских на правом берегу Днепра? Исправить допущенные упущения. Шнелль!

Оберлейтенант опустил руку, затем снова козырнул, повернулся и побежал выполнять приказ.

Оберст медленно пошел вдоль перил моста. Вынул из планшета карту, развернул ее. Положил планшет на деревянный столбик, нагнулся совсем низко над картой. Но Калашник видел: глаза Вольфа упорно шарят под мостом. Он искал провод. И когда заметил, что тянувшийся из-под первого быка провод скрывается в воде, быстро повернулся и пошел к машине.

— Провод от минного заряда под первым быком заметил, — почти беззвучно шепнул он Калашнику. — Выходит на берег. Куда тянется дальше, не видно.

Калашник в это время сосредоточенно драил машину, наводя на нее блеск. Вольф показал ему глазами под мост. Моряк понимающе прищурился. Достал из багажника брезентовое ведро, сбежал с насыпи, зачерпнул ведром воду.

Вольф крикнул что-то часовым гортанным голосом.

Часовые повернулись лицом к движущимся войскам. Калашник мигом перехватил ножом провод. Затем стал лениво полоскать ведро, оттирая его песком.

Но вот уже конец провода спихнут в воду, другой втоптан в прибрежный песок, и, легко подхватив полное ведро с водой, фельдфебель птицей взлетел на насыпь.

В это время к оберсту подбежал комендант переправы с рапортом. Вольф, не оборачиваясь, смотрел в карту.

— Герр оберст! — оглушительно гаркнул за его плечами комендант переправы. — Зенитки установлены на том берегу согласно приказа фюрера!

— Доннер веттер! — закричал оберст.

Оберлейтенант ошарашен.

— Мне приказано...

Но Вольф смотрел на него, словно удав на кролика.

Взгляд коменданта переправы остановился на блиндажке, к которому тянулся провод подрывной машинки.

— Здесь приказываю я. Лично проверить и через... — оберст смотрит на часы, подсчитывая. — Через 25 минут доложить мне на этом месте готовность отражать налет.

Оберлейтенант отошел, печатая шаг. Но вот шаги его замедлились, тише и неуверенней застучали по настилу. Он шел к зениткам, как в воду опущенный. Проходя мимо группы немецких офицеров, он остановился, затем вернулся и о чем-то заговорил, показывая на оберста и разводя в недоумении руками.

Продолжая мыть машину, Калашник все же успел шепнуть:

— Ахтунг оберст! Ахтунг, туды их... маму, — и громко закашлялся.

Комендант переправы медленно шел обратно. За ним на некотором расстоянии табуном шли немецкие офицеры. Комендант подошел к оберсту и, почтительно взяв под козырек, сказал:

— Прошу извинения, герр оберст. Разрешите посмотреть ваши документы.

— Документы? С каких это пор вермахт стал проверять генеральный штаб? — презрительно процедил сквозь зубы Вольф.

— Я понимаю... — заробел оберлейтенант. — Но у каждого солдата армии фюрера, от рядового до генерала, имеется зольдатенбух. Прошу. — И он протянул руку.

Оберст, словно не замечая оберлейтенанта, шагнул к машине, Калашник впился в баранку руками так, что надулись жилы. Наклонившись вправо и приоткрывая дверцы, он шепнул:

— Держись, рванем! — и снова выпрямился.

Вольф громким голосом, так, чтобы слышали все вокруг, закричал на своего шофера по-немецки:

— Молчать! Распустились!

Группа немецких офицеров, подходящая сзади, заметив, как оберст грозит своему шоферу, приостановилась. Но у некоторых были уже расстегнуты кобуры пистолетов.

— Ваш зольдатенбух! — нервно закричал комендант переправы, приближаясь к машине.

Оберст медленно повернулся и, сделав шаг навстречу коменданту, остановился. Офицеры насторожились, но Вольф проговорил спокойно:

— Зольдатенбух? — и так же спокойно, не глядя, правой рукой полез в левый нагрудный карман. На кармане чернел орден железного креста.

— Именем фюрера... — тихо, но внятно произнес оберст.

Никто не успел опомниться, как в руке его сверкнул небольшой, с никелированной рукояткой пистолет.

— Именем фюрера! — громко повторил он и выстрелил прямо в переносицу коменданту. Тот свалился. Оберст спокойно продул ствол пистолета и сунул его в боковой карман.

— Садись, садись! — шепнул Калашник.

Но Вольф сделал несколько шагов навстречу офицерам.

— Кобуры застегнуть! — показывая на свою кобуру, сказал он тихо и властно.

Пожилой толстый майор, как зачарованный, смотрел на кобуру Вольфа, у него от удивления даже глаза полезли на лоб. Он шепнул окружавшим его коллегам:

— Монограмма самого Гудериана...

— Разойтись по своим местам! — оборачиваясь к реке и не глядя уже ни на кого, прокаркал оберст.

И, видимо, ни у кого не нашлось охоты получить в лоб девять грамм именем фюрера. Офицеры поспешили ретироваться подальше от злополучной переправы. Постояв у деревянных перил, оберст спокойно повернулся и

пошел к своей машине. Открыл дверцу. Калашник сидел, вцепившись в руль с такой силой, что даже ногти в ладони впились. Вольф вздохнул и, садясь на кожаное сиденье рядом с моряком, прошептал:

— Пронесло. Действуй. Я здесь останусь.

Только сейчас они взглянули друг на друга. Во взгляде Калашника были возмущение и вопрос.

— Буду держаться, сколько смогу. А ты свяжись с нашими войсками. Думаю, продержусь не менее часа-двух, если сам фюрер сюда не пожалует.

— Вряд ли... — буркнул Калашник и, держа почти-тительно одну руку у козырька эсэсовской фуражки, тихо дал задний ход. Оберст, соскочив с машины, небрежно козырнул двумя пальцами, отошел к перилам моста. Он долго смотрел вслед машине, за которой взвилась пыль. Машина, набирая скорость, уходила в степь.

Оберст остался один.

Он долго закуривал сигарету, прогуливался взад-вперед, изредка похлопывая по голенищу сапога стеклом. Затем подошел к насыпи и сбегал с нее вниз, к блиндажу, где сидели настороженно подрывники и связной расстрелянного им коменданта переправы. Оберст поднял вверх глаза, присмотрелся, указал сигаретой в небо, где на горизонте показались три звена самолетов, резким командным голосом проскрипел:

— Ахтунг! Люфтвафе! Воздух!

Солдаты уставились в небо, откуда долетал, все больше нарастая, гул. Вольф молниеносно карманным охотничьим ножом перерезал еще два провода, тянувшиеся к подрывной машинке.

Все усиливающийся гул самолетов на минуту заглушил грохот выходявших на переправу немецких танков.

А в это время по степи вихрем стлалась пыль за «Оппель-адмиралом». Откуда-то из-за горизонта выскочила шестерка танков. Калашник заметил их издали по шлейфу пыли и по особой, только танкам присущей, манере по-утиному клевать носом на ходу. Он резко затормозил машину, вытащил из-под сиденья похожую на штатив сборную металлическую штангу, размотал прикрепленный к ней красный флаг, укрепил его сбоку радиатора, вскочил в машину и помчался прямо навстречу советским танкам.

Через полчаса с еще большей скоростью помчались к Днепру немецкие обозы, почти рысью бежала пехота, словно сзади ее подгонял кто-то. Только на переправе они замедляли шаг — у самой деревянной будки для часового, в которой висела трубка полевого телефона, вышагивал оберст, поглядывая искоса на блиндаж.

И вдруг в степи раздались выстрелы танковых пушек. Разрывы снарядов Вольф заметил в полукилометре от переправы. В колонне поднялась паника. Хрупнули перила. Полетело в Днепр несколько повозок.

Оберст спокойно вошел в будку часового. Когда очередной снаряд разорвался совсем близко, он выстрелил часовому в спину... Тот упал. Взяв у мертвого автомат, Вольф снял трубку.

— Именем фюрера! Русские нас обошли. Всем сдаваться в плен! — приказал он.

На берегу Днепра, там, где разместились охрана переправы, подрывники из блиндажа махали руками лейтенанту, командиру роты. Тот подбежал к телефону. Получив команду, не задумываясь, передал ее дальше. Солдаты в окопах дружно подняли руки вверх.

А к переправе по насыпи мчалась, давя и круша все на своем пути, первая советская бронетанковая машина. С фланга ударил по разбегавшейся вдоль насыпи немецкой пехоте отряд Кучерявого, вышедший из плавней. Но когда за вторым советским танком прямо на мост влетел «Оппель-адмирал» с развевающимся красным флагом, с правого берега начали вести огонь немецкие зенитки.

Калашник резко тормознул, увидав Вольфа.

— Живой?!

Оберст вскочил в машину.

На переправу вбегали партизаны Кучерявого.

— За нами! — скомандовал поднявшийся во весь рост оберст и, стоя в открытом «Оппель-адмирале», на ходу втащил в машину Кучерявого. Легковая машина пошла вслед за двумя «тридцать четверками», одна из которых уже задыхалась. На следующие четыре тяжелых танка, громыхавших по деревянному настилу, на ходу взбирались партизаны.

Начался бой за плацдарм на правом берегу Днепра.

Партизанский аэродром был на клеверище, недалеко от Заднепровска. Небольшая группа партизан готовила костер. Вечерело. Тут были только обслуживающие аэродром партизаны, а весь отряд вел бой за переправу.

Как только стемнело, партизаны зажгли ровную полосу костров.

Близко к полуночи летчики в районе Днепра заметили девять мерцающих в виде буквы «Г» костров, указывающих направление посадки. «Ворота», разгораясь, все увеличивались, точно показывали место. Летчик, Герой Советского Союза Таранец, смело повел самолет на посадку.

Быстро стали выгружать боеприпасы, взрывчатку, патроны, газеты, листовки. К самолету из рощи стали подводить раненых. Раненый старик-партизан тайком перекрестился. Власьева подвела под руку Малашку, та шепнула ей:

— Да я бы уже тут родила...

— Нельзя, приказ, — нарочито строгим голосом сказала Власьева. — Ты потерпи. Завтра родишь — будет ваш сын москвичом.

Малашка укоризненно посмотрела на нее.

— Это, тетушка, не в нашей власти. — И смелая подпольщица вздохнула, глядя на приднепровские леса.

Но им не суждено было улететь этой ночью.

В Заднепровск Калашнику и Вольфу не удалось вернуться. Улицы были запружены танковыми колоннами, располагавшимися правильными каре на ночевку. На окраинах стояли самоходные орудия. Они подъехали к одному из них, и только Вольф направился к горевшему в стороне костру, как вдруг один из солдат, в ужасе вытаращив глаза, крикнул:

— Это же тот оберст с переправы! — и бросился к самоходке.

К счастью, Калашник догадался развернуть машину мотором к своим. Вольф подбежал и крикнул:

— Газуй! Уже знают...

Только машина начала набирать ход, как над их головами просвистел снаряд. Калашник завихлял по степи, сбивая вражеского наводчика. Орудие стало палить беглым бесприцельным огнем.

Случайно ли они выскочили к посадочной площадке или Калашника неудержимо влекло к любимой даже в эти рискованные минуты, но вскоре они увидели огни костров.

— Наши? — спросил Вольф у напарника.

— Какой сегодня сигнал? — Калашник вглядывался зорким глазом впередсмотрящего в приближающиеся оранжевые пятна.

— Девять в одну линию. Десятый в стороне — ворота обозначает...

— Точно.— И моряк прибавил газ.

Подъехали ближе и заметили у костров оживление. А у крайнего костра вырисовывалась большая туша транспортной машины.

Стрельба самоходок встревожила партизан. Летчики выключили огни. Когда машина Калашника и Вольфа подошла к костру, выгрузка кончалась. Товарищ Копа и Малашка стояли невдалеке, готовые к посадке.

Малашка, увидев своего матроса в немецкой форме, тихо вскрикнула. Калашник бросился к ней, поддержал ее отяжелевшее располневшее тело.

— Ну, прощай, судьбина моя. Помни,— прошептала Малашка.

— Помню...

6

Только под вечер танковому батальону, в котором больше половины танков было подбито немецкими зенитками, и отряду Кучерявого удалось удержать крошечный плацдарм. Надо было во что бы то ни стало продержаться до утра.

Но в самом начале ночи разведчики доложили, что на шляху из Киева в Заднепровск замечено встречное движение. Стройная танковая колонна шла с правильными интервалами навстречу деморализованному войскам.

— Подбрасывает резервы,— хмуро сказал Вольф.

У Кучерявого задрожала жилка на щеке.

— Надо окапываться,— заговорил Лесняк,— и раздать весь запас противотанковых гранат. Сколько может быть танков?

Танкист Вольф понимал, что противник не будет бросать резервы «через час по чайной ложке». «Не иначе,

танковая или механизированная дивизия. Даже если и основательно потрепанная... Пусть в первом эшелоне пойдут два полка танков...» у него даже испарина пошла по спине. Расстегнул немецкий китель... Не выдержать отряду — маленькому и неопытному — даже получасового боя с фронтовыми войсками.

А Калашник думал о том, что недалеко от Заднепровска, на ровном клеверище, примыкающем к роще, партизанский взвод зажигает костры. Еще прошлой ночью туда отправился Копа вместе с Малашкой. Но в прошлую ночь они не улетели. А перед боем за переправу была получена шифровка насчет самолета. Его обещали через полчаса-час после наступления темноты. Фронт придвинулся — лететь близко, но успеет ли? Он посмотрел на Вольфа.

— В разведку, товарищ оберст? — спросил он.

— А и то верно. Валяйте... — сказал Кучерявый, козырнул и пошел вслед за комиссаром.

Калашник дал газ.

Танки, стреляя, с ходу ворвались в Заднепровск. Сувив глаза, наблюдал за их движением Вольф с предмостного укрепления на правом крутом берегу. От огня противника, беспорядочного и вскоре затихшего, его укрывал обрывистый берег Днепра. Бегство фашистов прекратилось, и странно организованно неслись стальные машины, завывая моторами и лязгая гусеницами.

Генерал Жемчужный подбрасывал подкрепления. Группа танков с грозным ревом стремительно вырвалась на правый берег; лязгая гусеницами и натужно воя моторами, они вползли на приднепровскую кручу. Разворачиваясь в боевые порядки и прикрывая друг друга, танки спешили на запад, расширяя плацдарм. Одна из тридцать четверок притормозила. В откинувшемся люке показалось улыбающееся лицо Калашника. С ловкостью обезьяны он вскочил на броню, зорко оглянулся по сторонам. Тридцать четверки веером уходили от переправы.

Легко прыгнув на землю, Калашник помахал рукой вслед тронувшемуся танку, — как будто это было живое существо, — и пружинисто зашагал по полю. Вот они, знакомые места, освобожденные от захватчиков.

В душе все пело и ликovalo. В этой победе есть и его доля. Он оглядывался, узнавая предмостные укреп-

ления. Остановившись на краю полуосыпавшегося окопа, на миг задумался, глядя под ноги. Вот он, рубеж, за который стояли хлопцы насмерть в сорок первом году. Отсюда выползал он со связкой мин навстречу немецким танкам, идущим, чтобы смять тоненькую линию пехоты генерала Жемчужного. А вон там, левее, всю ночь ползал он, ставя мины, давая возможность отойти бойцам, расстрелявшим почти весь боезапас.

Ночью к переправе с левого берега подошли батальоны пехоты и новые танковые части и началось форсирование Днепра; на плацдарме, перед обороной отряда Кучерявого, замаячили танки. Но немцы опоздали с контратакой. Через переправу мчались наши самокатчики.

Бронетранспортер генерала Жемчужного остановился возле немецкого блиндажа, вокруг которого валялись солдатские трупы.

Генерал Жемчужный—сейчас он был в погонах с тремя звездами—занял блиндаж, а ординарцы и охрана быстро очищали место для передового «НП» генерала.

Еще раньше он бросил на помощь Кучерявому полк противотанковых пушек и мотострелковый батальон. Сейчас через реку кончала переправляться первая танковая бригада корпуса генерала Жемчужного.

Она с хода вступала в бой.

— Вместо контрудара с целью вернуть захваченную партизанами переправу немцы получили встречный бой,— докладывал по рации Жемчужный командующему фронтом.— Накапливаю силы на плацдарме. Прошу прикрыть с воздуха плацдарм и переправу...

Отходя от рации, Жемчужный подозвал офицера связи.

— Быстро на мотоцикле на тот берег. Партизан выводить из боя. Их оборону занимать нашим стрелковым батальонам.

На рассвете Калашник возвращался к переправе. «Скорее, скорее к хлопцам и Кучерявому.— И обожгла гревожная мысль: — А жив ли Вольф?»

Он сбежал под гору. Неузнаваемые с первого взгляда и все же такие знакомые вились перед глазами

Калашника тропинки, стекавшие к воде, все так же шелестели прибрежные кустики, ивы запыленными листьями ласково касались его щек. «Родные мои», — подходя к воде, шептал Калашник, цепляясь руками за ветки. Вот уже вода, еще немного и он встретит хлопцев. «Где-то на подходе командование... — радостно думал Калашник. — КП опять на правом берегу... в старом блиндаже.» На мосту, который уже можно было разглядеть, было неожиданно пустынно. Ходили автоматчики.

И откуда она прилетела, шальная пуля? Так никто и не узнал. Она поразила моряка-партизана, слава о делах которого летала орлом по степям Украины два года. Он слабо взмахнул руками и громко, как ему казалось, закричал:

— Хлопцы! Где пехота... — и, не окончив фразы, упал грудью в воду.

Спустя час через переправу двигался второй полк противотанковых пушек, а навстречу ему небольшими группами шли партизаны. Позади, на первой скорости, медленно двигался партизанский «Оппель-адмирал» с красным флагом. Когда машина остановилась, армейцы увидели за рулем немецкого оберста в кубанке с красной ленточкой.

Командир отряда Кучерявый встал в открытой машине и взял под козырек.

— Товарищ генерал-полковник! Приказание командования фронтом выполнено. Переправа противника захвачена в исправности. Отличились разведчик партизанского отряда Роберт Вольф и моряк Днепровской флотилии Иван Калашник.

Генерал-полковник принял рапорт.

— Постой, постой, — медленно вспоминая, сказал генерал, подавая Вольфу руку. — Не ты ли был ранен в сорок первом?

— Так точно, товарищ генерал. Вон на том правом, высоком берегу.

— А где же второй орел? — спросил генерал. И вдруг улыбка на его лице сменилась печалью. На заднем сиденье лежало тело моряка. Под расстегнутым немецким мундиром виднелась окровавленная тельняшка, рука безжизненно свисала с кожаной подушки. Все склонили го-

ловы. Генерал взял под козырек. Наступило молчание.

Генерал поднял бинокль. Он искал глазами место, где оборонялась, истекая кровью, его дивизия. Перед его глазами мигом пронеслись осыпавшиеся окопы, старые блиндажи, заросшие бурьяном капониры, мимо которых захватившие плацдарм партизаны сейчас вели пленных фашистских солдат.

7

Генерал Жемчужный вскочил в транспортер, взглядом показал на место рядом с собой Вольфу и Кучерявому. Бронетранспортер прошел через мост, стал взбираться крутой извилистой дорогой к знакомым местам давно отгремевшего сражения. Теперь чаще бросались в глаза свежие отметины только что прошедшего боя.

Могила, другая. Бронетранспортер остановился. На одной из них еле заметная надпись:

«КОМИССАР дивизии ЗУБКОВ».

Генерал-полковник подошел к могиле, снял фуражку. Все последовали его примеру.

И никто не слышал слов, которые прошептал генерал:

— ...Нет, мы не забудем ни фронта, ни флангов, ни страданий солдат, ни вдовьих слез...

А рядом партизаны копали вторую могилу — для славного моряка-подрывника и разведчика партизанского отряда Ивана Калашника.

И может быть в тот самый утренний час, когда раздался салют над Днепром и в могилу опускали окровавленное тело в тельняшке, далеко-далеко над подмосковными просторами раздавался крик ребенка.

В то утро, когда отец закончил свою славную жизнь, о которой народ слагал и еще будет слагать легенды, родился партизанский сын. Сын, которому, может быть, придется в мирной борьбе штурмовать космос.

Во всяком случае, когда командир корабля Герой Советского Союза Таранец, передав управление самолетом второму пилоту, вышел к пассажирам и увидел в руках у товарища Копы орущего ребенка, он сказал:

— Горластый какой! Партизаненок, одним словом,

Затем взглянул на ревущие моторы, на белые-белые облака внизу, под которыми расстилалась родная Россия, улыбнулся, еще раз взглянул на орущего ребенка, на мать и сказал:

— Определенно будет летчик. А, мать?

А в это время, отдавая последние почести, проходили мимо генерала и мимо могил, на одной из которых лежала матросская бескозырка, солдаты армии и партизаны. Они шли мимо дорогих и скромных памятников над Днепром.

Шли на запад.



БЕСЕДЫ О СЕМИЛЕТКЕ

Вот уже семнадцать лет, как мы живем в этой стране. Семнадцать лет, как мы строим нашу жизнь. Семнадцать лет, как мы учимся жить вместе. Семнадцать лет, как мы становимся людьми. Семнадцать лет, как мы растем. Семнадцать лет, как мы работаем. Семнадцать лет, как мы играем. Семнадцать лет, как мы любим. Семнадцать лет, как мы мечтаем. Семнадцать лет, как мы живем. Семнадцать лет, как мы становимся семьдесятю.

МОЛДАВИЯ — БУДУЩИЙ САД СТРАНЫ СОВЕТОВ

Беседа первого секретаря ЦК Коммунистической партии Молдавии З. Т. Сердюка с писателем Петром Вершигорой¹

З. Т. Сердюк. Мне передали просьбу редакции журнала «Дружба народов» встретиться с вами и рассказать о жизни Молдавии. Очевидно, это пожелание вызвано предстоящей декадой нашего искусства и литературы в Москве?

Писатель. Да, конечно. В то же время вашей беседой, Зиновий Тимофеевич, редакция открывает в журнале новый постоянный раздел: «Беседы о семилетке». Редакция «Дружбы народов» намерена широко и систематически знакомить читателей журнала с реализацией семилетнего плана по республикам как в целом, так и по отдельным, наиболее интересным проблемам. Это будут беседы писателей с партийными и государственными деятелями республик, с учеными, хозяйственниками, рабочими и колхозниками, новаторами промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры. К слову сказать, в майском номере журнала, где мы с вами выступим, печатается беседа писателя Олега Писаржевского с президентом Академии наук Армянской ССР, известным астрофизиком Виктором Амазасповичем Амбарцумяном.

З. Т. Сердюк. Значит, космос и молдавские яблоки? Приятное соседство. Между прочим, для завоевания

¹ Беседа состоялась в апреле 1960 года и была опубликована в майском номере журнала «Дружба народов» за 1960 год.

человеком космоса, представьте себе, и наши молдавские сады кое-что готовят.

Писатель. А что такое? Интересно!

З. Т. Сердюк. Секрет. Скажу по ходу беседы. Кажется, у вас, писателей, такой прием называется интригой, сюжетным ходом? Вот я этим литературным приемом и воспользуюсь... Ну, шутки шутками, перейдем к делу.

Вы, конечно, понимаете, что рост культуры молдавского народа стал возможен лишь благодаря успехам, которые одержала наша республика в последние годы. Вероятно, они и вам как нашему земляку бросаются в глаза. Вы давно не были в Молдавии?

Писатель. Полтора года. Я был на Втором съезде писателей Молдавии. Однако основательно познакомился с жизнью Молдавии, объездив всю республику... года три тому назад. Тогда Дубоссарская ГЭС только строилась.

З. Т. Сердюк. Много воды утекло за это время в Днестре, воспетом в дойнах, народных гайдуцких песнях, которые услышат москвичи на декаде. Днестр выработал уже около девятисот миллионов киловатт-часов электроэнергии для социалистического сельского хозяйства¹. Что же вы так долго не бывали в родных краях?

Писатель. Много путешествовал. Изъездил вдоль и поперек Сибирь, походил морями вокруг Скандинавии, был в Италии, Париже, Германской Демократической Республике...

З. Т. Сердюк. Пишете что-нибудь об этом?

Писатель. Нет... пока. Все обдумываю книгу о Молдавии. Приехал заканчивать повесть «Дуб Котовского», которую начинал писать еще в сороковом... Война помешала... Зиновий Тимофеевич, как живут сейчас наши люди по берегам Прута и Днестра?

З. Т. Сердюк. Хорошо живут. Нет, впрочем, это не то слово... Лучше стали жить. Вы знаете, вспоминается мне одна знаменательная встреча. Поехал я как-то по республике... Хотелось поговорить с народом, со звеньевыми, бригадирами, со стариками. Остановил машину на грейдере, а сам подался пешком вдоль вино-

¹ В настоящее время Дубоссарская ГЭС выработала свыше одного миллиарда киловатт-часов.

градников, завернул в сторону — отары овец пасутся. Одинокий старик на винограднике. Подошел. Завязалась беседа. Для начала спросил я его то же самое, что и вы меня сейчас спросили. А старик разволновался. Никак слов не подберет... Стоял, стоял, а затем вдруг снял свою кушму — так у нас в Молдавии называется баранья шапка — и широко перекрестился: «Вот пусть меня гром ударит на этом самом месте, если я за последние два года хоть один раз мамалыгу ел!» Вы понимаете?

Писатель. И очень даже. Я ведь сам вырос в молдавской деревне среди людей, которых звали мамалыжниками. До восемнадцати лет лакомился ржаным и пшеничным хлебом только по большим праздникам.

З. Т. Сердюк. Ну вот, видите, объяснять вам не приходится, почему старик перекрестился... Поговорили мы с ним тогда по душам... А прощаясь, сказал мне старый Кондря: «Правильная партия наша, партия коммунистов, и правильно она молдавский народ ведет... Будете видать нашего родного Никиту Сергеевича Хрущева, передайте ему от всех молдаван большущее спасибо. А от меня — особый поклон».

Писатель. Устами этого старика-молдаванина народ по-своему выразил, что жизнь стала лучше.

З. Т. Сердюк. Но это лишь первые шаги. Достигнутое нами — результаты колхозного строя, который победил в большей части Молдавии только после войны. Это плоды принятых партией мер в последние пять-шесть лет. И, наконец, это итог особого внимания молдавских тружеников к поднятию общественного животноводства в уже окрепших колхозах. Тут мы имеем значительные достижения, за которые наша республика и была награждена в прошлом году орденом Ленина. Вручать республике орден приезжал к нам Никита Сергеевич Хрущев. Его душевные беседы с колхозниками Молдавии, посещение полей и садов не только взволновали, но и вдохновили нас на новые дела. А дел впереди много. Ведь, как говорится: история не нами начиналась, не на нас она и кончится. Лишь тогда, когда мы сделаем все для того, чтобы украсить нашу землю, сделать более легким мирный труд наших людей, мы сможем сказать, что выполнили свой долг перед народом, перед будущими поколениями.

Обстоятельно познакомившись с виноградарством в

колхозах имени Мичурина и «Бирuinца» Страшенского района, Никита Сергеевич высоко оценил работу по реконструкции виноградников, проведенную тружениками этих колхозов. Руководил этой работой агроном Александр Лазаревич Попов. Товарищ Хрущев назвал его певцом виноградарства, а выращенные в колхозе виноградные плантации — поэмой, написанной Поповым. Так что не только наши известные поэты Емилиан Буков и Андрей Лупан, но и агроном-виноградарь Александр Попов будет своим творческим трудом участвовать в предстоящей декаде в Москве.

Товарищ Хрущев определил основное направление, по которому следует дальше двигаться нашей республике. «Думаю, — говорил он, — что Молдавия должна держать курс в одном направлении — стать садом Советского Союза, давать, так сказать, деликатес, украшение для стола трудового народа Советского Союза — виноград, вина, соки, фрукты. Другие продукты мы можем получать в Сибири, Казахстане, центральных и других районах, а вот персики, виноград и притом такой душистый, какой может расти в Молдавии, в других районах получить нельзя». Наша задача — сохранить и умножить достижения республики в строительстве еще сравнительно молодых колхозов, расширять и увеличивать опыт общественного животноводства. Мы должны всемерно развить те отрасли сельского хозяйства, для которых в нашей республике есть самые благоприятные условия: виноградарство, садоводство и защитное лесоводство.

Такова комплексная задача, которую решает Молдавия в текущем семилетии.

П и с а т е л ь. Читателям «Дружбы народов» интересно будет узнать, как выполняется эта программа.

З. Т. С е р д ю к. Возьмем виноградарство. В 1958 году только колхозы Молдавии собрали 370 тысяч тонн винограда. К концу семилетки республика будет производить его до 1 миллиона 500 тысяч тонн. В текущем году решено заложить 45 тысяч гектаров молодых садов и виноградников. А с каждого гектара плодоносящей площади мы надеемся получить по 45 центнеров винограда. Как по-вашему, это много или мало?

П и с а т е л ь. Затрудняюсь сказать. У деда моего, участника русско-турецкой войны (медаль от Скобеле-

ва имел), было кустов 150 гибрида. Мы тогда на фунты меряли.

З. Т. Сердюк. Да, несложная арифметика была у вашего деда... Так вот, колхозники Молдавии обязались в этом году довести валовой сбор винограда по республике до 500 тысяч тонн. Конечно, значительная часть этого винограда пойдет на изготовление вин разных сортов. Кстати, видели вы новые этикетки на наших винах: аист, на шее у которого веночек из гроздей винограда? Очень любит аист селиться в молдавских селах.

Писатель. Может, потому, что ему легче всего вить свое гнездо из виноградной лозы?

З. Т. Сердюк. Пожалуй, так. Когда обрезают лозу, для аиста это готовый строительный материал. Мудрая птица.

Писатель. Так вот почему ваши виноделы взяли аиста как символ...

З. Т. Сердюк. Вот именно. А потом просто надоели старые бесцветные этикетки.

Писатель. А вы знаете, Зиновий Тимофеевич, в Москве от многих любителей «сухого» я уже не раз слышал лестные отзывы о нашем молдавском вине. Даже такой знаток французских вин, как Илья Григорьевич Эренбург, хвалил мне каменский «Симилион».

З. Т. Сердюк. Это из совхоза имени Микояна! К сожалению, «Симилион» трудно переносит перевозку. В этом его недостаток. Мы стимулируем теперь посадки винограда местных сортов: «Рара нягрэ», «Корна нягрэ», «Галбема», привозим черенки из Грузии. Хорошо у нас в Молдавии растут сорта «Ркацители», «Траминер» и другие. Но кроме винных сортов, мы будем давать больше десертного винограда. Раньше нас лимитировала перевозка. При долгом нахождении винограда в пути возрастали потери, тратилось время, повышалась стоимость. Теперь же, когда к нам пойдут мощные самолеты грузоподъемностью в десять и более тонн, с перевозкой дело пойдет лучше. Два часа — и молдавский виноград в Москве. Уже в этом году москвичи смогут к обеду получать виноград, который утром срезала со своих кустов замечательная звеньевая — виноградарь Герой Социалистического Труда Тутунару Мария Карповна — и ее подружки. Отлично трудится это звено колхоза «Молдова». В 1957 году звено получило по 120, в 1958 году — по 130, а

в 1959 году — по 150 центнеров винограда с гектара. На 1960 год славные эти женщины взяли обязательство вырастить по 160 центнеров винограда с гектара. Представляете, сколько одно звено Марии Карповны Тутунару может дать винограда москвичам!

Писатель. Если только торговая сеть не подведет.

З. Т. Сердюк. Да, конечно. Но придется товарищам из торговой сети подтягиваться.

Писатель. За авиацией?

З. Т. Сердюк. За темпами нашей социалистической жизни. За нашими замечательными тружениками.

Теперь о садах. Ими и сейчас богата Молдавия: слива, черешня, яблоки, груши, абрикосы выращиваются в нашей республике в большом количестве. Значительная часть фруктов перерабатывается на месте, в республике, и уже в консервированном виде направляется во все концы Советского Союза. Пятнадцать заводов в Молдавии перерабатывают овощи и фрукты в консервированные продукты. Хорошо работает Тираспольский консервный завод. Вступил в строй Каменский.

Но развитие садоводства и виноградарства неразрывно связано с важной в условиях Молдавии проблемой защитного лесоводства. Мы рассматриваем эту проблему в комплексе. Превратить республику в зеленый сад — значит увеличить и количество защитных полос: засадить лесами овраги, покрыть лесонасаждениями неудобные для земледелия земли, крутые склоны, которых особенно много в Приднестровье.

Сейчас, осуществляя указания товарища Хрущева о превращении нашей республики в сад страны Советов, мы приступили к составлению генерального плана преобразования природы республики. В нем предусматривается не только расширение виноградарства и садоводства, но и развитие садового лесоводства.

Ведь строить даже небольшой город — это не значит только возводить дома. Надо предварительно решить ряд сложных задач. Есть целая наука — градостроительство. Так и в садоводстве — нужен общий план преобразования природы Молдавии.

Мы работаем над составлением генерального плана

лесонасаждений¹. И, как это присуще нашему социалистическому хозяйству, думаем не только о том, чтобы увеличить площади, покрытые зеленой растительностью, но и качественно изменить лесные массивы республики.

В будущих лесах, к посадке которых мы приступаем, значительную часть займут грецкий орех, дикая груша, абрикосы, миндаль, фундук, дикая вишня, жердель, красный дуб. Мы поднимаем народ на выполнение этой большой проблемы, рассчитанной на долгие годы.

Мы намечаем создать новые лесные массивы на неудобных землях и крутых склонах, которые не могут быть в ближайшее время использованы под сады и виноградники. Затем в генеральном плане преобразования природы значительное место займут лесные полосы, которые опояшут республику. Немалую роль в генеральном плане сыграют также защитные лесные зоны вокруг водоемов и водохранилищ, число которых в нашей республике все более увеличивается. До сих пор зеленых зон вокруг Кишинева, Бельца, Оргеева, Тирасполя, Рыбницы не было. А практика градостроительства, опыт многих городов Советской России и Украины говорят о том, что необходимо создавать такие зеленые кольца лесных зон вокруг населенных пунктов.

Разрабатывая план, мы уже сейчас готовим в питомниках саженцы. Это позволит нам в ближайшие годы приступить практически к строительству вокруг Кишинева большого зеленого кольца, которое станет резервуаром чистого воздуха для растущей столицы Молдавской республики. Кое-что делают наши озеленители городов, но, надо признаться, еще недостаточно. Отделы озеленения горсоветов не научились еще поднимать общественность, население на выполнение этой благородной задачи. Тут нам придется поучиться кое-чему у таких замечательных патриотов городского озеленения, как омичи и киевляне.

Недавно мы провели три важных совещания бригадиров в Кишиневе, Бельцах и Чадыр-Лунге. Это были кустовые совещания на севере, на юге и в центре республики. Я и мои товарищи по бюро ЦК — председа-

¹ В настоящее время такой план уже составлен, и трудящиеся республики начинают его осуществление.

тель Совета Министров товарищ Диордица и его заместитель товарищ Афтенюк — выступали с докладами, в которых на основе указаний Никиты Сергеевича Хрущева поставили перед товарищами конкретные задачи на ближайшее время. Бригадир горячо откликаются на призыв партии и правительства — превратить нашу цветущую Молдавию в сад страны Советов.

Писатель. Почему совещание было только бригадиров?

З. Т. Сердюк. Бригадир — непосредственный организатор производства. Поэтому мы и решили поговорить именно с ними. Мы хотим, чтобы бригадир не только научил членов своей бригады, как сажать куст или как обрезать виноград, но и был бы воспитателем людей. Мы рассматриваем сельскохозяйственную проблему в единстве с ростом сознания наших людей. Бригадир должен не только руководить работой, но и быть старшим товарищем. Он может и газеты прочитать и объяснить вопросы текущей политики. Это наш сельскохозяйственный сержантский и старшинский состав в полном смысле слова.

В республике тысяча шестьсот бригад работают в садоводстве и виноградарстве. Многие из них имеют замечательные достижения. Бригадир питомниководческой бригады колхоза «Молдова социалистэ» Котовского района Федор Георгиевич Плэмэдялэ со своей бригадой много лет выращивает виноградные саженцы лучших сортов. Он получает 65—70 процентов саженцев первого сорта. Колхоз посадил свыше 300 гектаров европейских сортов винограда саженцами, привитыми и выращенными этой бригадой.

Талантливым мастером высоких урожаев винограда является Иван Петрович Мадан, бригадир виноградарской бригады известного всей стране колхоза «Бируйница». Ежегодно на участке своей бригады т. Мадан получает более 100 центнеров винограда с каждого гектара. Правительство высоко оценило работу Ивана Петровича, наградив его в 1959 году медалью «За трудовую доблесть». По примеру Валентины Гагановой т. Мадан перешел на самый ответственный ныне участок — возглавил питомниководческую бригаду по производству виноградных саженцев.

Замечательными делами славится также бригада

колхоза имени Ленина села Парканы Тираспольского района, которую возглавляет Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Степанов.

Высокие урожаи фруктов — по 100—130 центнеров с гектара — получают ежегодно бригада Валентина Максимовича Цуркана из колхоза «Фруктовый Донбасс» Дубоссарского района, бригада Ивана Васильевича Стурзы из колхоза имени Котовского Каларашского района и многие другие.

Но нужно сказать, что есть и отстающие бригады. Мы и их пригласили на совещание, чтобы как следует подтянуть, повести вперед.

Писатель. Что-то у вас, Зиновий Тимофеевич, туговато действует сюжетная пружина. Где же ваш обещанный «секрет»?

З. Т. Сердюк. Как раз я к нему и подошел. «Пружина» сработала вовремя... Секрета, конечно, никакого нет: речь идет о посадках ореха. Грецкий орех — высокодоходная культура. Даже Циолковский, говоря о межпланетных путешествиях, замечал, что самым лучшим продуктом питания, который захватят с собой будущие космонавты, отправляясь в межпланетные путешествия, будет грецкий орех. А Мичурин называл наш орех хлебом будущего... Мы рассказали об этом бригадирам, и вы знаете, как загорелись их сердца? В нашей республике не плавят чугуна и стали, не добывают угля, не производят ракет. А вот орех, которым славится наша республика, может быть, пригодится даже в межпланетных путешествиях. В нашей республике есть орехи-гиганты. По некоторым подсчетам, во всем мире производится в год 120—150 тысяч тонн грецкого ореха, из них половина растет в Соединенных Штатах Америки. В нашей маленькой республике собирают пока свыше 3000 тонн ореха. Пожалуй, через какое-то время наша страна сможет догнать и перегнать Америку и в этом деле...

Сейчас мы думаем над тем, чтобы быстрее осуществить исторические решения XXI съезда КПСС и советы Н. С. Хрущева — превратить нашу республику в сад страны. Разрабатывая генеральный план преобразования природы Молдавии, мы решаем эту задачу комплексно: расширяем леса, сады, кустарники, выращиваем виноград, орехи по обочинам дорог.

Писатель. Помню, по дороге из Флорешт в Рыбницу, возле села Добруша растут по бокам дороги орехи. На самом юру... Ветер наклонил их. Но стоят, как ветераны.

З. Т. Сердюк. Это старые посадки. А вот за Дубоссарами, где шоссе полого подымается в гору, там в два-три ряда дорога обсажена грецким орехом.

Писатель. Помню, молодые саженцы.

З. Т. Сердюк. Теперь это уже внушительные деревья. Когда распустятся, посмотрите. Красота неопи-суемая. И пользу немалую колхозы и совхозы извлекают из этих придорожных посадок. Будем подымать народ, чтобы по всей Молдавии была такая картина.

Борясь за увеличение зеленых насаждений и освоение склонов, мы одержали уже некоторые первые успехи. Например, в Каларашском районе, в колхозе «Заветы Ленина», разработали и осуществляют систему освоения склонов путем микротеррас. Простым применением трактора с плантажным плугом и конно-оборотными плужками осваивают здесь склоны крутизной до 27 градусов. Снижается себестоимость работ — она ниже, чем на применяемых в других колхозах и совхозах террасах старого образца. Навстречу колхозникам идет сельскохозяйственная наука. Научный сотрудник Ботанического сада филиала Академии наук СССР М. М. Тымко непосредственно на колхозных массивах Бульбокского района проводит интересные опыты: поперек склона копают небольшие траншейки. Густота их по склону зависит от крутизны местности. В такую канавку высаживают молодые орехи или другие плодовые культуры: персик, малину, смородину. Первые год-два такие канавки защищают склон и его плодородный слой от ливневых дождей, которые особенно опасны в нашей республике. Ливни в один-два часа могут снести плодородную почву, сбросить ее в реки и водоемы. А при способе М. М. Тымко вода поступает в траншеи, которые задерживают влагу и не дают ей размывать склон. Перехваченные канавками-перемычками и засаженные кустами и деревьями, склоны образуют новую поверхность, она зарастает, и овраги уже не так страшны.

Садоводство и виноградарство — сложная, трудоемкая отрасль сельского хозяйства, требующая высокой квалификации от работающих в ней людей. Тут нужны

и теоретические знания и большой опыт, навыки. Тысячи работников колхозов и совхозов сейчас стали хорошими специалистами. Они овладели профессиями прививальщиков, окулировщиков, питомниководов и химиков — организаторов борьбы с вредителями и болезнями растений. Они проходят курсы, заканчивают специальные учебные заведения и вливаются в армию работников сельского хозяйства Молдавии, все силы отдают делу подъема садоводства и виноградарства в своих колхозах. Кроме них, в каждом хозяйстве есть садоводы и виноградари — пожилые люди, носители опыта и знаний, накопленных поколениями.

П и с а т е л ь. На какое же время рассчитано осуществление всех этих мероприятий по преобразованию природы?

З. Т. Сердюк. Разумеется, на более значительный период, чем семилетка. На пути превращения Молдавии в сплошной цветущий сад нашей Родины много серьезных препятствий. Для их преодоления потребуются героические усилия всего народа. Советская Молдавия получила в наследие от прошлого ограбленную, изуродованную природу: уничтоженные леса, обмелевшие реки, большие пространства почвы, пораженной эрозией и изрезанной глубокими оврагами. Но многое уже сделано народом для восстановления животворных сил природы: посажены новые леса и лесные полосы, восстанавливаются водные бассейны. Под Кишиневом начато строительство Гидигичского водохранилища с площадью зеркала воды до тысячи гектаров. Добывается и подземная вода путем строительства артезианских скважин. Озеленяются города и села. Республика ставит перед собой задачу — в текущем семилетии максимально координировать эти уже проводимые работы, увеличить их объем, объединить их планом комплексного преобразования и развития природы Молдавии. Конечная цель этого плана — обогатить природу новыми лесами, лесопарками, водоохранными насаждениями вокруг всех водоемов и рек, прекратить эрозию почвы и существенно изменить климат, увеличить запасы влаги в воздухе и почве до пределов, исключающих губительные засухи знойного юга. Мы намеряем создать государственный орган, ведающий делами охраны и развития природы, лесного и водного хозяйства. Трудящиеся республики поднимают

ся на борьбу за охрану и развитие природы, увеличение продукции садоводства и виноградарства, за гармоничный расцвет Молдавии — будущего сада страны Советов.

Писатель. Не расскажете ли вы нашим читателям о культурном строительстве на селе?

З. Т. Сердюк. Достаточно вам бегло взглянуть на новые колхозные молдавские села, и вы заметите, какими бурными темпами они строятся. Кроме общественного строительства, во многих населенных пунктах в год строится 100—150 новых домов. Строят, правда, еще по-старому, но дома лучше, культурнее. В мебелировке вы заметите новое. Стоит хороший зеркальный шкаф, стулья лучше, чем бывало раньше.

У нас уже есть села, такие, как Кожушна Страшенского района, Чобручи Тираспольского района, которые ведут застройку по генеральным планам. Характерно, что за последние шесть лет силами колхозников и интеллигенции на селе построено 110 тысяч жилых домов. Это значит, что каждая пятая семья построила себе новый дом.

Многие колхозы построили в своих селах дворцы культуры. Не приходилось вам бывать в Котовском или Страшенском районах? Там такие дворцы культуры, которые и в городе не часто увидишь. Но таких дворцов еще только десятки по всей Молдавии. Еще мы не можем сказать, что культурные потребности народа полностью обеспечены. Еще надо во многих селах бани строить, а потом уже дворцы культуры. Но в передовых селах они есть. Вот в одном из них со мной был такой случай...

Я был на совещании в Страшенах. Там замечательный Дворец культуры. Собралось свыше 700 человек. Во время перерыва вышел я в фойе покурить. Вижу, идут два дружинника, смотрят на меня, а у меня папироса в руках. Они прошли, потом, смотрю, наблюдают за мной. Я говорю секретарю райкома товарищу Дурнопьянову: «Сейчас они подойдут ко мне». И, действительно, подошли и говорят: «Товарищ, у нас в фойе не курят». И говорят это очень вежливо, так что и не обидишься. Я ответил им: «Извините, пожалуйста»...

Это общественность, сами колхозники установили такой порядок, чтобы в фойе Дворца культуры не курить. Я и об этом случае рассказал потом на совещании.

бригадиров. Они посмеялись. Но кое-кто намотал себе на ус... Случай, может быть, пустяковый, однако поучительный. Но мы отклонились немного от темы.

П и с а т е л ь. Вовсе нет. Иногда и в мелочах можно увидеть большое. Так как же идет строительство новых сел?

З. Т. Сердюк. Это очень серьезный и новый вопрос. Опыт градостроительства пока не проник на село. И тут немалая вина наших архитекторов, а также Министерства сельского хозяйства.

В Молдавии только 22 процента населения живет в городах, а 78 процентов составляет сельское население. Это — самый высокий процент сельского населения по Советскому Союзу. Подавляющее большинство сельского населения составляют колхозники. Поэтому для Молдавии имеет совершенно исключительное значение строительство колхозного села как целого организма. За послевоенные годы в колхозах Молдавии одновременно с сооружением производственных построек строились школы, больницы, детские учреждения, клубы и дома культуры, жилые дома колхозников. Но это только начало настоящей работы по перестройке молдавского села. Общий объем капиталовложений в колхозное строительство Молдавии на семилетие почти равен сумме вложений во все виды государственного капитального строительства республики.

При таком размахе строительства в колхозных селах Молдавии важнейшей задачей является правильное размещение в каждом селе новых школ, больниц, клубов, детских учреждений, жилищ колхозников. Нам предстоит создать новый социалистический облик благоустроенного колхозного села — с асфальтом, водопроводом, канализацией, электрификацией быта, а в некоторых селах и с газоснабжением. Нужно строить как можно более компактно, удобно и экономично. Поэтому республика поставила перед собой задачу — обеспечить колхозные села генеральными планами. В прошлом году правительство республики приняло решение о создании Государственного института проектирования сельского строительства, который должен заняться этим делом уже с 1960 года.

П и с а т е л ь. А как промышленность Молдавии?

З. Т. Сердюк. Хотя наша республика и не являет-

ся индустриальной, но все же у нас неплохо работают предприятия легкой промышленности. Построен и успешно работает Бендерский шелковый комбинат. Гираспольская и Кишиневская швейные фабрики не только справляются со своим планом, но имеют значительные технические достижения. Так, например, Тираспольская швейная фабрика имени 40 лет ВЛКСМ — одно из лучших швейных предприятий Советского Союза. Директор этой фабрики Валентина Сергеевна Соловьева к Международному женскому дню 8 марта этого года награждена орденом Ленина.

Рабочие предприятий нашей республики воодушевлены призывами партии к выполнению и перевыполнению планов семилетки. Так, например, рационализаторы и изобретатели обувной фабрики имени Сергея Лазо обязались путем реализации своих предложений внести в фонд семилетки до 10 миллионов рублей. У нас в республике в городе Бельцы освоено меховое производство. Тамошняя меховая фабрика уже давно славилась высоким качеством выделки мехов, а в настоящее время освоила выделку овчины под котик и выдру и производство искусственных мехов из синтетических материалов. В республике построен завод искусственной кожи, выпускающий искусственную замшу. Здесь так же, как и на меховой фабрике, успешно применяется обработка синтетических материалов токами высокой частоты и ультразвуком...

В республике создается новая отрасль промышленности — электротехническая. В Кишиневе работает завод «Микропровод», выпускающий электропровод в несколько раз тоньше человеческого волоса. Этот микропровод является ценным материалом для нашей электропромышленности, успешно работающей над внедрением полупроводников. В Кишиневском университете ведется большая исследовательская работа в этой области. В Молдавии теперь производятся двигатели внутреннего сгорания, газовая аппаратура, освоено производство стиральной машины «Нистру» («Днестр»). На юге республики открыты залежи нефти и газа.

П и с а т е л ь. Теперь я прошу вас рассказать нашим читателям о развитии литературы и искусства в связи с предстоящей декадой.

З. Т. Сердюк. Ну, вам и самому тут, как говорит-

ся, карты в руки. Ведь, как я слышал, московские писатели также принимали участие в подготовке к декаде?

П и с а т е л ь. Да. При Союзе писателей СССР полтора года тому назад была создана комиссия, в задачу которой входило оказывать содействие переводам произведений молдавских писателей на русский язык и изданию их в Москве. Всего издано к декаде в столичных издательствах свыше 30 книг молдавских писателей на русском языке, в том числе — антология молдавской поэзии.

З. Т. Сердюк. Я не буду давать оценку этим произведениям. Книги пишутся для народа. Народ, читатель прочтет эти книги и даст им свою оценку. Декада, я думаю, и призвана помочь сближению искусства и литературы разных национальностей. Для культуры нашей республики это большой творческий экзамен. Ведь это первая молдавская декада в Москве.

П и с а т е л ь. Да, еще несколько лет тому назад в молдавской литературе был один существенный недостаток: широко была развита одна поэзия. Критически осваивая классическое наследие, советские молдавские поэты, такие, как Андрей Лупан, Емилиан Буков, Богдан Истру, Петря Крученюк, Петря Дарненко и другие, создали довольно широкую поэтическую картину молдавской жизни. Но отсутствовала или почти отсутствовала молдавская драматургия и проза. Буквально за последние годы удалось выправить это положение. Появились интересные работы прозаиков Чобану, Друцэ, Муратова, Липкана, драматурга Корняну и других.

З. Т. Сердюк. Совершенно верно. Теперь наши молдавские театры имеют свой оригинальный репертуар. Мы создали первую молдавскую оперу. В столице республики работает старейший Молдавский музыкально-драматический театр, Русский театр имени Чехова, театр в Бельцах. Кстати, мне говорили, что вы были одним из инициаторов создания Молдавского музыкально-драматического театра?

П и с а т е л ь. Давнее дело... Еще в конце первой пятилетки я работал режиссером и педагогом театрального училища в Одессе. Был преподавателем на существовавшем там молдавском факультете, из которого затем вырос ваш музыкально-драматический театр. Многие из теперешних народных и заслуженных артистов

молдавского театра — гг. Штырбу, Дариенко, Апостолов, Константинов, Плацинда — мои бывшие студенты. Я горжусь такими учениками и говорю об этом только потому, что это один из примеров многочисленных русско-молдавских и украинско-молдавских культурных связей. Кстати, ваш ученый — товарищ Грекул — написал интересную книгу «Русско-молдавские культурные связи».

3. Т. Сердюк. Наши молдавские историки в своих работах подчеркивают существование испокон веков, со времени Петра I, со времени Кутузова, таких связей. Особенно бурно расцвели они в наше, советское время. Старая Молдавия не имела ни своей системы высшего образования, где бы преподавание велось на родном языке, ни молдавского театра, ни книгопечатания на молдавском языке.

Вот некоторые сравнительные данные: в 1913 году в Молдавии издавалось 12 газет и журналов, в настоящее время издается их более 300, тиражом только на молдавском языке свыше 800 тысяч экземпляров; книг в 1913 году вышло... 65, тиражом всего 38 тысяч, а в 1959 году у нас издано 847 книг общим тиражом 6 миллионов экземпляров, из них на молдавском языке — 4 миллиона экземпляров. Школ в нашей республике 1582, из них молдавских — 1097, около 400 с преподаванием на русском языке и 33 на украинском.

Молдавская культура гордится своими талантливыми актерами и певцами, такими, как народная артистка СССР Тамара Чебан, народные артисты Молдавской ССР гг. Штырбу, Дариенко, Герлак, Уреке, Константинов, Апостолов.

Но кроме этих профессиональных сил нашей молдавской художественной интеллигенции, мы покажем на декаде замечательные самодеятельные художественные коллективы. У нас в республике работает 23 университета культуры, 7 народных театров и 9 ансамблей песни и танца. Покажет свои достижения и наша филармония.

Молдавский народ — музыкальный народ. Его музыка своеобразна, мелодична, очень доходчива. Ее любят и исполняют далеко за пределами нашей республики. Хороши и молдавские танцы. Я надеюсь, что москвичи и представители других братских республик встретят участников нашей декады с интересом.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЕЛЛЫ О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ И ТРУДА

	Стр.
Тот, кто у Щорса воевал...	5
Шведское дело	30
Дед Мороз	52
Павлик	58
Архивариус	86
Войско	96
Любовь партизанская	106
Сестра любви	113
Скупердяй	118
Сапоги номер сорок семь	135
Чернявая	140
Послесловие (От внештатного редактора)	150
От Билгорая до Беловежи	157

РАССКАЗЫ

Генерал Сиборов	215
Иван-герой	238
Переправа (повесть)	255

БЕСЕДЫ О СЕМИЛЕТКЕ

Молдавия — будущий сад страны Советов	379
---------------------------------------	-----
